*З А Р У Б Е Ж Н Ы Е* ***Za-Za*** *З А Д В О Р К И*

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО — ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ**

**№ 27, сентябрь**

***В НОМЕРЕ:***

**Евгения Жмурко. Редакторская страничка** _____ **2**

**Андрей Дмитриев. Четыре рассказа** _____ **3**

**Владислав Пеньков. *NORDOMANIA*. Стихи** _____ **17**

**Сергей Эсте. *Жизнь. Дубль первый и единственный*. Книга вторая** **24**

**Михаил Полюга. Божий дар любви последней. Стихи** _____ **68**

**Василий Геронимус. *GENIUS LOCI*. Роман Киора Янева «Южная Мангазея» (Москва, 2015). Рецензия** _____ **73**

**Мих. Ковсан. Там, у подножья гения светло. Сонеты** _____ **94**

**Борис Левит-Броун. Пролетая над книгой. Эссе** _____ **98**

**Александр Вин*. «Сто двенадцать океанских писем».* Рассказ** ___ **107**

**Александр Гутов. Снайпер. Стихотворения** _____ **120**

***Последний батальон*** _____ ***122***

***Алина Скво. Нерекомендованное чтение. Повесть*** _____ **124**

**Анатолий Николин. *Олений замок*. Из древнегерманского эпоса** _ **166**

**Виталий Щигельский. Шлагбаум. Рассказ** _____ **169**

**Роман Михеенков. *Торжество толерантности.* Новая пьеса** _____ **176**

**Надежда Малышкина. " Весна, лето, осень, зима... и снова весна" Стихи** _____ **191**

**Юлия ВертелА. Маринка, я и Аквалang. Рассказ** _____ **217**

**Альма Наивны. Восемь моих стихов** _____ **233**

**Виталий Ковалев, Олеся Янгол. Побережье наших грез. Повесть в новеллах** _____ **237**

za·za
PUBLISHING

**Дюссельдорф**
**2016**

# Евгения Жмурко. Редакторская страничка

Дорогие друзья!

Сегодня хочу поговорить с вами о самой насущной нашей проблеме.

Скоро девять лет, как был создан сайт «Зарубежные Задворки». Он хорошо развивался, и к 2011 году его посещаемость достигала 2000 человек в день.

А в последние годы читательская активность резко снизилась. Безуспешно пытаюсь найти этому хоть какое-то объяснение. Ну, думаю, каникулы, сезон отпусков, или наше (ваше) самое продолжительное в мире новогоднее застолье... Или дачный сезон. Или вот сейчас разъяснится с Украиной, вот-вот выберут новый парламент, и все изменится. И все дружно начнут читать журнал Za-Za, который способен удовлетворить вкус самого взыскательного читателя... Но этого не происходит. Неужели настоящего читателя у нас больше нет?

Может быть, стали меньше и хуже писать авторы? Оказывается, нет. Я знаю это лучше многих, потому что получаю многие сотни текстов, и вижу, что пишут много и хорошо. Фактически это они, авторы, заставили меня выпускать ежемесячный бумажный журнал.

Итак, писатели пишут, а читатели не читают. А я выпускаю. Вот такой треугольник. Я сейчас не говорю о других издательствах и других журналах. Только о себе. Так вот, я констатирую печальный факт — мы с писателями вопреки здравому смыслу работаем для читателя, которому ничего не нужно. Мое маленькое издательство выпускает каждый месяц помимо журнала 3-4 качественные художественные книги. И изо всех сил старается помочь авторам их продавать.

Очнитесь, дорогие мои. И давайте вместе решать, как жить дальше. Мне нужна ваша помощь, необходимо услышать ваши мнения. Что, по-вашему, можно сделать, чтобы читателей стало много, чтобы авторы, читатели и издатель составили гармоничное триединство?

Приглашаю всех к «круглому столу». Встречаемся на форуме. Жду. Верю, что вместе мы сможем найти решение, как сделать наш сайт посещаемым, а журнал популярным.

# Андрей Дмитриев. Четыре рассказа

Поэт и прозаик. Родился 12 декабря 1976 года в г. Бор Нижегородской (Горьковской) области. Срочную службу проходил на Краснознамённом Северном флоте. Заочно окончил юрфак Нижегородского коммерчес-кого института. В офицерском чине служил в милиции. Выйдя в отставку, работал в частных охранных структурах. С 2011 года — в сфере СМИ. Начал с газеты «Борская правда» (от дизайнера вёрстки до редактора отдела культуры). В данный момент — редактор отдела экономики газеты «Земля Нижегородская». Член Союза журналистов РФ с 2013 года. Проживает в городе Нижний Новгород.

Автор двух сборников стихов и участник коллективного сборника «Настоящие» из серии «Нижегородское собрание сочинений». Публиковался в газетах «Борская правда», «Соотечественник» (Вена, Австрия), «Новая газета», «Литературная газета», в журналах «Нева», «Гвидеон» (Москва), «Вокзал» (Санкт-Петербург), «Южная звезда» (Ставрополь), «Журнал ПОэтов» (Москва), «Нижний Новгород» (Н.Новгород), в альманахах «Земляки» и «Литкульт», в электронных изданиях «Точка Зрения», «45-я параллель», «Зарубежные Задворки» (Дюссельдорф, Германия) «Красный серафим», «Новая реальность». Автор текстов нескольких нижегородских (и не только) рок-групп.

В 2010 году стал лауреатом премии имени Бориса Пильника под эгидой Нижегород-ского отделения союза писателей РФ. Лонг-лист XII Открытого Международного Волошинского конкурса (2014 г.), шорт-лист IV Международного арт-фестиваля «Провинция у моря — 2014», дипломант межрегионального конкурса «Наималы» (2014 г.) и международного конкурса «Мирсконца-2015», проводимых домом-музеем Велимира Хлебникова в Астрахани, лонг-лист международного интернет-конкурса «Эмигрантская лира-2015».

*Мы открываем сентябрьский номер короткой прозой Андрея Дмитриева. Все четыре его рассказа одновременно фантастичны, поэтичны и проникновенны!*

*Первые три из них объединяет то, что их можно — и нужно — назвать лирической прозой поэта! Они поэтичны и прозорливы... словно маленькие романы. А рассказ "Дом" вызывает в памяти трактат Василия Кандинского "О духовном в искусстве", в нем столь же потрясающе, как у художника, рассказано о красочности палитры. Немного особняком стоит небольшая новелла "Соседи", мистическая, и одновременно реальная.*

*А все они вместе, как четыре грани, дают некоторое представление о творчестве незаурядного прозаика.*

*Инна Иохвидович*

## АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

— А ты чей такой будешь, пострел? — из-за низкого покосившегося забора палисадника спросил дед парнишку, который будто шашкой размахивал здоровенным прутом, пытаясь как можно эффектнее нанести урон пешему строю разросшейся вдоль тропы крапивы.

— Я? — замешкался мальчонка, опустив руку со своим импровизированным оружием в более низкую, а потому не участвующую в сражении траву. — Я — Лёша, то есть — Алексей.

— Алексей, говоришь. Ну это сразу видать, — дед оперся на забор, отчего тот печально скрипнул, приняв вес сухого, но ширококостного тела. — Лицо у тебя вроде как знакомое. А фамилия-то как тебе? Я в этой деревне всех знаю.

— Климычев, — промямлил малый, как это обычно бывает в школе с не выучившим урок, когда новый учитель ищет соответствующую графу в классном журнале, чтобы красными чернилами написать свой короткий приговор. — А почему это сразу видно, что я — Алексей?

— Ну как почему. Живу давно, уж столько я этих Лёшек на своём веку повидал, что с первого взгляда определить могу, — лукаво щурясь, уставился дед на паренька. Из-под густых седых бровей глаза ещё передавали миру свой внутренний свет, хоть и был он уже тусклый. Иссечённая морщинами кожа со светло-коричневым оттенком многолетнего загара и белым пухом пробивающейся там и сям седины делала лицо похожим на зачерствевший ржаной хлеб. — Вот Вовки или Петьки там — так те совсем другие. Решительно другие. Вот посмотришь на них — точно не Лёшка, ни по каким статьям. А Климычевых я знаю. Твой дед, случаем, не лесом промышляет?

— Раньше рубил, а теперь стар совсем стал — всё в огороде больше хозяйничает.

— А величать-то его Тимофеем? Тимофеем Кондратичем?

— Верно, — Лёшка даже как-то немного успокоился, почувствовав себя среди своих. — Вы, видимо, его хорошо знаете?

— А как же, — на старом лице расплылась умилённая улыбка. — Уважаемый на деревне человек. К нему, почитай, каждый по какому-нибудь делу да обращался. У него ведь руки-то золотые. И в плотницком, и в кузнечном деле — мастер большой. А уж голова какая светлая — советоваться с ним можно по любому вопросу, плохого не присоветует.

Исполненный гордостью за своего пращура, Лёшка вновь поднял прут наизготовку, всем видом показывая, что тоже не лыком шит и определённо пошёл в Тимофея Кондратича.

— А батька-то твой где сейчас? Сергеем зовут его, да? Это средний из трёх молодых Климычевых. Младший — уехал в Москву да сгинул. Старший помер от долгой болезни. Один Сергей Тимофеич теперь и остался.

— Так они в городе с мамой живут давно, а меня вот к деду в деревню привезли. Им некогда — работы много, а я сюда — в помощники. Говорят, большой уже — пора делом заняться. Дед Тимофей на речку отпустил за то, что я все грядки с утра прополол.

— Молодец, парень. Работа на земле — роднит человека с чем-то исконным, напоминает ему, из какого семени он сам взошёл. А уж коли поработал с душой, то и отдохнуть не грех. Вон лето-то какое солнечное — аж жить ещё больше хочется. Что ж ты про бабулю свою ничего не рассказываешь?

— Про бабу Катю? Да она всё пироги стряпает.

— С яблоками, небось? Хотя какие ещё пока яблоки. Да, знатные Катерина Михайловна пироги печёт — ум отъешь.

— Пробовали?

— Ещё бы. Не раз угощался. Бабуля-то по-прежнему зовёт кота по отчеству, когда наливает ему молока в миску?

— Ко-то-фе-ич, — мальчик проговорил, медленно растягивая по слогам, и уставился на старика удивлёнными глазами. — А вы у нас случайно в гостях не бывали? Такое ощущение, что я вас где-то видел или откуда-то знаю.

— Конечно, бывал. Мне в доме Тимофея Кондратича и Катерины Михайловны каждый угол знаком. За столько-то лет.

Мальчик ещё раз окинул взглядом своего случайного собеседника, но, судя по выражению лица, так и не смог установить его личность.

— Я ведь, практически, всё детство в городе провёл, вот поэтому, наверное, и не встречались раньше. Хотя всё-таки знаю я вас, как мне кажется. А откуда — ума не приложу.

— Отец с матерью в городе чем занимаются?

— Так в городе завод же несколько лет назад построили, многие деревенские сейчас там. Главное, что жильё какое-никакое, но дали, да оклад. А на селе сейчас туго. Хоть и говорят, земля — кормилица, а только дед с бабулей единственную корову продавать думают, с кормами беда и ухаживать за скотиной им уже тяжело. Зорьку доить-то я приноровился кое-как, но корова только бабу Катю признавать хочет. Одна надежда — на мать с отцом, помогут старикам. Там сейчас новый цех запустили — заработок есть.

— А сколько лет-то тебе, Лёха?

— Так четырнадцать осенью нынешней будет. Вот всё думаю, как быть дальше. Пацаны вон кто в моряки, кто в инженеры, кто в военные уже помышляют. А я всё пока никак определиться не могу.

Старик о чём-то призадумался, сменив опорную руку, от чего заборчик опять скрипнул всё в той же интонации. Он взглянул на мальчика как-то по-особенному — будто разглядывая тонкие прожилки молодого кленового листа, вынеся его на солнечный свет.

— Ох, Лёха — военные, моряки… Непросто всё это. Я когда-то в молодости военным моряком был — по инженерной части, кстати.

— Здорово, — восхитился паренёк. — Вот бы и мне.

— Будешь, Лёшка, будешь — только дело военное оно, ведь, со смертью всё время рядышком. Война, Лёшка — вещь страшная и подлая на самом-то деле, и нет в ней романтики, потому что романтика — это когда красиво, это когда целая жизнь впереди, а ты удовольствие от осознания этого простого факта через какие-нибудь новые горизонты растягиваешь. На войне же только один горизонт — грядущий день, за которым –

то ли рассвет собирается, то ли сгущается вечная тьма…

Старик помолчал, потом кивнул головой — будто согласился с самим собой по какому-то одному ему известному вопросу — и загадочно улыбнулся. Он вспомнил суровое северное море, в котором на многие мили вокруг рыскали вражеские тени, готовые каждую секунду материализоваться во что-то очень безжалостное и разящие. Но, в то же время, море завораживало и приглашало познать его.

На тропе, идущей вдоль забора, никого не было. Лишь какая-то необъяснимая дымка расплывалась на том месте, откуда мгновение назад доносился детский голос. Заросли крапивы, оставшись непобеждёнными, торжественно смыкали свои зелёные ряды.

— Алёша? — позвал старик пустоту, но из пустоты только выпорхнул воробей, который, как известно — не слово, но и его поди-ка поймай.

После того, как год назад не стало его Василисы, с которой они прожили без малого шестьдесят семь лет, произведя на свет сына и дочь, обзаведясь тремя внуками и двумя правнуками, что-то случилось с этим миром — исчезли какие-то несущие конструкции и вся система коммуникаций этой реальности.

С кем он только что разговаривал? Что это за мальчишка, чьё лицо вызывало в размякшем сознании столько скрытой тревоги и радости? Где-то

в потаённом уголке ума он знал, что в доме на окраине деревни — успевшем стать таким пустым и нелепым — в семейном фотоальбоме с пожелтевшими снимками есть это слегка наивное лицо, но мысли отталкивали прочь простую и вполне объяснимую версию — они цеплялись за шанс получить связь хоть с каким-нибудь будущим, устав неприкаянно блуждать в прошлом. Мыслям до последнего не хотелось констатировать факт помутнения, потому что раздвоение реальности вселяло леденящий страх сделать неправильный выбор пути обратно и навсегда остаться по ту сторону.

Он стал вспоминать по-мальчишески нескладные черты Алёшиного лица, чтобы самому себе доказать их существование в пространстве и времени. Но когда важные пазлы сложились в знакомый образ, старику почудилось, будто он взглянул в старое зеркало в родительской комнате. Впрочем, разве остановив на тропе паренька, он не сделал тоже самое. Разве, задавая ему наводящие вопросы, он не описывал то, что вновь увидел в том зеркале…

В романе Горького «Жизнь Клима Самгина» один персонаж с сомнением вопрошает у главного героя, услышав рассказ о нелепой гибели друга детства в чёрной ледяной полынье, которому тот не смог или не захотел помочь: «Да — был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?». Алексей Сергеевич — Сергеич, как его называли односельчане — сейчас тоже спрашивал себя о том же. Слишком стар он стал с годами, а уж, если на прямоту, дряхл, чтобы отличать реальность от той клубящейся дымки, в которой память возникала — словно недостающие фрагменты давно расколовшейся и рассыпавшейся в труху жизни.

А всё-таки — был, точнее — есть. Вот он — Лёха Климычев бежит по заросшей высокой травой тропе к прохладной и чистой реке. Бежит от него — в свои мальчишеские дали, а, стало быть — к нему, к Сергеичу — в его старую седую голову, где ещё по-прежнему живы и мама, и папа, и Тимофей Кандратич с Катериной Михайловной и даже Котофеич, который остался без молока, когда всё-таки пришлось продать корову, где фашистские снаряды поднимают столбы морской пены вдоль борта летящего на всех парах эсминца, где любимая Василиса ждёт его у калитки, и где всё это однажды превратится в белое облако над низким покосившимся забором палисадника…

20.05.2016 г.

## ДОМ

Старый дом на холме — прятал под красной крышей укромные и уютные маленькие комнаты, о существовании которых Леонид не знал, потому, как никогда не бывал в доме, но почему-то был уверен наверняка, что комнаты обязательно маленькие и уютные. Это подсказывало тепло, исходящее от самой геометрии строения, тепло, читающееся в его способах существования в пространстве. Так детский кулачок прячет что-то сокровенное, боясь разжать пальцы и доверить эту тайну ещё кому-нибудь.

Стены дома были традиционно белыми. Удивительно, что за столько лет, а, быть может, и веков этот цвет не потерял своей невинности — не вобрал в себя серость затяжных осенних дождей и копоть тлеющих зим. Словно чистые страницы они продолжали демонстрировать свою готовность дать начало какой-нибудь увлекательной повести. Впрочем, Леонид за этим и пришёл сюда. Его кисти и краски уже умели говорить. Годы в художественной школе отточили этот тончайший и сложный язык, однако

ещё не успели наделить безупречной индивидуальностью. Выдавшийся относительно свободным июнь Леонид хотел посвятить поиску новых образов, чтобы научиться переносить их на холст — не линию за линией, а молекулу за молекулой.

Он неистово рисовал деревья и цветочные луга, встречающиеся во время многочасовых прогулок с мольбертом, старался не упустить ничего. Хотя избитые сюжеты быстро ему наскучили. Хотелось, чтобы красота окружающего мира каким-нибудь дерзким жестом бросила ему настоящий вызов — ажурную перчатку с умелой и властной руки, поднять которую — означало бы подняться на новый уровень понимания природы простых чудес. И вот он набрёл на этот дом. Казалось бы, ну и чего здесь особенного. Очевидно, что когда-то явно не богатое семейство — руководствуясь не чувством вкуса, а банальной необходимостью иметь сносную крышу над головой, экономя на материалах и заботясь лишь о надёжности, возвела это строение. Однако Леонид с первого взгляда понял — в этих белых стенах дышит нечто живое и глубокое.

Неизвестно, жил ли теперь кто-то в доме. Вероятно, нет, потому что тропа к нему изрядно заросла, и ничто вокруг не выдавало признаков ведения хоть какого-нибудь хозяйства. Большие окна — чернели, и в этих прямоугольниках угадывался беспросветный космос, где не осталось ни одного небесного тела. Синяя широкая дверь, когда-то распахиваемая каждому новому дню, должно быть, давно срослась с монолитом стены, и дверные петли, будто суставы тяжелого и беспомощного крыла давно забыли свободу движения. Нет, здесь совершенно не чувствовалось присутствие человека. Но это было неважно. Леонида интересовал сам дом — не как чья-то среда обитания, а как своеобразный организм, в котором замерли процессы жизнедеятельности при приближении посторонних. Дом должен был стать не центром пейзажа, а портретом — узнаваемым каждому, кто больше привык одушевлять, чем распознавать.

Итак — красная крыша, белые стены, чёрные окна, синяя дверь. И ничего больше. Ничего, что могло бы отвлечь от созерцания образа самодостаточности. Леонид выбрал наиболее подходящий угол обзора, с которого дом максимально открывал свои черты. В руках появилась красная краска. Художник решил начать с крыши — сразу обозначить ту высоту поднятой планки, что предлагалось взять смотрящему вверх. Маленький тюбик поддался нажиму, и из него — будто вопль — исторгнулся кричащий цвет.

Этот цвет — тут же проник в глаза, затем — в сознание. И вот он уже осязаем. Там, где минуту назад настырный сквозняк мыслей с трудом приподнимал толстую и непроницаемую ткань относительного покоя — вдруг начал свой ритуальный танец красный огонь. Костёр озарил воображение, заставив его выйти из тени. Краснокожие люди — с гордыми, но открытыми лицами — встали вкруг него, вздымая к небу руки. Послышались голоса. Это были не слова, это были языки пламени, вырвавшиеся на волю в погоне за дарующим силы воздухом. Красные кони гарцевали за спинами своих спешенных седоков, олицетворяя кипящую кровь солнечных восходов.

Кисть — подхватила пойманную интонацию и смело вторглась в пределы приготовленного холста. Её хореография шла не от руки Леонида, а рождалась в ритме его сердца. Красный цвет — ликовал. Ему хотелось заполнить всё пространство сразу, но красные кони — почувствовали, что их снова взяли под уздцы, и они покорно повиновались воле творческого замысла.

Настала очередь белого. Он стал полной противоположностью красному. Спокойный тон его речи настраивал на негромкий разговор. Белый снег лёг холодным ковром, и то, что не досталось буйному огню, породнилось с ним. Молоко священных коров стыло на устах белолицых жрецов, обёрнутых в саван. Чистота цвета говорила о вере. Кисть уже не металась, а плыла с лебединой грацией по акватории холста. Белые стены росли медленно, но уверенно.

Когда из тюбика брызнула чёрная краска, уже явственно назрела потребность в окнах. Пусть чёрных, пусть беспросветных. Всепоглощающая белизна нуждалась в порталах для связи с чем-то потусторонним. Щедрые мазки — растопили снег и явили землю — густой чернозём, в котором уже зашевелились многолетние корни, в котором проснулась нефть, обещающая не то банальное богатство, что достигается деньгами, а настоящую силу бездонных недр. Свои права на поэзию возникших ассоциаций заявили чернила. Шахтёры — спустились в шахты, чтобы добывать чёрное золото. Из прямоугольников нарисованных окон на частотах недоступных для уха доносилось эхо их кропотливой работы.

Теперь не хватало только синей двери. Леонид выписывал эту деталь уже в предвкушении новой победы над пустотой. Мазок, ещё мазок. Синяя лента неведомой реки рвалась на ровные лоскуты, чтобы заполнить дверной проём. Синие блузы моряков оживили палубу уходящей в психоделический поход плоскости. Синие горизонты — определили, что такое даль — в понимании островитянина, глядящего во все стороны, но видящего только их.

Закончив картину, Леонид отошёл от мольберта в сторону. В руках ощущалась приятная истома. Глаза снова привыкали к тому, что созданный на холсте мир возможен только в контексте реальности, которую вряд ли можно превзойти. Впрочем, и задачи такой не стояло...

На следующий день холст был торжественно внесён в комнату Ольги. Та уже привыкла к подобным ритуалам, хотя роль первого критика ей казалась уж чересчур нескромной. В живописи она, впрочем, разбиралась, ведь работала в арт-галерее, но её суд грешил предвзятым отношением к автору, потому что между ними была любовь. Ольга знала, как много значат для Леонида эти художественные опыты, и как болезненно отзывается на каждое критическое слово его ранимая душа, но понимала, что внутренне ждёт он от неё всё-таки предельной объективности. И она старалась. Пейзажи последних дней ей, действительно, нравились, и не приходилось лукавить, говоря об их достоинствах. Эти выразительные деревья, ищущие связи с небом, эта едва колышущаяся от прикосновения гладь благоухающей природы — в полотнах стало много жизни.

— У меня получился не совсем пейзаж, — заинтриговал Леонид, освобождая холст от материи, в которую тот был завёрнут.

— Интересно, — Ольга увидела красные, белые, чёрные и синие мазки, разделившие полотно на чёткие сферы влияния. Найдя между собой некую гармонию, эти мазки становились невзрачным домом с красной крышей и белыми стенами, в которой словно беззубые рты, требующие щадящей пищи, зияли чёрные окна. Синий проём двери вселял надежду, что отсюда всё-таки есть какой-то выход. Ольга сощурила глаза и с минуту неподвижно стояла напротив картины, всматриваясь в тёплые объятия геометрических фигур.

— Ну как? — робко спросил Леонид.

— Знаешь, я чувствую красный огонь. Вижу лица людей. На их коже пляшут блики костра. Какие-то красные кони яростно рвут удила, но бег их

прекрасен. А ещё я вижу белый снег. Много снега. Он похож на разлитое по всему миру молоко, которому огонь не позволит остыть. А вон — там надвигается чёрная ночь. Людям нужно к огню. Они садятся у костра и пьют горячее молоко священных коров, чтобы согреться. Так их научили жрецы, и они им верят. Совсем близко течёт синяя река. В её воду нельзя войти дважды. Даже красным коням, которых в ней купают эти люди…

Леонид выдохнул и обнял Ольгу. Больше не нужно было никаких слов.

На следующей неделе в арт-галерее вывесили новую работу. Красный треугольник и белый монолит с вкраплениями чёрного и синего. Внизу на табличке написано «Леонид Сомов. Дом».

21.05.2016 г.

## РЫБАЛКА

В пруду на окраине рабочего посёлка Радужный рыбы отродясь не было. По крайней мере, даже старожилы не помнят, чтобы в нём что-то плескалось, кроме больших болотных жаб. А рыбы нет — и статус водоёма сразу падает ниже некуда. Что это за пруд, раз порыбачить нельзя. Потому, видать, даже имени в народе он не заслужил. Однако вопреки здравому смыслу и, не обращая внимания на общественное мнение, которое редко демонстрирует доброжелательность, Семён Рудольфович Березняк периодически вставал рано утром — собирал нехитрые рыбацкие снасти, готовил небольшой сухой паёк, брал термос с горячим чаем и шёл на пруд.

Выходил он из дома ещё до рассвета. Дорога была недолгой — минут пятнадцать неспешной пешей прогулки под уже затухающими звёздами. Вот как сейчас. На улице — ни души. Тёмные окна — символизируют покой и умиротворение. Только он — Семён Березняк — будто вышедший в открытый космос космонавт видит землю такой, какой она есть на самом деле — неброской, скромной, податливой воображению — такой, какой она предстаёт при общении без свидетелей. Пожалуй, уже ради этого ощущения первооткрывателя стоило встать так рано.

Когда-то в детстве Семён Рудольфович жил не здесь — в другой области, даже, можно сказать, на другом конце страны. На малой родине было много рек и озёр, поэтому рыбалка — считалась массовым видом отдыха. Любовь к этому занятию привил отец. Тот работал инженером на сложном и ответственном производстве, поэтому сидя на берегу с удочкой, когда выдавалось свободное время, подобным образом расслаблял нервную систему. Тихая речная гладь, лёгкий ветерок, шелест листвы в прибрежных зарослях кустов, щебетание беспечных птиц — и никаких стрессов.

Маленький Семён стал ходить с отцом на рыбалку уже, наверное, в классе первом. Его нервная система тогда ещё не нуждалась в разгрузке, но у него была своя мотивация. Вдалеке от назойливого грохота цивилизации он вдруг начинал слышать то, что до этого не способно было уловить ухо, начинал различать мелочи, из которых, как оказалось и состоит окружающее нас пространство.

Когда отец выуживал из воды очередного окунька — что, надо сказать, случалось не так уж часто — Семён разделял ребячий восторг старшего Березняка, хоть и не в этом видел сакральных смысл их походов к реке. Впрочем, ему тоже доверяли маленькую удочку из ивового прута с поплавком из гусиного пера. Слепив шарик из хлебного мякиша, он, затаив дыхание, аккуратно наживлял его на крючок, чтобы забросить снасть в тёмную воду и с деловитым видом усесться рядом с папой. Однажды

рыбацкое счастье улыбнулось и ему. Подсечка после того, как поплавок скрылся под водой, получилась несколько неуклюжей, но небольшой ёрш всё-таки стал добычей.

— С почином, Сёмка, — сказал тогда отец и помог снять улов с крючка.

— Теперь я — настоящий рыбак?

— Конечно, настоящий, — папа с тёплой улыбкой смотрел на сына и глубоко внутри дивился тому, как быстро и незаметно тот подрос.

Ёрш, безусловно, стал знатным трофеем, однако река сама по себе давала Семёну гораздо больше. Здесь он чувствовал себя неотъемлемой частью чего-то необъяснимо огромного. В том и была истинная радость. Дома, в своей тесной комнате среди игрушек, безмолвно стерегущих простые детские тайны, всё казалось построенным из конструктора, у которого — как это всегда водится — то не хватает нужной детальки, то отвинчивается и укатывается под стол какой-нибудь крохотный, но важный винтик. А вот в звенящем космосе природы — схемы сборки не требуется, потому что не видно ни стыков, ни отверстий для крепежа, ни самой возможности докопаться до сути всей конструкции. Всё на месте и всё взаимодействует с тобой без каких-либо скрежещущих механизмов. Чудо!

По мере взросления интерес к рыбалке не угасал. Сидя на берегу с подаренной на день рождения настоящей трёхколенной удочкой, Семён учился ценить любую возможность вынести за скобки всю математику бесконечных сложений, чтобы уверенно ставить знак равенства между собой и полученной суммой мгновений, подмеченных примет и распознанных знаков, говорящего с ним мира.

Когда же по зиме природа впадала в долгий летаргический сон, и вода пряталась под толстым слоем непроницаемого однообразного льда, Семён любил погружаться в книги — в те, где человеческая мысль подобно неспешному руслу увлекает брошенный в него венок, сплетённый из наивных надежд и радужных представлений куда-то в сторону предполагаемого моря. Хотя море — это уже была необузданная стихия, в которой культ силы превозносился выше стремления к гармонии. И Семён поддавался руслу с чувством, что река не имеет конца.

Родители хотели, чтобы сын пошёл по стопам отца, ведь, по их мнению, в индустриальный век люди с техническим образованием должны неминуемо сформировать элиту общества. Однако точные науки казались юноше слишком самоуверенными в вопросах познания жизни, особенно, когда эти суждения оформлялись ими в виде законов, обязательных для исполнения. Учителя не могли отметить ярких способностей Семёна ни в алгебре, ни в геометрии, ни в физике. Больше всех этим был удручён папа, но сильного давления всё же не оказывал. Он по себе знал, как важно сделать собственный выбор.

В итоге Семён из института вышел обычным учителем литературы. По распределению попал в тихий уголок русской глубинки. Школа тут была небольшая и без особых перспектив для карьерного роста, но не сказать, что заурядная. Прекрасный коллектив во главе с чутким и тактичным директором стал ему второй семьёй. А какие здесь были дети! Привыкшие к серой реальности типового посёлка, где провинциальность, в первую очередь, это не отсутствие современной широкой инфраструктуры, а теснота постоянства, при которой теряется интерес к нематериальным проявлениям мира, эти дети всё-таки тянулись к чему-то живому. Книги — для многих из них явились тем, чем и должны служить любому читателю — открытием. Семёну Рудольфовичу нравилось общаться с юными подопечными, которые непредвзято, а порой так по-честному наивно и эмоционально отстаивали

свои позиции — будто и, правда, знали ответы лучше, чем обсуждаемые на уроках классики. В диспутах рождалось множество истин и умирало не меньшее количество заблуждений. Знал бы стареющий отец, каким в такие минуты сложным и ответственным производством занят его непутёвый сын.

Демографический спад, вызванный, видимо, экономической и общей непривлекательностью посёлка у молодых семей, привёл к тому, что из-за дефицита учеников по программе оптимизации расходов в сфере образования школу закрыли, объединив её с более крупным учебным заведением, расположенным ближе к райцентру. Семён Рудольфович перевёлся бы туда, следуя принципам и долгу перед делом своей жизни, перед детьми, однако беда и в этом частном случае не пришла одна. Вдруг стремительно стала развиваться какая-то невесть откуда взявшаяся болезнь. Серьёзный недуг надолго лишил Семёна Рудольфовича трудоспособности. И вот тогда к нему пришло дикое и нестерпимое осознание одиночества и собственной бесполезности.

Личная жизнь провинциального педагога не сложилась. «Странный он какой-то», — таков был вердикт местных претенденток на роль подруги сердца. Здешние мужики смотрели на него искоса — посмеиваясь, а иногда откровенно крутя пальцем у виска. Слово «интеллигент» в местах, подобных посёлку Радужный, до сих пор остаётся, если не ругательным, то весьма пренебрежительным. «Не живётся, как обычным людям», «вечно им нужно больше, чем другим», «начитались книжек-то своих заумных и мутят нам теперь воду», «весь этот бардак из-за таких вот — повадились дармоеды на шее у простого народа сидеть» — впрочем, эти голоса стихали, как только по телевизору запускали новый сериал про ментов или про сложные перипетии служебных романов. По пятницам, подогреваемые палёной водкой, они вообще уходили в иные плоскости, где вновь подорожавшая колбаса делила степень значимости с оперативной обстановкой на Ближнем Востоке.

Но Семён Рудольфович их не слышал — он заперся в своих четырёх стенах, где принимал лекарства и перечитывал любимых писателей. В сорок с лишним лет рядом не было никого, кто мог бы разделить его боль. Родителям он ничего не сообщил — скачущее давление мамы и слабое сердце отца были веским поводом для этого. По телефону он говорил им, что всё хорошо, а голос такой слабый из-за усталости от долгих проверок сочинений. Далее следовали уверения, что он обязательно выспится, а в ближайшее время даже, возможно, возьмёт отпуск, чтобы как следует отдохнуть и приехать к ним погостить.

Иногда он закрывал глаза и представлял, как они с отцом идут на рыбалку. Тропинка петляет, оставляя далеко позади суету пыльного города. Медленно идущее к зениту солнце кладёт щедрые мазки яркой золотой краски на холст разбуженного неба. Зелёные листья, сбиваясь в кучу порывом ветра, шепчут: «Шире шаг, шире шаг». Но торопиться не хочется. Хочется насладиться ощущением самого пути. А уже неподалёку блестит река, где в живописных заводях тонут громоздкие и надоевшие формы существования человека в пространстве. Потом отец выбирает место, где, как ему кажется, непременно есть все условия для комфортного обитания всевозможной рыбы, и, так как этот прагматичный подход чудесным образом помимо прочего перемещает двух рыбаков в красивейший уголок побережья, на сердце у Семёна начинает звучать ангельская органная музыка.

Радужный находился вдалеке от рек. Озёр поблизости тоже не было. Лишь имелся безымянный пруд — а, если точнее, карьер, появившийся во

время постройки асфальтового завода, чьи полузаброшенные корпуса теперь стали любимым пристанищем бомжей, собирающих по округе лом металла. Хоть рыбы там не водилось, но пруд являлся маленьким энергетическим центром, где хотелось дышать не инстинктивно, а осознанно. Даже старые покрышки, чернеющие на мутном мелководье, и мусор различного происхождения, добавляющий водоёму черты научно-фантастического апокалипсиса, не могли помешать видеть в нём природу, как таковую. В период активной педагогической деятельности Семён Рудольфович прогуливался там, но манила его скорее лишь возможность побыть одному, шанс собраться с мыслями в обстановке относительной естественности. А вот идея пойти туда с удочкой пришла только сейчас — на пике внутреннего и физического опустошения, когда разве что детские воспоминания давали основания считать себя живым.

Было ещё достаточно темно, но зеркало водной глади отражало уже розовеющее небо и огни фонарей, тянущихся вдоль покосившегося забора старой промзоны. Хлебный шарик не получалось скатать так же ровно и быстро, как удавалось когда-то маленькому идеалисту, но всё-таки наживка торжественно водрузилась на крючок. Снасть отправилась в воду, и круги разнесли весть об этом в радиусе нескольких метров. Поплавок встал на караул.

Мимо проехал велосипедист. Это был оператор котельной, чья высокая труба чернела где-то справа. Видимо, какая-то нужда заставила его съездить по-быстрому домой, и теперь он спешил обратно, чтобы приготовиться к приходу на работу начальства.

— Ну как, клюёт? — с ехидством в голосе бросил он на ходу. — На уху не забудь позвать.

О чудачестве бывшего учителя на посёлке знали уже многие. Большинство считало, что на фоне болезни и одиночества тот постепенно сошёл с ума. Учитывая, что и в былые времена репутация Сергея Рудольфовича была определённой, эта версия казалась правдоподобной.

Сторож поднажал на педали, увидев, что финиш близок. Он был уже метрах в двухстах от берега пруда, когда поплавок вдруг медленно пошёл в сторону, а потом стремительно затонул. Странно, но для рыбака это будто не стало неожиданностью, и он совершенно спокойно сделал подсечку, и в воздухе блеснула мокрая чешуя.

— А говорили, что здесь нет никакой рыбы, — тихо вымолвил Сергей Рудольфович, и в момент, когда холодное тело добычи легло, наконец, в ладонь, явственно почувствовал: теперь что-то должно в корне измениться.

23.05.2016 г.

## СОСЕДИ

Большой и высокий многоэтажный дом — пятый по счёту из тех, что предусматривался генеральным планом строительства жилищного комплекса «Молодёжный» — стал потихоньку заселяться. Пётр и Людмила Овечкины, заключившие брак в прошлом году, наконец-то получили собственную квартиру. Ипотеку помогли оформить родители, которые внесли значительный первоначальный взнос. Молодая пара спешила обособиться, начать собственную жизнь и стала в доме одними из первых новосёлов. Из шести квартир, расположенных на одной площадке, к их приезду пока не было заселено ни одной.

Всё хозяйство Пётра и Людмилы включало пока только самое необходимое — стол, кровать и два стула, а также небольшой шкаф для одежды. Ещё какой-то скарб был сложен по углам в виде свертков и узелков. За год совместной жизни он не успел скопиться в количестве, способном создать угрозу для площади в пятьдесят четыре квадратных метров. Ощущать себя единственным населением на высоте семнадцати этажей над уровнем города с одной стороны было несколько тоскливо, а с другой — в этом, безусловно, имелась изрядная доля романтики. Одни — на этом острове, одни — на этой планете, одни — в целом свете, и нет никого, кто мог бы разрушить сладостную идиллию.

Так как дом в целом не был ещё заселён и на треть, по вечерам, когда обычно люди возвращаются с работы — включают повсюду свет, гремят в предвкушении ужина посудой, бурно обсуждают события дня, стараясь перекричать собеседника и громкий телевизор — вокруг Овечкиных царила такая звенящая тишина, что иногда казалось, будто они и не в городе вовсе, а глубоко под землей — в бетонном бункере, где ожидают конца какого-то затянувшегося эксперимента.

— Помню, когда я был ещё мальчишкой, у нас за стенкой жили очень беспокойные соседи, — сказал Пётр, словно уже скучая по такому соседству. — А уж по пятницам чего было, так просто, хоть из дома беги. Мужик напьется, и давай из себя главного строить. На неделе-то жена всё права качала. От её визга даже у нас посуда на полках звенела, а в ответ лишь какое-то робкое и виноватое бормотание доносилось. Но в пятницу вечером в их квартиру врывался настоящий лев — злопамятный и мстительный. Его грозный рык сопровождался битьём тарелок и грохотом падающих навзничь стульев. В ожидании прихода участкового, которого мало кто знал в лицо и о существовании которого догадывались лишь истинно верующие в закон жильцы, можно было долго слушать вопли и шум, представляя, будто смотришь дешёвый боевик без изображения.

— Вот доведёшь — тоже визжать начну, — пошутила Люда и выключила телевизор, по которому не показывали ничего, кроме вороватого вида чиновников, говорящих о патриотизме, и однообразных ток-шоу, где полусонная массовка, следуя не особо изобретательному режиссёрскому замыслу, мусолила очередную пошлую тему из разряда подъездных сплетен. — Кстати, здесь даже бабули на лавочке возле дома не сидят — у нас раньше помню никаких ток-шоу не нужно было. Такие страсти, такие интриги кипели — только балконную дверь летом открой. Наслушаешься их, бывало, и ощущение возникает, словно настоящая бурлящая жизнь всё время где-то в стороне проходит, а тебе остаётся только школа да детский наивный трёп с подружками.

Внезапно за стенкой послышался какой-то звук. Пётр и Людмила напряглись. По ту сторону громыхнула какая-то утварь, а потом раздался глухой голос: «Валентина, может, поужинаем?». Откуда-то совсем издалека — вероятно из другой комнаты — ответили фразой, которую уже нельзя было разобрать.

— У нас что, появились соседи? — недоумённо спросил Пётр, хотя вопрос был явно риторическим.

— Да я вообще-то сегодня рано освободилась, не видела и не слышала, чтобы кто-то въезжал, — ответила Людмила.

Странно, но больше никаких звуков и голосов из-за стены не доносилось. Было неизвестно, случился ли всё-таки в соседней квартире ужин или нет. Хотелось надеяться, что случился, и возникшая тишина — следствие сытой неги, за которой последовал нормальный здоровый сон.

На следующее утро, отправляясь на работу, Пётр остановился у соседней двери и внимательно присмотрелся. Коврика, свидетельствующего обычно о чьей-то борьбе с грязными подошвами, не было. Возле двери в свете люминесцентных ламп ещё поблескивала строительная пыль, но на ней никаких отпечатков ног не наблюдалось. Он на цыпочках подошёл ближе и приложил ухо на манер соглядатаев из времён, когда доносы — были самым распространённым жанром народного творчества. За дверью стояла тишина. Хмыкнув, Пётр направился к лифту.

Вечером Овечкины собрались за новеньким столом поужинать в кругу своей небольшой семьи. С краешка лежал раскрытый ноутбук, по которому они через интернет смотрели фильм — авторскую работу именитого режиссёра, неведомого для составителей программ телепередач на неделю. Звук был негромким, поэтому позвякивание вилки о плоскость тарелки в поисках очередной макаронины раздавалось отчётливо.

Вдруг по ту сторону стены кто-то сказал: «Дима, ну сколько можно раз повторять — грязные носки нужно складывать в тазике в ванной, а не раскидывать по всей квартире». Ответ прозвучал в глубине, но даже по интонации донёсшегося оправдания было понятно, что данный рецидив снова не воспринят, как серьёзное преступление.

— Вот, уже кого-то пилят, — попытался пошутить Пётр, но Людмила не отреагировала. Она настороженно смотрела на стену, и внутри неё зарождалась тревога, подогреваемая рассказом мужа о его утренних разведывательных действиях.

— Послушай, это что, коллективные галлюцинации? — спросила она, не меня выражения лица. — Мы же не можем сойти с ума оба одновременно. Знаешь, давай-ка ты, как мужчина, как мой защитник, сходишь к ним, мол, узнать, где находятся общедомовые счётчики или поинтересоваться, есть ли у них горячая вода.

— А что это я-то? — Пётр, не отличавшийся ни повадками, ни внешними данными грозного самца, ревностно охраняющего территорию, был смущён таким предложением.

— Ну а кто, я что ли пойду? — возмутилась Людмила. Фильм продолжал своё повествование уже сам по себе, и остатки макарон безнадёжно остывали в атмосфере нарастающей напряжённости.

Пристыжённый самой мыслью о том, что со стороны выглядел как-то трусовато, Пётр хлопнул ладонями по коленкам в знак неумолимости судьбы и встал со стула. На этаже было по-прежнему тихо. «А что, если эти люди въехали раньше их и просто ведут такой малозаметный образ жизни? Может они в отпуске, а по натуре — убеждённые домоседы?», — крутилось у него в голове, но так, как до соседней двери было каких-то два шага дальше ход мыслей пойти не успел. Палец нажал на кнопку электрического звонка, и писклявая трель вспорола тишину по ту сторону. Пётр затаил дыхание и прислушался. Ни вопроса «Кто там?», ни шагов в прихожей, ничего. Он позвонил ещё раз — тот же результат.

В эту ночь Овечкины долго не могли заснуть. Пётр, лежащий у стены, вслушивался, будто стремясь охватить радиолокационными волнами невидимое ему внутреннее пространство соседней квартиры, чтобы зафиксировать там присутствие человека. Людмила смотрела в потолок, и ей казалось, что около их двери слышатся какие-то едва уловимые шаги. Рай вдвоём на необитаемом острове оказался местом крайней незащищённости. Но сон всё-таки пришёл для того, чтобы перевернуть новую страницу этой истории.

Вечером следующего дня после работы Овечкины задержались в гостях у друзей. Людмила была только рада такой возможности, ей почему-то совсем не хотелось домой. Пётр, будто чувствуя это, старался оказывать жене как можно больше знаков внимания и постоянно шутил. Однако гостеприимством злоупотреблять было нельзя, тем более, что у друзей были маленькие дети, которых нужно было укладывать спать. Овечкины попрощались и отправились домой. Когда они подошли к подъезду, Петра осенило. Он сосчитал этажи и вычислил окна своей квартиры. Света в них, естественно, не было. Тогда взгляд его переместился левее. У соседей два окна зала и одно на кухне тоже были тёмными. На них отсутствовали занавески. Бликов от экрана телевизора тоже не наблюдалось.

— Вот видишь — там никого, — успокаивающе сказал Пётр, показывая пальцем на соседские окна.

Они вошли в квартиру. Здесь по-прежнему витал дух новоселья, и это возвращало ощущение комфорта. Людмила поставила на огонь чайник и включила телевизор. В мешанине пёстрых кадров что-то хохотало и кривлялось, но для фона подходило вполне, так как не обязывало полностью сосредотачиваться на экране. Пётр прилёг на край кровати с недочитанным романом, пытаясь создать обстановку непринуждённости. Однако все эти попытки срежиссировать реальность пошли прахом, когда за стеной снова раздался голос. «Валентина, я устал, я больше так не могу, нам нужно расстаться, хотя бы на время», — готовый сорваться в истерику, прозвучал мужской бас.

И тишина. Эта тишина была даже более пугающая, чем неясно откуда возникший голос. Петра и Людмилу взяла оторопь. Они не знали, как ещё можно среагировать на эту чертовщину. Быть может, они, действительно, въехали в дом с приведениями. Впрочем, фантомы, насколько известно, обычно обитают в старых зданиях — погружённых в магический морок пережитых столетий. Хотя полтергейст — явление спорное и у него масса толков. В любом случае — рядом что-то происходит, и это что-то, ломая привычную канву быта, вторгается в каждую деталь, в каждую мысль. Единственным действенным средством борьбы с надвигающимся ужасом говорящих стен, природа которого кроется в неспособности до конца объяснить себе этот мир, стало полное игнорирование мистики, как причины происходящего. Почти дзэнская практика достижения ощущения, будто ничего не случилось, свелась к молчаливому допиванию чая под незатейливый аккомпанемент телеэфира.

На следующий день с утра на площадке послышалась какая-то возня. Людмила как раз отправлялась на работу. Открыв дверь квартиры, она увидела нагромождение вещей и мебели, которое расширялось по мере того, как грузчики приносили от лифта новые предметы. Рядом суетливо крутилась уже довольно немолодая пара. Та дверь, где последние дни таилось столько необъяснимых страхов, была открыта, давая все основания утверждать, что именно туда въезжают новые жильцы.

— Здравствуйте! — поприветствовала неожиданных соседей Людмила, но в её интонации облегчения было больше, чем элементарной вежливости.

— Здравствуйте! — ответила женщина, одетая в уже не новый спортивный костюм. — Меня зовут Тамарой, а это мой муж Борис. Будем соседями.

— А я — Людмила. Мы с мужем уже несколько недель здесь живём, совсем одни, как на необитаемом острове. Вы только сегодня переехали?

— Да. Мы сами из области — из небольшого городка. Вышли на пенсию и решили поближе к внукам перебраться. Продали там свою двушку и взяли

тут ипотеку. Вчера последние юридические процедуры по продаже закончили, а сегодня решили начать переезд.

— А можно взглянуть на вашу квартиру? Мне просто интересно сравнить.

— Да, конечно, мы сами-то были здесь пару раз с представителем застройщика месяца полтора назад.

Людмила сделала шаг через порог, и какой-то лёгкий холодок пробежался у неё по спине. Кругом были голые стены — никаких признаков быта. В окне вздымались строительные леса ещё одного дома жилищного комплекса «Молодёжный», растущего вширь, в длину и в высоту. По потолку плыли блики утреннего солнца. Пол был усыпан каким-то крошевом, а кое-где затянут серой пылью. Что бы здесь ни происходило, какая бы загадочная сила не оживляла эту пустоту — теперь тут будут обустраивать жизнь симпатичные провинциальные люди. И даже бредовая мысль о том, простит ли Валентина Дмитрия, если тот вернётся, летела прочь, гонимая светлым оптимизмом.

«Кстати, а ушёл ли тогда Дмитрий?», — машинально подумала Людмила, заходя в лифт.

25.05.2016 г.

## Владислав Пеньков. *NORDOMANIA*. Стихи

Пеньков Владислав Александрович. Родился во Владивостоке в 1969 г.
Член Союза российских писателей. Автор двух сборников стихотворений и ряда публикаций в российской и зарубежной бумажной и интернет-периодике.
В настоящее время проживает в Таллинне.

*«Я верю в картины, написанные кровью сердца»*
*Эдвард Мунк*

*«Нордомания» Влада Пенькова. Оказывается, я давно ждала и надеялась — это должно было когда-нибудь появиться. Первые три стихотворения, а у Пенькова существует целый цикл Мунка — удивительный поэтический hommage Эдварду Мунку (Edvard Munch), который, казалось, писал свои картины не красками, а жизненными соками своего больного тела. Но ведь и никто, кроме Мунка так не изображал солнце — на нескольких метрах полотна, размашисто и сжигающе. Преломить творчество этого «странного» художника в глубокое поэтическое осознание — миссия не просто художническая, но и просветительская. И кажется завороженному началом читателю, что и следующие стихотворения Пенькова — все тот же Мунк, но только с «русскою душою». Я верю в поэзию, созданную кровью сердца.*
*Наташа Борисова.*

Наташе П.

**-1-**
**Moon**

Разбери мирозданье по пунктам,
на норвежское небо помножь,
и получишь не что-то, а Мунка —
скандинавскую лунную дрожь.

Не простую тоску околотка
и не просто простуду души,
но идёт-не проходит чахотка,
архаическим платьем шуршит.

На щеках — розоватые пятна.
Белый пепел упал на глаза.
Над землёю горит, многократно
превзошедшая солнце, слеза.

Но — горит и не светит при этом
(это я про неё, про луну),
что гораздо заметней поэтам,
вообще — всем идущим ко дну.

**-2-**
**Скандинавия**

Время — губит, остальное — лечит.
Неужели больше никогда
не обнимет палевые плечи
света заоконного вода.

Это — не сейчас и не отсюда,
это из чахотки и беды
лепится телесная посуда,
полная душевной лебеды.

У зимы нелёгкая походка,
а у смерти — влажная постель.
Помнишь лето — берег, дюны, лодка,
чернотой бормочущая ель.

Синим, фиолетовым, лиловым
на границе "это" и "ничто"
пролегло единственное слово
узкою тропинкою пустой.

Чёрные значки портовых кранов,
христианства пепел голубой.
То, что начиналось как нирвана,
как-то враз сомкнулось над тобой.

Посмотри на ночь глазком дантиста —
боль зубная у неё в любви.
Как потом о вечном и о чистом,
если это чистое кровит.

Но побудь со мной ещё немного —
и побалуй дымкой и дымком.
Чем с тобою дальше я от Бога,
тем точнее с Богом я знаком.

**-3-**
**Снова Мунк**

Белая ночь не горячка — белее
первого снега и горлинок бреда.
"Тихо проходят они по аллее", —
тихо бормочешь под крики соседа.

Бьётся посуда, летают тарелки —
левым плечом овладевший чертёнок
очень настойчивый, даром, что мелкий,
очень тяжёлый, свинцовей потёмок.

"Тихо проходят они..." С недоумком
жить тяжело за соседнею стенкой

"Тихо проходят..." Напичкаюсь Мунком,
видевшим всё — над золою и пенкой.

"Кто бы меня пожалел?" — он не спросит.
Сам пожалеет с улыбкой надменной.
Скоро уже начинается осень.
Скоро? Она наступает мгновенно.

Только за окнами было белее,
чем седина, чем душа у младенца...
"Тихо проходят они по аллее.
Кровью алеет зари полотенце".

**-4-**

## Skumring

Комната. Сумерки. Койка.
Всё жутковато спросонок.
Сколько? Без разницы. Столько,
что умирает ребёнок,

где-то в районе гортани.
Сумрак — урчащим желудком.
Нет ни простора, ни граней —
это как раз-то и жутко.

Это как раз и жестоко.
Сразу — и жёстко и жидко.
Пытка желудочным соком
сумерек — страшная пытка.

И отражаясь в глазницах
полулитрового страха,
в небе болтается птица,
белая, словно рубаха.

## Учитель словесности

*Р. Г.*

Почаёвничаем что ли?
Сердце бьётся и скорбит.
В чисто русском чисто поле
выпал вечером сорбит.

А тебе хотелось снега?
Тройки блоковской полёт?
Чтобы нежность? Чтобы нега?
Не волнуйся, заживёт.

Перья страуса в стакане.
Чашка чая на столе.
Мышь в "Урале", вошь в аркане,
корни в небе и в земле.

А в груди темно и тесно.
Пусть за нас ответит он —
всю изящную словесность
озаряющий закон.

Выпьем с горя, человечек,
выпьем горькой, человек.
Не увидеть смертниц-свечек
из-под гоголевских век.

## Здесь

Зорька над ольхой —
это временщик.
Здесь в степи глухой
замерзал ямщик.

Здесь летел состав,
громыхал вагон
и звучал с креста
арамейский стон.

Слышишь, до сих пор
раздаётся крик?
И глядит в упор
Бог-Отец старик.

Замерзать в степи.
Наливать в стакан.
Всё одно — терпи
пять сыновьих ран.

И отбросив стыд,
кое-что исправь.
Правая горит...
...левую подставь.

## Дыра

*"О, не смотри в оконную дыру..."*
*Б. Б.*

Подойди, посмотри в окно —
там снежок, простыни белей,
и просыпал Господь на дно
говорящий кунжут голубей.

И ворона там есть одна,
шмат, кричащий о смерти так,
словно бросишься ты из окна
и наступит полнейший мрак.

Кто-то знает за нас про нас,
намекает, насчёт поры.
Отражается в бездне глаз
милый дворик — нутро дыры.

## Дворники

Чисто выметет дворник Прокофий
двор от всякой осенней трухи.
День как день, и похож на картофель
приземлённостью личных стихий.

Подопревшею шкуркою дряблой,
пресным запахом, вкусом простым.
Поскорее бы россыпи яблок
засверкали с небес холостым —

музыкантам, врачам, инженерам
и работникам прочих работ,
тем, кто бродят ночами по скверам,
и гармошка им спать не даёт.

Им — не знающим сна и обиды —
пусть просыплется ночью с небес,
пусть не смогут сберечь Гесперид
золотых ароматных чудес.

Пусть их выпадут целые тонны.
Разобьются они? Не беда.
Завтра будет работать Платонов.
Собирать, что упало сюда.

## Здесь и там

***В. Е.***

Пройдут и день и год
в контексте убыванья
всех тех, кто мне нальёт,
постелет на диване.

Пусть пухом им земля
и небо одеялом
от самого Кремля
до Курского вокзала.

Скрипит в ночи обоз
Плеяд и Ориона,
везёт щебёнку слёз,
булыжники закона.

Зато состав летит,
мелькает путь голгофский,
всё прочее — петит,
обмолвки, отголоски.

Пускай летит состав.
Мелькает Серп и Молот.
Со времени Христа
на з д е с ь и т а м расколот.

## Старый сюжет

Бродячий мудрец все детали учёл,
и дело не кончилось крахом —
не то пережил падишаха осёл,
не то повезло падишаху.

Мораль этой сказки навязла в зубах.
Но действует всё же на нервы,
что так — я осёл, а вот так — падишах,
стою под вопросом — кто первым?

## Цель

Если б мог я оставить намёк
на присутствие смысла повсюду.
Что смотрю "Голубой огонёк",
ем пельмени и мою посуду

не задаром, не просто. Не зря
и не даром я делаю это.
Что встаёт золотая заря
над любым повседневным предметом.

Что заря зачинает сквозняк —
ветерок из неместного мира.
Пронзена ежедневно возня
сквозняком — золотистой рапирой.

## Лунка

Присягаю на верность балтийской зиме,
мокроглазой, старушьей, дотошной.
Ведь она, словно я, у себя на уме,
ведь и ей — не паскудно, так тошно.

И троллейбус — её королевский дворец.
По дворцу — и сама королева.
Я — живущий в масштабе вороньих колец,
не пойду от хозяйки налево.

Я признателен ей за дорожную соль
на краюхах китайских ботинок,
за прохладный приём, отсыревшую смоль.
Но сильнее всего — за мотивы.

То ли Брейгель звучит, то ли Бах ворожит,
то ли красная музыка Мунка,
только сердце, как чёрная точка, дрожит,
незажившая чёрная лунка.

## Вечерний дозор

***Н.П.***

Гирлянды светящихся окон
диктуют какой-то закон.
Не скажешь, что это высоко,
не скажешь, что невысоко.

Но — по направлению взгляда
на их разноцветный узор
негромкие рифмы — отрядом
выходят в вечерний дозор.

К мерцанию, вечеру, шторам
и светлой меж них полосе,
уходят. Вернутся не скоро,
к тому же вернутся не все.

Поскольку ушли по-солдатски,
поскольку я очень хочу
добыть не трофейные цацки,
а музыку нам по плечу.

## Сергей Эсте. *Жизнь. Дубль первый и единственный*. Книга вторая
## *Машина времени*

*(Книга первая была опубликована в Za-Za № 24)*

Сергей Эсте родился в 2006 году с первыми миниатюрами и стихами, неожиданно возникшими у Сергея Стаценко, родившегося в мае 1945 года в Ленинграде.

До своего рождения Сергей Эсте жил, учился и работал в Эстонии, играл в любительских театрах, периодически делая нечто профессионально по этой своей профессии, не подтверждённой какими либо дипломами, одно время пел в мужской группе хора мальчиков «Кантилена», г. Таллин. Вполне естественно, был женат, каковым и сейчас остаётся без перемены супруги, стал отцом дважды и дедом многожды. Работал по своей специальности, связанной не с искусством, а с обработкой металлов, а теперь бьёт баклуши на пенсии. Состоял и участвовал активно. Являлся убеждённым атеистом.

Кстати, продолжает жить вполне обыкновенно по старым документам в своей Эстонии.

Сергей Эсте сразу же стал публиковать свои стихи и миниатюры на электронных сайтах Стихи.ру, Проза.ру и на других сайтах, а потом в разных сборниках, в газете «Приневский Край», Гатчина, в журнале «Таллинн», издал книгу «Исповедь Серого Волка», вдруг стал членом Объединения Русских Литераторов Эстонии а потом и членом редколлегии журнала «Книголюб», Казахстан, ныне почившего в бозе (или вдруг возродится?..).

Как ни странно, единственным автобиографическим произведением у него является «Моя Эстония». Всё остальное — результат раздвоения (или растроения, со счёта сбился) его личности. Хотя в быту, вроде, этого не видно.

*Вторая часть книги «Жизнь. Дубль первый и единственный» глубже и тяжелее первой, ибо начало, как и мечта, всегда туманно и полно надежд, а здесь описывается уже зоркая зрелость, позволяющая изобрести собственную «машину времени», или открыть свою память: путешествовать как в прошлое, так и в будущее, исследовать всевозможные варианты событий, как случившихся, так и несбывшихся. Автору удается избежать пророческого, но скучного «суда над собой» классиков, ему посчастливилось изобразить жизнь как полотно ярких мгновений, каждое из которых: светло оно или больно – но ценно до бесконечности, потому что именно из таких мгновений и состоит жизнь не только человека, но и Вселенной: мы все – одно целое. Роман Сергея Эсте – как волшебный микроскоп: позволяет в капле человеческих эмоций увидеть если не «судьбы мира», то мир вокруг нас.*

*Маргарита Пальшина*

### Одиночество не крест, одиночество — божья милость

### От автора

Когда-то мне представлялось, что время течёт только вперёд. Казалось бы, всё вокруг говорит именно об этом. Рождается человек, растёт, умнеет, набирается опыта, развивается, переходит некую грань, стареет и умирает. По ходу жизни рождает себе подобных, человеки живут дальше, прогрессируя и эволюционируя всё Человечество. То же самое и вокруг нас. Рождаются горы, высыхают реки, взрываются звёзды, а потом коллапсируют

в Чёрную дыру. Вперёд! К рождению, прогрессу, регрессу, смерти и жизни других потом!

И только в догадке Герберта Уэллса появилась Машина Времени, в которой венец природы крутит ручку, щёлкает тумблерами и отправляется куда хочет и сможет. Щёлк! И ты не наступаешь в многомиллионнолетнем прошлом на крылышко бабочки, даёшь миру шанс. Или из глубины Будущего извлекаешь живительный эликсир. Здорово и прекрасно, если конечно, не испоганить цивилизованным сапогом девственность Прошлого или варварской безграмотностью и хамством не оскорбить Будущее. Правда, когда после изобретения Машины и активного секретного использования её доверенными агентами спецслужб, мечта превратится в мерзкую реальность, мне уже не захочется блуждать по затоптанным тропинкам прошлого и будущего с предостерегающими табличками на государственном языке. Я хочу путешествовать во времени сейчас, пока благородная идея Великого англичанина ещё не совсем опорочена.

И тут я неожиданно узнал, что у меня уже есть личная Машина Времени. И нет проблемы доставить меня в любое место Мироздания, в прошлое или будущее. Разрешающая способность её, правда, ещё не соответствует мировым стандартам, поэтому не смогу запустить её в серийное производство, чтобы насытить рынок и свой опустевший карман.

Нет, нет! Я ею совершенно доволен. Она несёт меня, неуклюжего седока, через время и пространство. Ни разу не подвела. Что с того, что там со стороны не всё видно чётко и в мельчайших подробностях и поэтому приходится продираться поближе сквозь дебри предрассудков?

Неси меня, моя Машина, по жилам моего и не моего времени! Сквозь генную память близких и совсем незнакомых. В то, что может быть, было. И в то, что не сбудется никогда.

Сергей Эсте

## Лидочка

Лидочка и не загадывала, чтобы всё было хорошо и просто. Если честно сказать, она не строила каких-то особых планов. Особых, в смысле личных, на свою семейную жизнь. То есть, она безумно захотела то, чего хочет каждый нормальный человек: свой дом, семью, детей. А вот кого конкретно она может представить своим мужем, на это она ответить не смогла бы. Вот кого отвергает – это, пожалуйста: всех без исключения мужчин, с которыми она спала. Некоторые из них были даже её хорошими любовниками, но в мужья не годились. Нет, она совершенно не жалела, что уехала тогда в Питер. Для того чтобы осознанно принять решение, нужно было оказаться в тупике, а потом вернуться туда, где ей было не то, чтобы комфортно, но всё-таки легко и свободно. Ей захотелось оказаться рядом с человеком, в отношении которого уже не строила никаких планов, но…

Николай Петрович посмотрел на часы, и нажал «Стоп» на пульте. Огоньки погасли, паровоз застыл у перрона. В комнатке было тихо. Двое сидящих рядом продолжали смотреть на недвижные крохотные фигурки и состав, станцию, холм, водокачку. Так и не глянули ещё толком друг на друга.

— Ты сегодня приехала? – наконец негромко спросил Николай Петрович.

— А-ха, — это прозвучало совсем не размыкая губ и не сразу.

— Вещи где, у матери оставила?

Лидочка в ответ лишь приподняла бровь и ничего не ответила. Николай Петрович повернул голову и долго глядел ей в глаза. Она не отвернулась, рассмотрела морщинки у глаз, складки у рта, отсутствие обычного

стремления что-то делать, какое-то странное для него спокойствие. Да нет, не спокойствие, скорее он будто замер, что ли? И она неожиданно спросила то, что вроде не собиралась: «Как малышка?»

— Хорошо.

— Давно ездил?

— Неделю назад.

Он, наконец, рассмотрел её. Почти не изменилась. Только слегка похудела и чуть больше замкнулась.

— Есть хочешь?

Она в ответ первый раз чуть заметно улыбнулась.

— Ну, пошли…

Они шли рядом, почти касаясь друг друга, молча и совсем не торопливо. Потом он чуть наклонил голову направо и смотрел влево наискосок, как она идёт, придвинул ей левый локоть. Лидочка спокойно положила кисть на его руку. Шли степенно, как муж и жена после отбурливших пятнадцати лет.

Когда за ними захлопнулась входная дверь, Николай Петрович повесил куртки на вешалку и пошёл на кухню, Лидочка за ним. Она молча смотрела, как он вытаскивает что-то из холодильника, зажигает газ, в сковороде шкворчит. Помидоры, огурец, зелёный лук — порезаны по-мужски. Правда, не очень крупно. Из настенного шкафчика на стол поставлены два высоких тонких стакана. Из холодильника – пара бутылок пива. В тарелках хорошо поджаренные брикетики из замороженных полуфабрикатов, зелёный салат, в бокалах — пиво, аккуратно налитое по стеночке, без большой пены.

— Ну, ешь! — и они молча сдвинули бокалы.

Когда опустели тарелки, и ещё по две бутылки пива, они тихонько начали говорить. Нет, ничего глобального и сугубо интимного они не рассказывали. Не исповедовались, не жаловались на неудачи, не хвастались чем-то особенным. Про погоду и Питерский транспорт. Про луну, которая вчера выглядывала из-за туч. Про сбитую набойку на каблуке и глупый ответ Николая Петровича на замечание дворничихи и ещё, и ещё, и ещё. Когда они вдоволь наговорились и намолчались, оказалось, что в комнате уже темно, а стрелки часов забежали за полночь.

Глаза у Лидочки потяжелели. И когда она отрицательно помотала головой на предложенный последний бокал и почти не открывала глаза, он сказал: «Ну, ложись спать, в спальне. Там бельё чистое. А я здесь, на диванчике». И она послушно, как маленькая девочка, отправилась спать, на прощанье ласково проведя тонкими пальцами по его недрогнувшей руке. Дверь в спальню прикрылась, а он долго сидел у окна и глядел абсолютно трезвыми глазами на пустынную улицу.

**Утро**

Размеренно тикали часы. За окном негромко, но различимо высвистывала какая-то птица. Иногда проезжал автомобиль. Открывать глаза не хотелось. Совсем не тянуло вставать и делать что-то. Потом вдруг вспомнил, что в спальне спит Лидочка. Сразу открыл глаза и ещё полусонно скосил их на дверь. Она оказалась приоткрытой. Приподнялся на локте и заглянул получше. В щель было видно, что кровать заправлена. Затаил дыхание и прислушался. Маятник часов бил по барабанным перепонкам. Больше звуков не было. Сонливость исчезла. Рывком сел на диван. Натянул джинсы, и рубашку. Мягкой энергичной походкой, босиком, прошёлся к спальне и открыл дверь. Затем заглянул на кухню. Нет, никого не было. Постоял некоторое время, а потом безразлично и расслабленно пошёл в ванну. После

пользования, смыл водой унитаз. Душ принимать не стал. Бриться тоже. Кое-как умылся и только тщательно чистил зубы. Потом долго рассматривал своё лицо в зеркале. Хмыкнул. Выключил подсветку и вышел из ванны. Когда щёлкнул выключателем, немного постоял, не зная куда идти. Зашёл в комнату к дивану, аккуратно свернул и убрал плед в тумбочку, а крохотную подушечку с бахромой по краям переложил от изголовья к другой боковине. Надел носки и сел. Он совершенно не представлял, что же делать дальше. Глаза тупо смотрели в пол.

В замочной скважине повернулся ключ и входная дверь открылась. Лидочка, с пластиковым пакетом в руке, сразу посмотрела, где Николай Петрович. Тот внимательно, чуть приоткрыв рот, рассматривал, как она снимает куртку и проходит на кухню. Двинулся следом. Сел на табурет и разглядывал, как Лидочка выгружает пакеты из сумки в холодильник, достаёт ковшик, подливает из сосуда с фильтром воду, добавляет сливки, ставит на газ, помешивая ложкой, насыпает аккуратно что-то из пакетиков.

— А это что?

— Овсянка.

— А я тебе кофе потом сделаю, хорошо?

Лида уже съела ту крохотулю, что капнула ложкой себе в тарелку, а Николай Петрович ещё выгребал из ковшика горячую добавку овсянки с яблоками и подкладывал сверху быстро тающее сливочное масло. Ел, нагружая ложку кашей с краёв тарелки к быстро уменьшающейся серединке. А потом заметил, что Лидочка смотрит, как он ест. И в этом взгляде было столько нежности, что он почему-то почти дрогнувшим голосом произнёс: «А я подумал, что ты ушла».

— У тебя в холодильнике пусто. Нет, Коля, я уйду только, если ты меня прогонишь.

### Олимпийские флаги

С идеей увидеть Олимпийскую регату было покончено сразу, как только попали на пляж. Ну, да! Вот оно! Разноцветные паруса в заливе с названиями классов яхт, горящий олимпийский огонь перед парусным центром, смотровая трибуна, гостиница для олимпийцев, медленно проплывающие по реке к выходу в море белоснежные корпуса, кажущихся невесомыми, лодок, спокойные и уверенные яхтсмены на борту и усеянный многими тысячами людей пляж под тёплым солнцем. А люди купаются, загорают, играют в волейбол, запускают по дуге вертящийся пластмассовый диск, то и дело падающий на песок пляжа или в лёгкую волну, а не в руку ловкого или не очень партнёра. Мужчины глядят на загорелые тела молодых девушек, кто с завистью, кто с надеждой. А женщины — на стройных мужчин. Женщины постарше иногда с досадой сравнивают их с теми, кто достался. Или, что значительно реже, незаметно, но гордо показывают всем своим видом — а мой-то лучше! Дети катаются на качелях, лазают по деревянным лесенкам, брызгаются водой, строят из мокрого песка башни, роют колодцы и протоки, засыпают друг друга горячими пригоршнями песчинок, едят мороженое, пьют лимонад. И все они, взрослые и дети, смотрят периодически в море на непонятно перемещающиеся яхты и говорят или думают: «Красота!» А что там происходит в море, понять абсолютно невозможно. А всё равно — над всем городом и заливом царит главное — Олимпиада! У нас — Олимпиада!

Когда долго лежишь на солнце, даже под закрытые веки пробираются радужные яркие круги от солнечных лучей. Всё тело лениво расслабляется на тёплом песке, но что-то слегка щекочет пальцы ног, а потом начинаешь дёргать носом, хочется чихнуть. Ага! Это Оленька сорвала травинку, и старательно сначала водит ею по папиной ступне, а потом пытается засунуть в ноздрю. Значит, пора идти с ней к воде, смотреть, как обвалился вырытый колодец и делать новый. А потом долго идти по воде поближе к буйкам, брать дочку за руки и погружаться с головой на корточках в воду. Она карабкается на твои плечи, встаёт на них, держась за папины волосы и ухо, а потом ты резко встаёшь, выпрыгивая из-под воды, а она с визгом летит по дуге в воду, выныривает и кричит: «Папа! Ещё!»

Мама не заходит так далеко потому, что боится воды и не умеет плавать. Но довольная брызгается на дочку и мужа поближе к берегу. А они на неё и друг на друга, а потом снова лежат на горячем песке. Олимпиада!

Уже съедено всё: куски варёной курицы, яйца вкрутую, помидоры, огурец, московские булочки, пончики, давно впитавшие посыпанную сахарную пудру, выпит «Байкал» и «Келлуке». Солнце старается нырнуть в море между двумя островами. Один подальше, а другой совсем рядом. Надо как-нибудь съездить туда. Говорят, там красиво и очень чистый пляж.

Оленька тянет последний раз купнуться, побрызгаться тёплой водой и — в кабинку, переодеваться. Очереди уже почти нет. Со второго этажа приземистого корпуса гремит музыка. В ресторане свадьба. У автобусной остановки не пробиться, народ штурмует подошедшую «восьмёрку».

Пешочком через мост, мимо Олимпийского центра с развевающимися флагами. Вдоль залива и вновь построенной дороги, отвоёванной у моря.

Оленька уже не бегает вокруг вприпрыжку и пару раз спросила, далеко ли до следующей остановки. Маша молча смотрит на красный диск почти утонувшего солнца и легко держится за Колину ладонь.

Из-за поворота сверху показался полупустой автобус. Десятка три подошедших с пляжа тихо втискиваются и едут молча. Завтра на работу.

Перед тем, как сон окончательно одолеет, в слипающихся глазах промелькнёт пляж, дочка на качелях, красивая фигура Маши и её счастливое лицо, шамкающая челюсть Генсека на экране телевизора, с трудом произносящего формулу открытия Олимпиады, поредевшие национальные флаги над аренами, Олимпийский гимн в честь победителей, вместо гимнов стран и непонятное сочетание — ограниченный контингент.

### Что-то происходит не так

Сначала всё было абсолютно ясно. Американцы всюду суют свой нос. Ну, чего они не дают афганцам спокойно самим всё решать в своей стране? Естественно, пришлось ввести пару подразделений, чтобы своим присутствием показать – ребята, не лезьте! Дайте им самим разобраться! Хорошего, конечно, в этом мало. Местные постреливают друг в друга, могут и в наших ненароком попасть. Короче, настроение было от первых сообщений не очень, зато было хоть что-то понятно.

Когда по людской цепочке до Коли дошли первые слухи, шепотом, о цинковых гробах, он не очень ещё понял, что произошло. Ну, случайности, бывает. Потом заговорили громко. Самолеты, напичканные грузом двести. Коля почему-то сразу вспомнил Слет Молодых Строителей Коммунизма лет восемь — десять назад. Ну, конечно, можно это было назвать слётом, тем более, молодых. Собралась молодёжь с полутора десятков заводов отрасли,

раскиданных по стране, в белорусском городе. Совсем небольшая говорильня, с выносом знамён, концерт, а потом…

Коля никогда раньше не представлял, что способен несколько дней подряд, в перерывах между экскурсиями по Минску, заводу, на Курган Славы, выпить такое количество водки. Парни и девушки еще и свиданились, но Колю эта сторона слёта не интересовала. Он недавно женился и был влюблён в свою жену.

И вот, на одной из слётовских посиделок, его заинтересовал местный парень, кажется, его звали Илья. Он сильно прихрамывал. Коля оказался с ним в комнате гостиницы, где их поселили, человек по шесть в номере. Компания была совсем небольшая, трое ребят и пришли в гости две девчонки. Обычно Коля не задавал бестактных вопросов, а тут, будто его кто-то за язык потянул. Он и спросил Илью, где мол, сломал? «А я не сломал, — ответил тот, — ранили в Чехословакии». И остолбенелый, мгновенно протрезвевший Коля, услышал, как отслуживших давно на гражданке солдат призывают на обыкновенные военные сборы, где должны читать курс лекций, сажают в самолёты, выдают боекомплект и на броне танков они утюжат улицы чешских городов и в лицо им от таких же молодых чехов летит: «Русские оккупанты!»

Н-да! Не зря, наверное, вспомнил. Уж больно не нравится, когда не понимаешь смысла того, что происходит. Вернее, всё более ясно проступающий смысл бессмысленной авантюры «Афган», выворачивает наизнанку, тем более что ты сам за это тоже отвечаешь. В кармане лежит членский билет партии, руководители которой всё и заварили. Было бы, может, довольно всё равно, если бы вступал ради карьеры – так ведь по убеждению: «Ум, честь и совесть».

Что-то происходит не так.

**Продолжение жизни**

Сперва Лидочка не очень активно сопротивлялась. Нет, нет! Она никуда тогда не ушла из его дома в их первый день. Ухаживала за ним, как за маленьким, будто не он старше её на двадцать с лишним, а это она его, по крайней мере, на десяток лет. После завтрака повела Николая Петровича к морю. Они шли по тихим улочкам с неухоженными деревянными домами, мимо старых клёнов и лип, по длинной-длинной круговой аллее парка мимо неказистого дома Российского Императора. По каменным треснутым ступеням спустились к небольшому пруду с островком посередине. Перепрыгнули узкий ручеёк рядом с обвалившимся мостиком. Долго смотрели на уток, деловито перемещающихся по зелёной мути, то и дело выщипывающих что-то под водой и тогда над поверхностью торчат только весьма упитанные гузки. Пересекли наискосок не очень напряжённую магистраль и спустились к воде. На узкой песчаной полоске, между высокой бетонной облицовкой набережной и едва заметной волной, лежали полузасыпанные песком обломки деревянных брусьев, автомобильная шина, аккуратно собранные прибоем, кучки водорослей с кислым запахом гнили. Вдалеке по пустынному пляжу большой красивый пёс неистово гонялся за чайками, а они только перелетали с места на место. Их обдувал прохладный ветер, а солнца не было видно из-за низких сплошных туч.

Потом, немного замёрзнув и проголодавшись, они пили горячий кофе в подвальчике дома из серого плитняка. Из десятка столиков только пару было занято. Он рассказывал о малышке и Наташе, а она о своей жизни в Питере. По дороге домой они заскочили в магазин, но алкоголя не брали.

Сидели рядом на диване и слушали музыку. Потом она застелила постель и сказала, что скоро придёт. Он спокойно лежал и ждал, совсем недолго. Их первая близость была такой, будто они блуждали где-то целую вечность, а теперь вернулись домой, в своё родное.

Утром им сложно было подняться. Он был силён и молод, а она напрочь забыла своё вчерашнее старшинство. Пока Лидочка принимала душ, Николай Петрович колдовал на кухне, а потом принёс ароматный пенящийся напиток, и они сдвинули чашки, как бокалы. Она первая сказала: «За нас!» А он, твёрдо и серьёзно глядя ей в глаза, произнёс: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Этого она никак не ожидала. Вернее, этого она ждала долго и страстно, но никак не думала, что это произойдёт сейчас. «Ты этого хочешь?» — тихо спросила она. Её верхняя губа чуть заметно дрожала. А он тихо и твёрдо ответил: «Да».

Вот тут всё и началось. Они договаривались о дне регистрации. Навещали вдвоём Ленуську в новом доме, куда переселились Наташа с Алексеем. То есть, это был достаточно старый дом, но новый для молодой семьи. Николай Петрович и Лидочка всё делали вдвоём, им было очень трудно оторваться друг от друга даже на время работы и необходимых дел, но вопрос когда и места оформления их отношений Лидочка не то, чтобы избегала, но очень осторожно отодвигала. И он как-то прямо спросил: «А ты что, не хочешь?» И она неуверенными губами выдохнула чуть слышно: «Очень хочу. Но чтоб навсегда». «Глупенькая, — бережно произнёс он, — я ждал именно тебя. Я тебя люблю».

В крохотном зальчике местного ЗАГСа они были одни. Отказались от музыки, фотографа и распития шампанского. Были скромны и строги. Служащая ЗАГСа, читавшая им, что там положено, бравшая подписи и выдававшая свидетельство о браке, пару раз глянула весьма подозрительно, не оформляет ли она фиктивный брак.

А в церкви были: Нина с Виктором, Наташа с малышкой (у Алексея, к сожалению, были гастроли), и совершенно неожиданно Рита с Марти. Дочь прислала поздравления и цветы из Питера. Была ещё Лидочкина мама и всё. Николай Петрович совершенно не запомнил обряд, только то, что Лидочка вдруг на мгновение обмякла, и он твёрдо потом поддерживал её под локоть, чтобы не упала. А ещё был запах кадила, мягкий голос батюшки, свечи и нежные губы Лидочки.

**Отец**

Отца долго не было. Коля этого не очень и заметил, он старательно делал уроки на завтра. Быстро не получалось. Тряпичный ёжик для очистки перьев от ворсинок, всё время оказывавшихся в щёлочке между половинками тонкого металлического пера, весь заляпался чернилами. Никак не получалось написать на разлинованных в косую полоску листах тетради буквы с одинаковым наклоном и нажимом. А от ворсинок на бумаге местами оставался толстый некрасивый след. Промокашкой его не уберёшь. Можно только, осторожно накладывая её краешек на каплю чернил, всё-таки не дать кляксе размазаться по странице.

— Коля! – зовёт мать, — Сбегай, посмотри, если папа в «Голубом Дунае», пусть идёт домой.

Почему это «Голубой Дунай», никто не знал. Вывеска над входной дверью на местном языке ясно говорила – «Столовая». Там и вправду были столы. Штук пятнадцать, или двадцать, Коля не считал. Почти за каждым столиком

сидели мужики, по трое или по четверо. Их можно было всё-таки разглядеть за густым табачным дымом. Рыбаков в брезентовых куртках и высоких резиновых сапогах. Они притопали после выхода в море на своих моторках для установки и осмотра сетей. Рабочие с соседнего заводика и из пекарни. Сверхсрочники и офицеры в распахнутых шинелях. Столы густо заставлены пустыми, ополовиненными и иногда полными стеклянными пол-литровыми кружками с пивом. И что-то там в небольших тарелках. Все говорят, размахивают руками, спорят, обнимаются. То есть, весело. Но Коле не очень интересно. Он тащит отца за шинель, а тот что-то договаривает приятелям, и говорит Коле: «Ну, сейчас, сейчас, скоро пойдём…»

И правда, берёт своей огромной тёплой ладонью сына за руку, так ласково, бережно, и они идут.

— Тусик, я тебе пиво принёс, — сообщает он громко и радостно жене, но маме почему-то это не понравилось, и протянутая бутылка с пивом летит по дуге, с треском разбивается о потолок, брызгами ароматной жидкости и осколков застилая пол.

Коля лежит на своей кровати с панцирной сеткой, уютно укрывшись одеялом с головой, выставив наружу только нос, чтобы дышать, а за стеной в родительской спальне один голос вроде чего-то оправдывается, а другой, словно, наступает или всхлипывает, а потом голоса смолкли и будто кто-то непонятно дышит.

**Про разведчиков**

Сегодня снова горит фитиль керосиновой лампы. Электричество выключили ещё вчера. Вот когда через пару лет построят электростанцию в большом городе, наверно больше выключать не будут. Огонь горит неровно, лампа коптит, это потому, что только папа умеет правильно подрезать ножницами обгоревшую кромку. Тогда горит ровно и красиво. И ещё папа умеет хорошо ставить стеклянную колбу, направляя её низ внутрь рогулек вокруг фитиля. Если не ставишь колбу ровно, её краешек трескается и кусочки стекла вываливаются, а новая колба не всегда есть в магазине.

В печке уже сильно разгорелись деревянные рейки. Их надо две хорошие охапки. Папа показывал, как надо держать рейку левой рукой, направляя место переруба на колоде, а топор в правой руке желательно держать подальше за топорище от кованого тела. Так удар сильнее. И рубить не поперёк, а наискосок. А уголь придётся побрызгать водой, слишком много в нём пыли. Красиво горит огонь в печке! Сначала совсем не видно пламени на углях, а потом пошло, пошло, пошло. В печке аж гудит. Когда прогорит и синих огоньков не будет, можно закрывать трубу.

А мама всё ещё вышивает ковёр. Рисунок из местного довоенного журнала с квадратиками, ромбиками, полосками. Когда сам попробовал несколько крестиков на большой холстине, оказалось, что старался долго и много, а крестиков на ковре получилось совсем мало. Как у мамы терпения хватает?

А папа сегодня на ночном дежурстве. Он разрешил завтра придти в часть, будут крутить кино про подвиг разведчика. Это там, где: «У вас продаётся славянский шкаф?» А тот, оглядываясь по сторонам, отвечает, что, мол, продан. У, гад! Всё равно его наш застрелит из пистолета за предательство.

Раньше дежурные пропускали только детей офицеров и сверхсрочников. Идёшь, говоришь там, что сын капитана такого-то, или старшины и — пожалуйста. А теперь всех мальчишек и девчонок, местных тоже, не только русских. Жалко, что ли?

А когда часть картины заканчивается звёздочкой на экране и какими-то непонятными значками, с полминуты все спокойно ждут, пока киномеханик заправит следующую часть в аппарат. А уж если замешкается, тут и ногами топать солдаты начинают и свистеть, кричать: «На мыло». Что это такое, совсем не понятно, зато шумно и весело.

Но кино — это завтра. А сейчас уже пора плотно закрывать дверцу печки и трубу. Уже можно. И спать. Завтра — первый урок русский. Обещали диктант. Снова будет двойка? Ну, почему так? Четыре — пять, четыре — пять, а потом двойка!

Сейчас лечь в кровать надо очень тихонько и прислушаться. Прошлой ночью был какой-то подозрительный шорох за стенкой на крыше. И стук. Часто-часто, а потом медленно. Неужели это морзянка? Сидит на крыше шпион и передаёт рацией секретные сведения. Завтра с ребятами надо будет после уроков сбегать и проверить следы.

А спать уже охота.

**Звоночек**

Солдаты шагать совершенно не умеют. Это только на кинохронике с парада на Красной площади идут в ногу, одинаково вытягивая носочки, и вся «коробка» одновременно чуть приподнимается, а потом опускается и раздаётся ровный стук подошв о брусчатку.

Из нашей части, да и из соседних тоже, на параде 7 ноября солдаты шмякают каблуками по асфальту главной улицы города вразнобой. И ни одной стройной шеренги разглядеть не удаётся. Чем они только занимаются?

А когда в баню шагают, один смех, да и только. Никто в ногу не идёт, шеренги загибаются, будто их кто-то, как длинную сосиску, вертит с одной стороны, а другая болтается совершенно непонятно как. А ещё и вафельные полотенца со сменным бельём подмышками создают совсем не боевой вид. Вот только что поют громко: «Несокрушимая, и легендарная, в боях познавшая ра-а-дость побед...», или там: «Калина, раз, два, три, малина, — какая-то там дивчина, не разобрать, — в саду ягоду рвала!» И кто-то начинает свистеть. Папа тоже так может, а у меня не получается.

Когда мы только приехали в этот город с острова, нам сразу дали в КЭЧи металлические койки и тумбочки, точно такие, как у солдат, а ещё шкаф. У солдат таких нет. Мама что-то там развешивает на вешалки и кладёт на полочки. А мне ничего не надо. У меня есть: портфель, пенал, тетради и учебники, ботинки и валенки с галошами, чернильница-невыливайка, сменная обувь — ходить по школьным коридорам по кругу парами с девчонками. А я так очень не люблю. Ещё не люблю, как нас учат — если встречаешь учителя или директора, надо приподнимать шапку или кепку и голову наклонять. Нетушки! Я, если кого увижу, так сразу дорогу перехожу и гляжу в другую сторону.

Николай Петрович вроде и не спал, только прикрыл глаза, а худой мальчишка, у которого он видел только руки, ноги, часть груди с выпирающими рёбрами и кончик носа, что-то продолжал рассказывать. Уже невнятно, только голос всё звенел и почему-то щипало глаза.

Николай Петрович ощущал странную тяжесть всего тела. Ему понадобилось приложить усилие, чтобы открыть веки. На светло голубой табуретке около кровати в ногах сидел юноша, и настороженно глядел на него.

— Ну, ты, дед, и даёшь! Чего разлёгся? К тебе внук на каникулы приехал, а ты сюда сбежал.

— Миш, я сейчас..., — еле разомкнул сухие растрескавшиеся губы.

— Лежи, лежи, не дёргайся. Врач сказал, ничего страшного. Пару дней надо отлежаться. И кто знал, что эту дрянь тебе нельзя? Ничего, теперь всё будет хорошо.

Николай Петрович совсем немного повернул голову, увидел трубку от капельницы, прибинтованную к сгибу левого локтя, и снова закрыл глаза.

**История одного подаяния**

Николай Петрович и Виктор замолчали и тут вдруг заговорил их сосед по купе, внимательно прислушивавшийся к ним, но до того не произнесший ни слова, кроме «Добрый вечер» вчера и «С добрым утром» сегодня.

— Вот вы тут о подаяниях говорили... Конечно, вы правы, и не зря поговорку вспомнили, что от сумы, да от тюрьмы...

А мне почему-то вспомнилось сначала совсем другое.

Это уж точно после тридцати пяти, а сорока ещё не было. Послали меня на завод в город Владимир. Это сейчас мы границу пересекаем: документы, визы, досмотр таможенный, смена часового пояса с долгой остановкой, а тогда просто — до Ленинградского вокзала за четырнадцать часов, а потом уже нюансы. На электричке-то колыхаться и колыхаться — а от столба посередине площади у Курского вокзала ходит такси. Хоть объявлений никаких нет, но народ собирается. Подходит такси, примчавшее кого-то в столицу, и шофёр набирает четвёрку в обратный рейс, чтобы полная загрузка была.

Я впервые у этого столба, по подробному разъяснению шефа, ждём четвёртого, такси невдалеке стоит, внимания не привлекает. Новичок есть новичок, это же сразу видно. И подходит ко мне цыганка молодая. Что-то начинает мне показывать, жестикулирует, говорит быстро, ласково и напористо, а потом за руку берёт и ведёт. Только я несколько шагов сделал, кто-то меня за правую руку, цап! Женщина в возрасте моей мамы, красивая такая дама, дородная, с нами на такси стояла: «Ты куда это идёшь?» — меня спрашивает. А цыганке: «Ну-ка, пошла отсюда!» Та и спорить не стала, ушла по-быстрому. А меня потом эта дама ругать: «Ты что, маленький? Не понимаешь, что заведёт и оберёт?» Ну, и ещё много чего. Вот точно, как мама. Видно, своего сына вспомнила. Много чего потом мне по дороге рассказывала, я уж не помню…

Так и не познакомились мы с ней, глупым был, это я сейчас знаю, что хороших людей терять нельзя, держаться надо за них крепко!

Не знаю, почему и вспомнил эту историю, я ведь совсем другую хотел рассказать. Хотя, наверное, знаю. Да вы и сами поймёте.

А случилась она, вторая история, через пару лет после первой. Я уж кое-чего повидал. Летел я домой из Шереметьева. Приехал туда на автобусе задолго, болтаться по городу надоело, да и не люблю я Москву. Замотанный, пища командировочная опротивела, хорошо ещё на втором этаже в зальчике ожидания места свободные оказались. А аэропорт хоть ещё и чистый был, но преддверие конца, ещё людьми не осознанное, создавало и там эту атмосферу мутности, в которой развелось всякого: лотки грязные, напёрсточники, профессиональные калеки. Да что вам рассказывать, и так знаете.

Сижу я спокойно, баул стандартный у ног, расслабился, только что не дремлю. До регистрации осталось недолго. Тут и появляется эта невысокая женщина, неплохо одетая, а в руке уже не помню, вроде коробка какая

небольшая. Стулья в зальчике стоят каре, лицом к центру, а в середине — пусто. И подходит она к каждому молча, и устремляет прямо в глаза свой жёсткий и требовательный взор. Кто суетливо, а кто стыдливо, деньги достаёт и в коробку кидает торопливо, чтоб побыстрее ушла. А та идёт к следующему — дань собирает. И вид у неё вполне приличный, не оборвыш, трезвая, не пахнет дурно, а только идёт от неё некая жёсткая команда безмолвная и властная. И нехорошая эта власть, чёрная. Ни слова никому не сказала и ей никто. Так и двигается из дальнего угла и ко мне потихоньку приближается. А я сижу и жду, глаз с неё не спускаю.

Никого она не пропустила, никто не встал и не ушёл, как загипнотизированные сидят. Вот и до меня дошла. Остановилась в паре шагов от меня, в глаза мои посмотрела и впервые что-то выговорила:

«А ты мне не дашь»

«Не дам», — отвечаю.

«Так ты сдохнешь, или в семье твоей кто-то сдохнет, или заболеет смертельно», — выкрикнула.

А я ей спокойно отвечаю: «Пошла вон!» А сам думаю: «Ведь это она серьёзно. Всё на себя возьму, никто не заболеет, выдюжу!»

Глянул через секунду, а её будто и не было никогда. И чуял я, что кто-то её ведёт, помогает ей, или от непокорных оберегает, но нет, ничего, никто не подошёл, ничего не сделал, и регистрация началась вскоре.

Вы уж меня поймите, у меня дед был — инвалид войны без обеих ног. Я его никогда без дела не видел. И не пил он. Ну, не могу я на них смотреть. Да если бы ещё калеки!..

Нет, я иногда и подаю, кто ж разберёт. Может даже, человек и здоров, но в отчаянии. Бывает.

О! Мы уже и приехали. Пора собираться.

Поезд плавно подошёл к платформе, встал. Высокий седой мужчина попрощался, слегка прихрамывая, пошёл к выходу, махнул рукой на прощанье и пошагал в город.

**Больница**

Глаза открылись легко. Всё тело гудело, но тяжесть уже ушла. Николай Петрович чуть подтянулся на локтях и приподнялся на подушке. Лида стояла у койки соседа и что-то доставала тому из тумбочки. Передала, сказала несколько слов и резко обернулась, встретившись с Николаем глазами. Голова шумела, но он уже, хоть и слабо, смог улыбнуться, и сразу подумал: «Ну, вот, выкарабкался!»

Лидочка села на край кровати, и положила руку на его голову, гладила по слипшимся волосам.

— Вот дурак же я, — сказал Николай Петрович, — как чувствовал, что нельзя мне эти таблетки.

Он уже вспомнил, как тяжело переносил неизвестно откуда взявшийся вирус, температура измучила, начало что-то покалывать, Лида вызвала скорую, и врач, не найдя ничего серьёзного, дала ему пилюлю. Так, на всякий случай. А через тридцать секунд бригада забегала, мигом промчала с носилками по лестнице и под вой сирены доставила его, уходящего, в реанимацию.

— А когда Мишка то приехал из Питера? Или мне приснилось?

— А я его прогнала. Он с девчонками пошёл. Они ему город покажут, а он обещал их мороженым в кафе покормить, а ещё у памятника в парке

концерт. Лена с Дашей так к прогулке готовились, я специально не смотрела, чтобы не смущать, а тот — король! Взрослый.

— Счастливый я отец. И дед счастливый. Нет! Долго вылеживаться не буду. А то ты ещё молодого найдёшь!

— Будешь ворчать — найду. Как ты меня напугал!

— Ладно, Лид. Иди домой, ребята голодные придут, а у меня уже всё в порядке. Видишь, и капельницу сняли, и утку убрали. Рано меня списывать.

— Коль, а может я и правда, пойду? Я что-то успокоилась.

Николай Петрович взял жену за руку, поцеловал пальцы и тихонько подтолкнул — иди мол.

Когда Лида ушла, немного полежал спокойно, внимательно прислушиваясь к себе. Потом, обнаружив, что лежит обнажённым, медленно натянул лежащий рядом халат и сел, спустив ноги на пол, нащупывая ступнями тапки. Тело было ещё наполовину чужое. Вошедшая в палату сестра спросила: «Помочь?» Николай Петрович отрицательно помотал головой, подождал, пока та выйдет и осторожно встал. Вспомнил. Точно также встал почти полвека назад, когда провалялся с двухсторонним крупозным и его кололи пенициллином каждые четыре часа. Будто заново учился ходить.

Да, нет! Можно дойти спокойно. Зашёл в душ и долго смывал под тёплой водой пот, усталость, слабость. Подальше и уверенно отодвигался от края. Рано. Не только думал, но и твёрдо знал, что ещё многое сможет.

**Между строк**

Странная штука — машина времени. Наверно, я где-то очень ошибся в расчётах. Порезанные на кусочки синусоиды сложил не с теми календулами, или терцию заклинило в червячной паре и от этого она никак не выберется на поверхность. Пытаюсь настроить рукоятки на нужное мне время и место, а машина ведёт себя, как капризный ребёнок, будто не я её изобрёл, а это она построила меня. Я хватаюсь руками за пролетающие мимо годы и рулю к знакомым или незнакомым мне героям, а она тычет меня носом в эпизоды и дни, которые так удобно забыть или никогда не познать в будущем.

Машина, зачем ты мучаешь меня тем, что невозможно вернуть? Зачем ты показываешь мне, как не сбывается? Или, может быть, права ты, а не я? И то, что мы искренно хотим, только наши представления о наших желаниях, а подлинное сбывается всегда? И наше придуманное бьёт нас наотмашь не теми спутниками рядом, совершенно ненужной комбинацией полированных досок, ломящейся от годами не пользуемого фантома престижа в огромной пустоте места, которое лишь по привычке зовём забывшим уют словом «дом».

А подлинное даёт тепло. И не надо загадывать ему название или звать. Оно может быть крохотным или огромным. Для каждого — другим. Или есть, или нет.

Может я тебя так случайно настроил, машина, что ты тащишь меня по этим кочкам, чтобы отбить охоту лгать? Давай, давай! Я устал бороться с тобой. Я не слечу с твоего седла. Я седок не очень уклюжий, но постараюсь удержаться до конца.

**Эпизодик**

Скрипит цепь, дребезжат отбойники, а велосипеды несутся по пыльной тропинке к реке. Кораблик из деревяшки, с прилепленной на неё глиной капитанской рубкой и пушечкой на корме, отталкивается от берега, и меткие

стрелки гладкими камешками сбивают надстройки, радуются победе. А потом ветер закидывает кончики пионерских галстуков на плечо и в рот, гордо подняты в салюте руки, горнят трубы, сбивается ритм барабанов в неумелых руках, щекочет лицо пионерское знамя, кусочек знамени Родины, и ты ощущаешь себя частью этой огромной страны.

И кажется, что это было сразу потом — на высохшей после дождя земле пишется Коля плюс Света равняется и рядом совсем неприличные слова и картинки. Художник отталкивается, изображение стирается здесь и сразу рисуется чуть поодаль. А после пыхтений, толканий и окончательного стирания, рисуются классики или крутится длинная верёвка вместо скакалки. И прыгают, бегают, пишут, смеются, иногда плачут, когда кому-то попадает камешком по затылку, а потом снова бегут. И не надо ничего никому объяснять, доказывать, изображать, лгать.

Забытый добрый мир, про который взрослые говорили: счастливое детство. А им так и не было понятно самим, а что же здесь такого счастливого?

Десятки чужих колючих глаз смотрят на него в упор со всех школьных парт. Слова хлещут бессмысленной жестокостью, и лишь одна молоденькая учительница, наивно защищая, пытается им что-то объяснить.

Николай Петрович усмехнулся. И чего это он вдруг вспомнил? Напрягал память, но так и не смог припомнить, ни лиц, ни имён обидчиков. Лишь только себя за партой в пустом классе, а поодаль у окна какую-то девчонку. Но её потом не тронут — она своя. Ну, не сбежала со всеми. А он — чужой, новичок из другого города, значит предатель.

Бессмысленно оправдываться от нелепых обвинений, доказывать, что он совсем другой, бессмысленно вообще что-то говорить.

Слёзы обиды катятся градом, а в сердце стучит — терпеть и молчать! Доказывать придётся по-другому.

Николай Петрович улыбался — ведь назавтра утром подошли двое мальчишек и что-то спросили, потом вместе куда-то пошли. Они ничего не объясняли друг другу, но волна отчуждения вдруг разорвалась. Контакт? Есть контакт? Может быть, уже есть.

Да, кажется, именно тогда он что-то впервые понял и решил на всю жизнь.

### Бег

Надо обязательно успеть! Ноги стремительно несут через две и даже три ступеньки вверх. Теперь по коридору до боковой двери, вниз два пролёта, потом снова по длинному коридору третьего этажа до аудитории амфитеатром. Вот тут, в столе четвёртого ряда справа лежат книжки и какой-то свёрток, и быстро, быстро вниз, для чего подняться на полтора этажа, налево и: «Осторожно, двери закрываются, следующая остановка...»

Дома, дома, обыкновенные пятиэтажки или даже семиэтажки сталинской постройки с казёнными прямоугольными окнами и лепниной колосьев над фасадом. Вдоль и поперёк. Вдоль и поперёк.

Вдоль улицы дребезжит трамвай, а он бежит рядом и пытается постучать в дверь. Нет, двери закрыты. Вагоновожатый отдаёт под козырёк. Дежурный по станции в фуражке с красным околышком поднимает фонарь и звонит в станционный колокольчик. В ответ стрелочник на выходе станции тоже подымает фонарь и держит в правой руке свёрнутый жёлтый флажок. Ветер в открытом окне вагона обдувает горячим воздухом волосы и кусочки сажи из паровозной трубы норовят попасть в глаза. «Чая нет. Ждите станции!»

Попутчики в купе едят варёные яйца, макая их в соль, сок помидоров течёт по подбородку, капает на майку. «Ну, скорее, скорее!»

Снова какая-то улица. Трамвай должен остановиться здесь, тогда только один квартал назад и подъезд. Там можно будет передохнуть в большой комнате огромной квартиры, перед входной дверью которой десятка полтора кнопок и надпись: «Петровым звонить три раза». Но трамвай проехал направо, не останавливаясь, превращаясь в курьерский поезд, и грохоча по шпалам, несётся по пролётам железнодорожного моста через Каховское море. «Почём шелковица?» «Два рубля ведро». «А абрикосы?»

Что же это так скрипит левый ботинок? Да, я совсем забыл, когда попадает вода, он сразу начинает скрипеть. Откуда здесь вода?

А водитель такси почему-то сидит справа, а за ним ещё один пассажир, дама средних лет. Смотрит на меня с участьем, мол, не волнуйся, боль правой щеке скоро утихнет. Вот приедешь к себе и примешь лекарство, правда оно не помогает ни от чего, но становится как-то спокойнее. Вот принял? Значит всё правильно. Значит хорошо. И опухоль ещё не видна наружу. Отчего же она так смотрит? Почему жалеет? Ведь я ей никто. И трое на заднем сидении кивают ей в такт и тоже сочувствуют. Но я их не знаю никого. А водитель вдруг глядит ясными глазами и поддакивает, мол, не волнуйся, что без денег, я, мол, твёрдо знаю, что ты обязательно заплатишь.

Николай Петрович поднял веки. В комнате было уже почти светло. Глаза шофёра из пролетевшего во сне такси были светлы и совсем не строги. На правой щеке отпечатались складки сбитой простыни. Никакой тревоги ожидания беды не осталось от безалаберного сна. Лишь только несколько глупых вопросов: «Откуда лечу и куда?» И хоть даже не возник обычный: «Зачем?» — но зато неумолимо встал на сегодня главный: «Так ли?»

### Школа

Ничего особенно интересного в школе для Коли не было. Как-то образовался свой небольшой круг приятелей после той жёсткой встряски, которую они потом не вспоминали никогда. Чего там вспоминать? Глупый побег, глупые обвинения — пустяк. Просто чего-то делали вместе, что было интересно. Собирали металлолом. За сортировочной станцией нашли груду железок и здоровую чугунную головку артиллерийского снаряда. Когда сбросили её с грузовика на пункте сбора металла, тамошние рабочие бросились в рассыпную, а трое приятелей недоумённо переглядывались. Чего бояться? Пустая чугунная болванка! Потом добавили немного денег и всем классом в Питер. Уже совсем забыл, где же они были тогда. Помнил только, что ночевали не у родных-знакомых, а все вместе в спортзале какой-то школы, на матрацах в спальных мешках. А ехали в Питер и обратно в плацкартном вагоне ночного поезда. Полки вдоль и поперёк в два яруса, какие-то бегания и разговоры, чай в тонких стаканах с подстаканниками на подпрыгивающих откидных столиках, мелькающие огоньки за тёмными стёклами, ощущение взрослости и какого-то единства.

Когда отцу дали квартиру, пришлось решать, переходить в другую школу или нет. Тут уж Коля наотрез отказался, хватит с него тяжёлого вхождения в коллектив. Да и для зарядки полезно — через весь город пешочком, мимо Ратуши и памятника какому-то вождю в Привокзальном парке. Девчонок совсем не сторонился. Ходил к ним в гости, делали вместе иногда уроки, что-то, что давно забыл, обсуждали и спорили, а свиданок, как у других ребят, у него не было ни с кем. Не возникало ни мыслей, ни желаний. Вот только в девятом классе как-то случайно коснулся коленкой коленки

соседки по парте, и два колена долго и сильно грели друг друга. А потом разбежались на перемене, и больше это не повторилось.

Классные и школьные комсомольские собрания совершенно не запомнились. Как-то это было так, что и вспоминать особо нечего, ни плохого, ни хорошего. Вот только раз довелось ему делать доклад, уж не помнил, о чём и вроде бы к нему совершенно не готовился, а потом сам удивился, как плавно и логично текла его речь с трибуны перед залом, и ни грамма волнения, будто делал это много раз. И слова для него были совсем не чужие, что говорил о светлом будущем, желании учиться, а потом работать так, чтобы было всем хорошо. И если им замечательно уже сейчас, то как же здорово будет лет через двадцать. И пели хором про подмосковные вечера, московские окна и счастье взяться за руки парням всей земли.

**Маринка**

На третьем курсе произошло сразу много. На Седьмое Ноября поехал в город детства. Потом всё удивлялся, почему не ездил раньше? На автобусе — всего ничего. Вечером у товарища намечена гулянка, а с утра сидели у речки и говорили. Вспоминали, как ездили на великах за грибами, искали шитиков, бродя по колено в воде, уходили на самый конец дамбы, читая выбитые на гладких камнях даты постройки, и свежий морской ветер пробирал их до костей.

Лёнька решал проблему. Полтора года они ходили с Маринкой, прилепившись друг к другу. Она сама его тогда выбрала вместо крутящейся около неё стайки парней. А теперь Лёнька не знает, как отойти в сторонку. Уже не волнует его запах её волос и нежность кожи. И не хочет замечать устремлённых на него печальных глаз.

Коля внимательно слушал, стараясь не сбить доверительность рассказа случайным взглядом. Немного завидовал.

А вечером ему жаловалась Маринка. Пока другие играли во всякую ерунду, она отвела его в сторонку и долго рассказывала, как Лёнька почему-то перестал её замечать, а ещё про какую-то Марет, у которой длинные белокурые волосы, а ноги всё равно чуть кривые и совсем некрасивый рот. А потом вдруг придвинулась к Коле и сказала: «Поцелуй меня!» Колю ожгли тёплые губы и жаркое, на мгновенье прижавшееся к нему, девичье тело. А потом она весело смеялась, сверкала на него глазами и почти кричала: «Ты совсем не умеешь целоваться!»

Вкус этих губ, мгновенная девичья страсть и незнакомое до сих пор прикосновение кончиков пальцев к девичьим лопаткам — долго не давали ему покоя. Конечно, Маринка не отвечала на его письма. А Лёнька расстался с ней без особых переживаний, а потом и с Марет, и уехал в Ригу.

Лет через шесть-семь, когда Коля шёл по Ратушной площади, его вдруг окликнула красивая молодая женщина с ребёнком в коляске. Это оказалась Маринка. Они долго разговаривали о своих что, как, где. Смеялись. И Маринка вдруг спросила, научился ли он целоваться, на что Коля ответил: «Хочешь научить?» — и показал правую руку с обручальным кольцом. И лишь расставаясь, она вдруг погрустнела и негромко произнесла: «А я его до сих пор люблю». И когда пошла, ни разу не оглянулась. А Коля вспомнил тот вечер, неотвеченные письма и в сердце уже не кольнуло.

В тот же год на третьем курсе после зимней сессии и каникул к нему подошёл староста группы и спросил, не хочет ли он вступить в партию. Это было совсем неожиданно. Для Коли не было пустым звуком и чем-то чужим

те слова, что он слышал, будучи пионером. А комсомольцем и сам горячо говорил то, во что беззаветно верил. И все самые лучшие люди вокруг него, и его отец тоже — были партийными. А что он сделал до сих пор? Что он может сейчас? Чем доказал, что достоин? Тем, что учится без хвостов? Как-то не очень серьёзно. Так он и ответил своему товарищу: «Хочу. Не сейчас. Не готов».

**Вечер дружбы**

После начерталки, теории механизмов и машин, а особенно после сопромата, из шести поступивших с ними девчонок в группе осталось только две. Да и то, для Лизки всё делал Артём. Она только зубрила к экзаменам и подталкивала мужа, а тот пахал за двоих.

Ада была симпатичная и умная. Она сразу выделила Колю, наверно, за дружелюбие и постоянную готовность помочь. Несколько раз Коля заходил к ней домой, подсказывал что-то по мелочам, и они болтали обо всём. И тут при ближайшем рассмотрении он вдруг понял, почему её недолюбливает большинство однокурсников. Уж больно она была зациклена на чистоте крови, избранном народе и самом святом в мире государстве Израиль. Нет, у Коли не было ни капли еврейской крови, поэтому в качестве будущего спутника или даже временного сердечного друга он не котировался. А в доверенные товарищи попал. Но не мог же Коля из природной деликатности намекнуть Аде, что кичиться кровью вроде не стоит. Тем более, перед кем? Половина их группы — евреи.

И группа, включая Колю, вздохнула несколько свободнее, когда Ада скоропалительно вышла замуж, естественно, за стопроцентного, с таким же, как у неё настроем, и эмигрировала в Израиль. Но уехала она всё-таки уже на четвёртом курсе, а тот вечер случился после зимней сессии на третьем.

Девчачья группа из Педа, через общую преподавательницу по Политэкономии, очень захотела пообщаться с механиками. После намёков, а затем согласования места и времени (желания согласовывать не пришлось, и так всё ясно) общение состоялось в подвале. Нет, нет, ну, что вы!? Это был обыкновенный красный уголок, правда, без навязчивой наглядной агитации на стенах, какой-то проектной конторы. Впрочем, студентам это было совсем неважно.

Вино купили парни, какую-то закуску состряпали девчонки. Пару магнитофонных бобин с нормальными записями дал Артём. Правда, Лизка не пустила его на вечер дружбы механиков с педагогами, и всё закрутилось по нарастающей. Даже никто не перепил. Но после некоторого количества танцев, где контрольным был «белый», несколько пар не всё время танцевали, а начали куда-то исчезать. Коля не исчезал никуда. Вина он выпил, сколько хотелось, больше не прикладывался. Никто из девчонок его особенно не привлекал. К нарастающему возбуждению парней и ответному откровенному желанию девчонок поприжиматься отнёсся привычно спокойно. И как-то в один миг вечера остался в зальчике единственным из парней, да ещё заметил, что одна тёмненькая невысокая девчушка сидела одиноко в дальнем углу. Она выглядела довольно безучастной, и вдруг это чем-то его привлекло.

«А ты чего не танцуешь?» — спросил её, подойдя поближе и усаживаясь верхом на стул около. «А ты почему?» — ответила она вопросом, и посмотрела ему в глаза. «Интересно», — подумал он. Девчонка Коле положительно понравилась.

**Маша**

Они не стали дожидаться конца вечера. Хрипел магнитофон: «One, two, three, four, five, six, seven...,» — но в зальчике никого не было. Кто-то хихикал в конце коридора. Конечно, свет был выключен. Коля помнил, как он входил сюда, поэтому не щёлкнул выключателем, только левой рукой ощупывал стену, а правой держался за ручку Машиной сумочки. Маша, чтобы не отстать, правой рукой держалась за эту же длинную ручку, а левой ухватилась за хлястик Колиного пальто. Они чуть не наткнулись на парочку. В темноте Коля не узнал, кто это был, а Маша через пару дней сказала ему кто. Похоже, она даже заметила некоторые подробности, но почему-то не стала их рассказывать. А Колю это и не заинтересовало. Но это было уже потом.

А сейчас они шли по пустынной улице. Маша чуть впереди слева, а он в полутора шагах правее. Мимо протарахтел трамвай. Мокрый снег хлопьями падал и смешивался на тротуаре с уже растаявшим, образуя кашицу. Ветра почти не было, было очень тихо. Коля совсем не знал о чём надо говорить, поэтому молчал. Маша тоже. Коле до дому рукой подать, а Маше нужно ехать на автобусе. До остановки чуть пройти вперёд, а потом направо через трамвайные пути около заводского корпуса. Но они почему-то повернули налево. По краю большой круглой площади, потом в тихую улочку Нижнего города между двумя башнями, оставшимися от старинных ворот, мимо Ратушной площади по узкой улочке-лесенке вверх, открыли тяжёлую дверь, скрипевшую в ржавых петлях, ещё по улочкам, тихим, тёмным и узким и вышли на площадку над крепостной стеной. Внизу темнели деревья парка, блестел залитый водой лёд крепостного рва, переливался огнями железнодорожный вокзал. Подходили и уходили поздние электрички, на повороте вдали проехал трамвай, визжа сталью колёс по рельсам, невесомые снежинки, уже не такие мокрые, всё-таки падали вниз под светлое пятно от уличного фонаря.

Коле стало совсем неловко оттого, что он так и не сумел ничего рассказать интересного Маше. Он было открыл рот, чтобы что-то сказать, а Маша зачем-то приложила палец к своим губам, мол молчи. И он сразу перестал чего-то стесняться.

Они смотрели на падающий снег, немногих, как будто игрушечных, пассажиров, вышедших из крохотной электрички, на исчезающий в ночной тьме полуостров с заводами, трамваями, домами. А потом заспешили на Машин автобус, последний. Держались за руки, разбегались и скользили по ледяным полоскам вдоль тротуаров, немного покидались снежками. И уже усаживая Машу в автобус, успели крикнуть друг дружке: «Завтра в шесть на Утюге».

Коля шёл, улыбаясь, домой, и совсем не думал, зачем завтра в шесть. Просто это оказалось совершенно естественным и вдруг необходимым.

**Завод**

Огромная приёмная перед кабинетом директора и главного инженера была пуста. Коля сидел перед столом секретарши и ждал, когда та вернётся от доклада главному. Возвращаясь, Терье не прикрыла за собой дверь и показала кивком головы, мол, входи.

Рука ощупала твёрдые корочки новёхонького диплома, с вложенным направлением, сердце глухо застучало, и Коля вступил на ковровую дорожку, ведущую к длинному столу для заседаний и стоящему поперёк в

торце за ним массивному сооружению с телефонными аппаратами, наваленными на столешнице папками, мраморным письменным прибором и невысоким брюнетом на огромном кожаном кресле. Рукопожатие. Несколько секунд на рассматривание диплома и направления по распределению, взгляд в глаза друг другу, пара незначащих вопросов, среди которых.

— Кем хотите работать?

— Конструктором.

— Замечательно. Пойдёте мастером в цех.

И напоследок:

— Отца как зовут?

— Петром.

— Ну, что ж, Николай Петрович, с началом.

Тепловоз на заводской ветке. Поминутно проносящиеся мимо электрокары с пустыми и загруженными контейнерами, знакомые и совсем непонятные станки вдоль громадных новых и старых пролётов, грохот стали на махинах-прессах, визг от резцов и синенькие спирали стружки, запах пота, краски, машинного масла, сотни и тысячи людей, поглощённых тем, чтобы в плановые сроки обеспечить грядущее благосостояние советских людей. Сбился и устал считать пролёты, переходы, лестницы, лишь вроде запомнил ту каморку, где перекуривало несколько мужиков и пару по внешнему облику женщин и последнюю фразу провожатого: «Вот сюда завтра в семь утра».

И долгий поиск завтра с утра этой самой, прокуренной, где его ждали первые подчинённые, некоторые много старше его, но по странной традиции называющие его на «Вы» и Николай Петрович, а он их уважительно, но по именам и на «Ты». Кто это выдумал и когда?

Эскиз болта, нарисованного в первый рабочий день (ну, вот и совпало желание с реальностью), запомнился надолго, навечно связанный с лицами двух мужиков, невесомо ворочающих по рольгангу шестиметровыми штангами круглого проката и дрожью земли при разрыве стали на прессе – идёт рубка валовой стали.

А потом – первый обжигающий и перехватывающий горло спирт; прожжённый халат от брызг расплавленного металла; удары кувалды по не собирающейся разбираться детали станка; пламенная речь на комсомольском собрании; взгляды девчонок; вкус пьяной вишни во время остановки колонны завода на демонстрации 7 ноября; другой праздник, когда все гуляют, а тебе с крохотной бригадой надо закончить ремонт к утру; тихая беседа в библиотеке и вальс на заводском балу.

Завод.

**Воды отошли**

Воды отошли поздно ночью. Возле растерянной Маши бестолково суетилась тёща. А Коля, прямо в шлёпках, накинув что-то на плечо, кинулся к школе, у которой стоял телефон-автомат. Сначала начал шарить в карманах в поисках двушки, а потом вспомнил, что 03 вызывают без монеты. Еле успел обратно к дому до «скорой», помахал водителю, где остановиться и провёл врача с медсестрой в их с Машей комнату. Потом крепко держал Машину руку, ведя её к машине, и помог ей прилечь на кушетку. Тёща рвалась с ними, но доктор отрезала: «С роженицей только муж».

Из приёмного покоя небольшой больницы Машу сразу увели внутрь, а Коля ненадолго остался, автоматически отвечая на вопросы регистраторши. Потом с ним попрощались, и он вышел почти на деревенскую улицу. Обошёл кругом

двухэтажный корпус, вглядываясь в немногие освещённые окна. А минут через сорок, поняв, что находиться здесь бессмысленно, справки дадут по телефону с десяти утра, пошагал домой. Кое-где горели фонари, тускло освещая булыжную мостовую и утоптанную грунтовую дорожку вдоль деревянных заборов перед частными домиками. Начал накрапывать мелкий осенний дождь, но Коля его не замечал. Тёща, конечно, не спала. Переговорив раз по двадцать одни и те же фразы в разной комбинации, Коля прилёг часа на полтора, ведь работу никто не отменял.

К телефону в конторе начальника цеха подходил и подходил, но выслушивать было нечего. Выйдя с потоком окончивших смену через проходную завода, он не вклинился в толпу ожидающих автобуса, а прошёл к аптеке, зашёл в телефонную будку и неожиданно услышал: «Дочь, 3200, 51». Ничего не поняв, так как с Машей были уверены, что родится сын, полетел на электричку и с букетом цветов и свёртком с разными разностями, влетел в информацию. Тупо уставился в табличку закрытого окошка приёма передач: «Принимаются с… до…». И далее – длинный перечень, чего «не». А потом ходил под окнами, выглядывая Машу, пока ему опытный ветеран, переговаривавший со своей женой жестами через окошко, не сказал: «Приходи завтра утром. Твоя спит после родов. Да всё с ней в порядке».

**Иван-Пограничник**

— В некотором царстве, в некотором государстве, жил-был Иван-Пограничник и звали его Петя.

Да ты поудобнее, поудобнее сюда к папке и на подушку.

И был Иван-Пограничник самым обыкновенным пограничником в гимнастёрке и брюках, в солдатских кирзовых сапогах, и был у него щит и меч, лихой конь буланый, а ещё автомат с патронами и пулемёт. И тревожно было в ту пору на границе. Всё какие-то злые люди и звери хотели её перейти и помешать нам нормально жить. Нам с мамой на работу ходить и в гости, тебе – в ясельки.

Почему Ивана-Пограничника Петей звали? Не знаю. Наверно, мама с папой так назвали. Вот мы с мамой захотели тебя назвать Олей и назвали. Тебе нравится? Вот и Ивану-Пограничнику тоже его имя нравится.

И вот, в одну тёмную ночь послали Ивана-Пограничника командиры дежурить на Калинкин мост. Всю амуницию с собой забрал, не спит, ходит около пограничного столба, а на столбе наша красная звёздочка и красивые такие буквы – СССР. И вдруг слышит, в воздухе свист стоит. Это летит Змей Горыныч с тремя головами. Приземлился он у Калинкина моста, землю лапами рвёт и ноздрями воздух вдыхает: «У-у-у-ууу! Как тут русским духом пахнет! Выходи на бой!»

Иван-Пограничник ничего не боится, вышел он к Змею и говорит: «Убирайся восвояси, не мешай нам жить!»

А тот: «Не уйду!»

И завязалась тут у них битва.

Сильный — Змей. И хвостом бьёт, пламенем дышит и на место одной срубленной головы тут же вырастает новая, но не одолеть ему Ивана-Пограничника. Он же не только о себе думает, а обо всех нас, и о тебе тоже. Как же малышей в обиду дать? Защитить надо. Вот силы к нему, усталому, от нашей Земли и прибывают.

Ну, давай я тебя одеялком укрою… Глазки закрывай. Лежи тихонечко. Вот так. Тебе же с папкой хорошо?..

Бился, бился Иван-Пограничник со Змеем и победил. Все головы разом мечом отрубил, а потом ещё из пулемёта: тра-та-та-та-та-та. А потом доложил командирам о происшествии на границе и спать пошёл… Глазки закрыл, как мы с тобой, аа-аа-аа-а, голову на подушку мягкую… Завтра день будет хороший, аа-аа-аа-а…

— Мам, ты смотри сюда, тихонько только! Ты как думаешь, кто из них первый уснул? Я тоже думаю, что Коля… Тихо, не мешай, устал он. Да и Оленька набегалась.

**От винта**

Вольному воля, блаженному рай.

Народная мудрость.

Закапсулировать!

Вот, как интересно получается. Оказывается, этот процесс, когда глотаешь эту дрянь и первые дни, пока организм не приспособился к новым условиям существования и не знаешь, что и как будет происходить с тобой, а тебя неожиданно кидает в пот, или бешено стучит сердце и плывёт голова, или начинает выворачивать наизнанку, а потом вообще-то ничего, и какой-то неслыханный ранее показатель, вообще не определяемый при обычных ежегодных осмотрах, а когда уже деваться некуда: «Где вы были раньше», — хотя раньше определять ничего никто не планирует и не подсказывает, пока деваться уже некуда, но этот проклятый показатель всё-таки уменьшается, и ты растишь в себе очередные надежды, пока тебе умно не скажут: «Идёт процесс капсулирования». Это значит — иллюзий нет, а есть капсула, в которой сидит нечто, загнанное туда дорогущими пилюлями, пока кризис не сожрал, оплачиваемыми всё-таки из стремительно худеющего больничного кармана. И это нечто уже протянуло паутинки куда смогло и захотело, а теперь ждёт.

Вообще-то, мысль о конечности существования любого биологического организма совершенно не нова. Так что остаётся вариантов не так уж много. При концентрированном зацикливании на ощущении симптомов процесса и попытке отодвинуть финишную ленточку при помощи дробного стука зубов и панического ужаса от неизвестности и возможной неизбежной расплаты за прегрешения — фактический жизненный процесс, пожалуй, прекращается задолго до реального финиша. Ну, что это за жизнь?

Можно пуститься во все тяжкие, пить и куролесить, вкушать радости полной грудью, затаптывая в грязь всё вокруг, а прежде всего себя. И будешь при этом себя уважать?

Жить так, будто ничего не произошло? Ничего себе, поди, попробуй!

Метаться в поисках чудес? Господи! Большинство чудес в наше время имеет в основе либо хитрый обман, либо что-то реальное, но реализуемое лишь при наличии у искателя чего-то более существенного, чем специфические симптомы.

Конец будет всё равно. Так чего дёргаться?

На довоенных самолётах пилот сидел в кабине, а механик что-то проверял, готовил, прокручивал пропеллер, а потом звучала команда: «От винта!» Это означает — всё! Механик ушёл, лётчик запускает мотор, машина бежит по лётному полю и проходит точку невозврата — теперь только полёт. Держи штурвал, пока стучит мотор, пока сердце тянет в путь, пока звёзды над головой и красивая земля под. Что там надо ещё?

**Вмешательство автора иногда совершенно необходимо**

Конечно, не дело автора книги чего-то нудно объяснять и оправдываться. Любой мало-мальски сведущий человек, а сейчас большинство именно сведущих, прекрасно понимает, что автор должен выстраивать сюжетную линию и вплетать в повествование факты, фактики и совсем неприметные вроде даже и не указания на них, чтобы исподволь подвести читателя именно туда, куда автор желает, насыщая внутреннюю жизнь романа, на худой конец повести или рассказа, разными интересными подробностями, завязками-развязками, чтобы заинтриго-вать, а в итоге получить себе желанный кусок признательности и славы.

Но я вынужден объясняться именно потому, что не предполагал совершенно безответственного поведения своих литературных героев. И теперь должен периодически следовать не своему обдуманному плану и вдохновению, а неожиданным поворотам их не до конца понятной мне логики.

Вот и сейчас, Николай Петрович подталкивает моё перо, чтобы я непременно в этом самом месте опубликовал его литературные опыты.

Странно он себя ведёт. Вроде бы литературный герой, придуманный автором, представляет собой некий абстракт, который автор наполняет жизненными фактами, характером, чертами лица, манерами и всем, чем положено. И тот послушно думает, мечтает, поступает именно так, как за него придумали. А этот, мало того, что нечто написал, так ещё и тетрадку мне подсунул. И не просит, нет, совершенно не так, он уже вместо меня вписывает придуманное им слово в текст моего романа, вне всякой связи с развитием событий и взаимоотношениями героев. И меня почти не спрашивает, будто я человек посторонний.

Дамы и Господа!

Заявляю вполне официально. Я не знаю, что это и зачем. Я ошарашен и не представляю значения вписанного для цельности моего произведения. Но я твёрдо знаю одно — что внёс записки Николая Петровича. И уверен, что сделал правильно.

Сергей Эсте

**Записки Николая Петровича**

Хорошие стихи про мир
и про любовь
Про то, что нет войны
и зря не льётся кровь
Про то, что на Земле
цветут опять сады
И ворон не летит
предвестником войны
И дети не хотят в подарок
автомат
Лишь в книгах узнают,
что был когда-то мат
И людям невдомёк —
ну, что было делить?

Зачем нужна вражда,
  зачем горилку пить?
И не поймут никак
  зачем нужна беда?
Ведь с ней давно пора
  расстаться навсегда.
Проснулся на заре,
 чуть скрипнула кровать
Уже пора давно,
 но не хочу вставать.
Круг прошёл.
Что казалось геройским побегом,
облетело пустыми словами.
И чем дальше летишь, убегая,
достигая блаженной тиши,
тем смыкаешь плотнее и твёрже
обруч старых и новых не я.
Новый круг.
И пошёл по спирали
на чужие грехи не чужие
мазать мёдом, чтоб лучше прилипло,
то что вовсе не нужно тебе.
И летит перепутано в вечность
то святое, что где-то осталось,
и совсем бестолковая мелочь
под названьем таинственным
жизнь.
А что-то трогает и плачет,
И что-то рвётся и молчит.
Хрипит надеждою удача,
Возница жизнь — такая кляча —
Не по шоссе, а я не мачо,
Но в воле что-то про гранит.
 Что-то носится и рвётся,
И что-то строится в мозгу,
И сил не очень, но неймётся,
Хоть сердце больше не клянётся,
И что-то в руки не даётся,
Но я могу, могу, могу...
Хоть что-то трогает и плачет,
И что-то носится в мозгу,
Жизнь — не такая уж и кляча,
И есть надежда на удачу,
Хоть никогда не стану мачо,
Но что-нибудь ещё смогу.
Про вечность, душу, про исход,
про тот забытый прочно год,
про обнажённые тела,
про жизнь сгоревшую дотла,
про что-то где-то без забот...
Вот и закончился полёт.
Я строю дом из самого прочного материала на Земле — из иллюзий.
Серый день усредняет дождём,

Мелким снегом, иль мокрым туманом.
И за бледным, и грязным окном
Что— то хлюпает призрачным сном,
И мерцает грядущим обманом.

1.Усталый Ангел с яблоком в руке.
Немного отдохни, и будет легче.
Какую ношу ты взвалил на плечи?
Из века в век не можешь налегке.
Быть может, вспомнил из далёких дней
Святое что-то, что нельзя нарушить,
И так навечно согревает душу,
Что крылья расправляются сильней.
Усталый Ангел.
Яблоко в руке.
Немного отдохни.

2.
Чуть погодя, передохнув лишь миг,
взмахнёт крылами Ангел белый...
Всё что по жизни не постиг,
и что гудит, переходя на крик,
тебе, мой Ангел, расскажу несмело.
Плачет дождь в декабре
о берёзовом лесе,
о девичьей груди,
о грибах в сентябре.
Дождь грустит в декабре
об апрельском рассвете,
о росистых дорожках
на тонкой траве.
Брызжут капли с небес
о растраченном лете.
О зелёных глазах
плачет дождь в декабре
Ты подарила мне сирень...
Перед тобой стоял, как пень.
Хоть чудный пел нам песню день,
Но всё менять мне было лень.
Но эти скромные цветы,
Как символ чистой красоты...
Так не хотелось суеты.
В моих глазах искрилась ты!
И вечной кажется земля.
И жить бы, счастья не тая.
И перепрыгнуть бы себя...
Ох, и лопух же, братцы, я!
не пробиться, не выйти из круга слов ненужных не прожитых дней.
из бокала забытого друга пью туман

Когда-то Дым Костра был маленьким Мальчиком, который жил на берегу речки в огромном двухэтажном доме. На первом этаже была большущая

комната, в которую вмещалась мамина кровать, его кроватка и стол. А ещё в комнате стояла печка.

Чтобы сесть за стол, надо было придвинуть табурет и попробовать на него влезть. Мама смотрела, как он хватается руками за сидение, вскарабкивается на него и улыбалась. А ложка с едой не всегда попадала в рот полной. Она почему-то не хотела держаться ровно, и суп проливался обратно в тарелку или даже на стол. И мама тогда лишь чуть-чуть подправляла ему руку.

А потом он научился красиво выводить прописи в тетрадях, чертить линии карандашом по линейке и даже делать кружочки циркулем.

В институте он ходил с друзьями в поход и ночевал в палатке.

Своего сына учил ходить на ходулях. А с внуком гонял наперегонки на великах.

А потом тихим-тихим вечером сидел у костра и смотрел, как сизый дым курится от недогоревших веток и прямо в дыму, будто родившиеся в нём, толкутся мелкие мошки. Их никогда нет в другое время, а в дыму мошка вдруг появляется и живёт. И так это понравилось Старику, который вырос из того самого маленького Мальчика, что он захотел, как дым, взлететь над садом и домом, улететь к лесу, посмотреть на ещё заметную в сумерках речку. И тут сделал он что-то совсем непонятное и стал Дымом Костра.

Обрадовался, что может теперь летать, и стал смотреть во все глаза.

Увидел, как другого мальчика гладит по головке мама и легонько дует ему на лобик.

Подсмотрел, как на берегу реки двое сидели, тесно прижавшись друг к другу, пальцы рук их сплелись, а потом и губы соединились нежно.

Усмехнулся тому, как кряхтит дед, ломая ветки перед тем, как подбросить их в костёр, а в ведёрке над костром что-то булькает и пахнет ухой.

«Здорово получилось», — подумал бывший Мальчик и устремился высоко в небо над поляной, лесом, речкой.

И стал мечтать, как он пощиплет глаза у мальчишек, когда те прибегут греться к костру после купания в холодной воде, как будет смотреть на стройные ножки красивой девушки, прыгающей через костёр, и он точно знает, что она загадает в тот миг.

Стал Дым мечтать, как согреет и спасёт от заморозков цветущий яблоневый сад, а потом покажет заблудившемуся грибнику путь к людям.

Что ж, мы все мечтаем. Почему бы и Дыму не помечтать?

**Приговор**

— А метастаза в ребре, это что?

Начинало ломить в висках, но сердце билось ровно и спокойно. Тротуар почистили. Мелкая каменная крошка хрустела под ботинками. Кашица снега отлетала от колёс машин и скапливалась у пешеходных переходов. Вода медленно переливалась через края луж и стекала к водостокам. Сквозь неплотные облака просвечивало голубизной.

— Интересно, ей было легче произнести или мне выслушать? А медсестра вроде и не присутствовала вовсе. Вот сидит рядом, а её нет. Да, работёнка! Я бы так не смог. Произносить человеку приговор...

А день какой сегодня чистый! Плюс один. Снег ещё нахлобучил ветки деревьев, чуть сильнее ветер — давно осыпался бы на газоны и тротуар. Да ещё как блестит, пропитанный влагой! Так и чуешь глазами тяжесть массы

этой пористой белизны. Скоро весна. Как она сказала? «Три дня сейчас ничего не решают...» Что-то ещё про консилиум. Интересно, как буду переносить эту дрянь?

Господи, вот угораздило же...

Ничего... Будем...

Николай Петрович размеренно шагал мимо больничного комплекса к трамвайной остановке, с удовлетворением увидел цифру четыре над лобовым стеклом приближающегося вагона, поднялся по ступенькам, соскоблив прилипший к подошвам снег о подножку и сел в одиночное кресло. Проехал две остановки и неожиданно вышел.

— А если бы это была тройка, какая разница, — подумал он, — будто это что-то решало?

На тихой улице его детства машин почти не было. Он внимательно рассматривал новые дома, построенные вместо деревяшек за последние годы. Будто увидел их впервые. Даже не повернул голову в проём подъезда своего двора и вышел на площадь. Там что-то роют. По краям ограничителей проезда люди в отражающих зелёным куртках машут завернуть легковушке, заехавшей на запрещённую полосу. На горушке высится недостроенный монумент.

— Интересно, я его увижу готовым?

По кривой улочке мимо стен из серого плитняка пройти короче. А теперь мимо крепостной стены к деревянным воротам, туда, где в крохотном дворике играет музыка, висит фигурка белого Ангела на растяжках над входом в подвал и ещё одна лестница сбоку к неприметной двери, к входу в заброшенный монастырь изгнанных когда-то чужаков.

Но массивные ворота заперты. Значит, придётся придти другой раз.

Двери магазина бесшумно раздвинулись, и Николай Петрович вошёл в зал. Начал накладывать в тележку пакеты, коробки, баночки, взял с полки небольшую бутылку «Scottish Leader”, прошёл к кассе. Считыватель терминала зеленовато подмигнул: «Транзакция завершена».

— Странно, — подумал Николай Петрович и зашагал к выходу.

**Барокко**

Люстры медленно погасли. В конце длинного зала на прямоугольнике потолка отражался свет от освещённой сцены.

Николай Петрович будто и не заметил, как выходили и рассаживались оркестранты, вставали в ряд хористы, звучали вразнобой струнные и духовые инструменты, как проверяли настройку по звуку первой скрипки, как все смолкли и ждали дирижёра. А он вышел какой-то несуразный, с длинными волосами и проплешиной, странно поклонился зрителям и взмахнул палочкой.

Николай Петрович даже не слышал звуков. Он с удивлением наблюдал, как нелепая фигура дирижёра начинает плыть в воздухе и из его внезапно гибких, чутких и властных рук начинает исходить нечто, постепенно проникающее сквозь незримую оболочку, прочно отгородившую Николая Петровича от внешнего мира. Будто всё то, что есть снаружи: дома и люди,

дела и проблемы, этот зал, город, земля, солнечная система и Вселенная — только крохотное дополнение к тому, что есть внутри — сам Николай Петрович, вдруг ставший огромным и единственным реальным существом, много большим, чем всё призрачное вокруг.

Дирижёр взмахивал палочкой, вызывая звуки оркестра и хора. Постепенно движения его тела, рук и головы пробивали крохотную щелочку в каменном склепе, окружавшем Николая Петровича. Ворвалось несколько звуков: какой-то призыв трубы, топот коней, церемонный проезд рыцарей, сигнал и звон стали.

Николай Петрович всё-таки увидел, что в зале полно людей. С балкона стали видны хористы и оркестр, фигура увлечённого музыкой дирижёра. Зрители сидят перед ним и даже сбоку.

Скрипки и духовые подхватывают мелодию, ведут её почти знакомыми сочетаниями и ритмами и начинают вытаскивать его в окружающий мир.

Перед его глазами по коридору процедурного отделения прошёл измождённый старик. А другой, уходящий, с синеющим лицом и кислородной маской, хрипло дышал перед устало сидящей медсестрой.

Струны рвали воздух зала страстью человеческих страданий и несбывшихся надежд. Мужские голоса бесстрастно доносили глубину и мощь предназначения. Женские чего-то хотели и звали, а потом обречённо нисходили к отказу от земного.

Что-то восставало в Николае Петровиче. И как-будто послушав его, в бешеном ритме рвущихся чувств рухнул бесчувственный мир, исчезли ноты обречённости и страсть, обыкновенная человеческая страсть, с мясом и грехом, вырвалась в мощные звуки оркестра и одухотворённые человеческие голоса.

— Я хочу жить! — почти вслух произнёс Николай Петрович и негромко добавил — Буду.

## Ответ

— Знаешь, Витя, ты меня как-то осторожно так про партию спросил, а я тебе ничего тогда и не ответил. Наверно время должно придти, чтобы на что-то отвечать, моё время. Вот почти все другие уже ответили: прокляли, отреклись, удила закусили и красным размахивают с чёрными флагами и рясами рядом, кто в церкви отмаливает, кто запил и нет кого. А я вот решил сегодня ответить. Время есть? Ну, тогда терпи...

Вот сказал, отвечу, а сам не знаю, с чего и начать...

Я думал сначала, что буду тебе рассказывать, как избирали комсоргом. И не потому избрали, что очень уж я всем ребятам приглянулся, а потому, что не хотели они того, кто рвался, кто линию вёл и в горкоме о чём-то договорился. И не буду рассказывать, как через год подал заявление. Сам подал, не для карьеры, по личному убеждению в словах и идеях, которые с детства во мне жили. И как на парткомиссии какой-то ветеран очень рекомендовал застегнуть мундир на все пуговицы и рапортовать о выполнении Резолюций и Решений. А я ему доказывал, что Резолюции и Решения нужно принимать, думая о будущем. А потом сидел в пустом кабинете секретаря комитета комсомола и даже заводской парторг разводил руками: «Ну, что поделаешь, если партийная пресса...» И совсем бы я не верил больше ничему, да секретарь Райкома Партии на Пленуме так понесла этого ветерана и эту газету, что снова жить захотелось. Спасибо ей сердечное, порядочному человеку. Не знаю, жива ли она.

А люди, что были вокруг меня, нормальные люди, умные, честные и активные, которых я уважал тогда и сейчас уважаю — все были коммунистами. И пахали, как папы Карлы, и за честь заступались, и в беде помогали, не давали упасть, что-то строили, делали, создавали. И вот так, с одной стороны те, кто заявление на клочке бумаги писал и в бой шёл, а с другой — кому удобно и выгодно быть при власти. В точности, как сейчас, когда одни что-то создают, а другие ладонью только «до сЕбе».

Знаешь, я бы многое мог тебе рассказать и смешного, и глупого, и хорошего, и того, чего даже вспоминать не хочется. Да только не хочу больше. Больно. Нет, Витя, за то, что был в партии двадцать лет с гаком совсем мне не стыдно. И каяться мне лично не за что. И билет не порвал, не выбросил. Храню в уголке. Совсем не затем, чтобы кому-то показывать, как доказательство преданности идее. Идея — это вообще штука сложная. И как она звучит, как в голове мечтается, как и кем реализуется — ой, как по-разному. И это-то оказывается ещё как важно! Идеи что? Свобода! Равенство! Братство! Мы разрушим мир насилья! Мы не рабы, рабы не мы!

Ещё как рабы!

Нет, Витёк, каяться не за что. И жизнь прожита не зря. И вернуться для переделки не хочу.

Вот для памяти билет и храню: «Ум, честь и совесть!» Для совести и храню.

Не утомил?

**Шашлык**

— Вот смотрю я, Петрович, на твою ребятню, как у них всё ладно и естественно, и всё понимаю — так оно и быть должно. Да только у других не так!

— Так! Так! Вот сейчас придут с пляжа, и галдеть будут, как все, и глазами голодными на шашлык поглядывать, мол, скоро ли? Ох, Вить! Если угольков к их приходу будет мало — сам убедишься.

— Что значит, убедишься, Коля? Ты с кем дело имеешь? Петрович, ты эту корягу в костёр не суй, от неё толку мало. Вот смотри, как надо: вот эти толстенькие сухие сперва, а вот те — под конец. Сколько тебя учить надо? Ты же не листья жжёшь и ветки. Это же высший пилотаж. А мясо приготовил?

— А тут тебе, Витенька, и часть ответа. Раз Пашка взялся, то и делать сам будет. Как сделает, так и поешь. Можешь не сомневаться, он для сестрёнок в лепёшку расшибётся.

— А не ревнует?

— А с чего ревновать? Знаешь, Вить, не замечал. Мне ведь это тоже важно. Вернее, время от времени как-то задаю себе нечто подобное, а потом забываю. Да и не могу никак кого-то из своих выше или ниже поставить. Они все перемешаны. Помню, ещё у нас с Машей всё было хорошо, задали нам вопрос: кто у вас глава семейства? Вот сейчас вроде вспоминаю, что было это во время переписи населения. А может и нет. Ну, Витя, ну как на такой глупый вопрос ответить? Как это в нормальной семье может быть? Вот когда Оленьке нужно было срочно гербарий составить из мхов, а на улице скоро темнеть будет, кто главный в семье, а? И когда она Мишку, а потом Пашку рожала — ну тут уж вообще святое дело. А больше всё Маша да Маша, иногда я. А с Лидой сейчас? Кто из нас главнее?

— Ты просто, Коля, дамский угодник. Ты ж для них всё сделаешь. Вот и Пашка твой такой. Во — загордился! Идёт, идёт твой Пашка! Паша, где мясо?

Минут через десять ставить надо. Что? Да салат ещё рановато. А девчонки справятся? Ну, как знаешь.

Да, Коля, пожалуй ты прав. Если доверяешь и любишь, или вернее, любишь и доверяешь — и проблем нет.

— Да нет, Витя. Проблемы всё равно есть. И откуда они берутся?

**Рассказ про любовь**

— Не знаю, девчонки, всё что можно описать словами: там кровь пульсирует, приласкаться охота, ревность просыпается, так и хочется всех отогнать и никого близко не подпускать, подарить чего-то хочется, внимание только к тебе от неё, ну или от него для вас и всё такое другое — это конечно правда. Да только этого мало и не главное оно вовсе.

Не умею. Загнали! Витя! Помогать будешь? Вот так. Бросил друга в самую трудную минуту. Придётся одному выпутываться. Да и то верно, девчонок нарожал — теперь расхлёбывайся.

Нет, Ленусик и Даша, я вам теорию рассказывать не буду — это вам в школе, книг начитаетесь, фильмов ночных наглядитесь и всё-всё будете знать. Да только разбираться всё равно придётся самим.

Я вам лучше про другое расскажу. Может это и будет ответом на ваш вопрос — как распознать, а может и не будет.

Как я женился первый раз на Пашкиной бабушке, это вы конечно знаете. Чего вам про неё рассказывать? В гости к ней вы ездили, женщина она замечательная, обе вы в неё влюбились. А молодая она ещё красивее была. И умная, и всё у неё в руках спорилось, и в хоре пела, и в походы ходила, и всегда вокруг неё люди — напитываются её энергией, идут за ней, боготворят. Вот и я пошёл.

И вот когда человек ведёт всё время, и хочет это делать, и получается у него, и шагает быстро, то главное — не отстать. Ну, если отстал кто в такой паре, значит отстал, тут-то всё понятно. А я не отстал. Не знаю в чём дело, то ли характер у меня такой покладистый, то ли действительно у нас славный тандем получился, то ли Маша умела всегда выбирать за двоих очень чутко, а человек я вовсе не нерешительный, ещё какие решения принимаю, правда, в основном на работе. А дом что? Дом — это же женская вотчина. Уют, атмосфера, да и мужики рожать пока не научились. Ну и конечно, природная женская власть — ведь выбирает отца будущего ребёнка всегда женщина. И сила ей Богом такая могучая дана, что любого для этой святой цели покорит.

Обещал в теории не вдаваться, а потянуло. Конечно, у меня своя теория на эту тему.

Ведь если всё нормально и выбор был двоих, то когда дети выросли, что-то очень важное с мужчиной происходит. Он как бы миссию выполнил. И если что-то было не так в семье, пусть даже и не видно никому, даже самой паре супружеской не видно, вот тут и случается.

Может я не совсем правильно рассуждаю, у женщины кроме материнства есть и многие другие цели, но всё-таки материнство на первом месте. А у мужчины иначе. И любовь к детям не меньше и к внукам потом, но мужчина легче отпускает своих кровных в их жизнь, а женщина до последнего пытается быть в их жизни главной.

И вот когда Оленька уехала в Питер учиться, а вскоре и замуж вышла, и родила Мишку, а потом Пашку, я вдруг понял, что всё, закончилось. Жизнь моя закончилась. Совсем не в том, что сил мало или лет много, желания иссякли, а в том, что с такой замечательной Машей, которую все вы любите

и я люблю, по своему люблю — дорога, накатанная до дряхлости и холмика под сосной. И дело совсем не в ответственности, не в стремлении уйти от трудностей, и совсем не в том, что бес в ребро впрыгивает. Совсем нет. Миссия закончена. Дальше помогать можно, но это их жизнь, не моя. И осознал вдруг, что Машиной жизнью я не проживу, а своей будто и не стало.

И вот тогда произошло. Какая-то стена между нами встала, внутри меня встала. Вот всё было хорошо, ослепительно хорошо и вдруг неожиданно понял, что всё. И изменить ничего нельзя, да и не хочу.

И не запил я тогда, хотя был момент, и женщины другие ещё в мою жизнь не вторгались, а всё.

На работе вкалывал по две смены, в командировки мотался, на дачу уезжал, как барсук — один. А потом как-то пришёл к Маше, проговорили мы долго, до утра и переехал к матери.

Вот что у нас с Машей в жизни не получилось найти? Мне кажется, ответ в этом самом распространённом у молодых особенно, когда кровь бушует и клянутся: «Ты мой! Я твоя!» Ну, как человек может быть чьим-то? Я даже формулировку церковную: «Я, раб Божий», — произнести не могу. Нет! Зачем было Богу создавать себе рабов? Не для того создал. Неисповедимы, как говорится, но не для того.

И вот как, девчонки, это самое по жизни пронести в семье, когда ты и партнёр надёжный и любящий, и свободен одновременно?

Вот когда твоя мама, Ленусик, от меня уходила, а потом выбрала себе мужа, а тебе папу Лёшу, очень мне было тяжело, но даже и радостно. Вот нашла себе Наташа точку правды в любви.

Ну что, ответил я вам, сестрички, или нет? Сейчас мама Лида нас на пирог позовёт, чуете?

Как же я вас всех люблю.

**Решение**

Когда человек что-то решает важное, причём, не просто важное, а очень важное, самое важное, отчего может измениться для него всё на свете, он...

Вот. Вот так часто бывает. Размахнёшься, думаешь, что изречёшь истину, которой до тебя никто не слышал, готовишься, так сказать, осчастливить человечество, а на самом деле в последний момент и одумаешься. Ну, что делает каждый человек, когда принимает решение? Вот вспомни про себя самого, какие такие уникальные действия совершаешь? Какие глобальные мысли приходят, чтобы это самое решение принять? Сколько времени ты мучаешься и размышляешь, чтобы решиться? Сколько секунд или лет?

Вот когда в институте на военку ходили, там было всё понятно: получив боевой приказ, надо оценить обстановку, а потом принять решение на выполнение этого самого боевого приказа. А тут — всё перепутано. Из этой самой обстановки, в которой оказался, может быть, по собственной глупости, хоть и казался тогда себе мудрым и взрослым, надо самому себе дать задание во всём разобраться, найти пути выхода из того безобразия, которое тебя никак не устраивает, выбрать только один, самый верный. Легко сказать один, когда сначала необходимо убедиться, а не придумал ли ты сам себе проблемы и трудности, может их нет, а есть только факт, что нечто напахал и для разрешения ситуации всего-то надо признать сперва самому себе, что был неправ.

И про приказ, то бишь, про задание самому себе куда двигаться и что делать — как это может быть вначале, если после всех размышлений,

мечтаний и ушатов холодной воды запутываешься окончательно, мозг выключается напрочь, а нервы истончаются и рвутся?

Скажете, надо обратиться к специалисту, к психотерапевту, например? Отличная идея. Да только бывают семьи, в которых даже не один высококлассный психотерапевт, а тупик там ещё круче и безысходней.

Так что — готовых рецептов чаще всего не бывает.

Кризис у Николая Петровича наступил не сразу. Разрыв с Машей, казалось бы, на пустом месте. Организация нового ритма жизни, в которой, совершенно естественно, оказались очень важными дочь и два внука. Ну да, в другом городе, но ниточка-то крепкая и, как ни странно, вопреки ожиданиям, серьёзных проблем во взаимоотношениях с Олей их не оказалось вовсе. Значит дочь, любящая отца и мать, видела между ними нечто, что они сами вовремя не разглядели.

Мать приняла своего Коленьку спокойно, без расспросов, будто давно ожидая подобной развязки. С ней, правда, тоже было не очень легко. Но Бог решил проблемы взаимоотношений матери и сына просто и окончательно всего через полгода их совместной жизни. Холмиков на Лесном кладбище стало теперь два.

Рита появилась внезапно.

Конечно, при желании можно было бы найти и другое место, но этот столик в ресторане стоял в уютном незаметном уголке. Похоже, что молодая женщина, сидевшая одна в пол оборота к залу, никого не ждала. А два свободных стула были расположены так для него удобно — лицом в стену и угол. Он так ей сразу и сказал, что мешать ей не будет, и если она не возражает, устроится тут.

Она на него внимания и не обратила, а он — на неё. Ну, молодая, симпатичная, явно занятая чем-то совсем не тут, как и он.

Николай Петрович тупо смотрел в стену, не обращая ни малейшего внимания на шум посетителей, первые пустые танцевальные ритмы, запущенные равнодушным диск жокеем, даже на сидящую рядом даму и чего-то бубнил под нос. Затем, неожиданно для самого себя, вытащил авторучку и записал несколько корявых строк на обороте счёта за электричество, случайно оказавшегося в бумажнике. А потом недоверчиво и странно смотрел на записанное, и губы беззвучно шевелились.

Все эти манипуляции не прошли мимо внимания соседки. Она смотела на Николая Петровича, будто только сейчас увидела, что рядом с ней сидит человек. Её вдруг заинтересованные глаза глядели на его губы и бумажку с каракулями. А он, неожиданно свободно и смело, чего ранее за собой никогда не замечал, предложил прочитать вслух. Они разговорились и даже немного потанцевали. Николаю Петровичу было позволено проводить даму до подъезда, совсем недалеко от ресторанчика и даже потом позвонить.

А потом и началось — периодическое внимание Риты, с явно выраженной к нему симпатией, мягким пожатием руки и неотстранённые губы для, увы, не эротического поцелуя, сменялось неделями неотвеченных звонков и пустотой в её взоре при встрече. А потом это — её внезапный отъезд в Италию, замужество и долго не отпускавшая его горечь.

Вот тогда и состоялось для него это самое решение, необходимость принятия которого или там побудительные мотивы, или загадывание чего-то серьёзно-глобального наперёд, до этого не возникало вовсе. Может даже и решения никакого на самом деле не было, а оно только померещилось под низкими сводами давно не действующего старинного монастыря.

Зачем он тогда двинулся за этой парой, свернувшей с узкой улочки в крохотный дворик? Зачем поднялся за ними по полуразрушенным ступенькам к тёмной двери? Зачем вошёл?

Высокий худой мужчина с седыми висками нежно заглядывал в карие глаза изящной темноволосой женщины лет тридцати. Они внимательно слушали рассказ смотрительницы о жизни монахов и датах. Брали в руки тяжёлые тома в тёмных переплётах, заглядывали в узкие окна, разглядывали картины и старательно загадывали желание перед тем, как выйти на середину низкого квадратного зала, на то самое место, где сходятся какие-то сферы или лучи. Николай Петрович ничего в этом не понял, а только видел исчезающую счастливую пару, выходящую сквозь узкий проход куда-то далеко.

Горели крохотные свечи. Никаких желаний Николай Петрович так и не загадал. Долго стоял отрешённо, не доходя до нужного места. Смотрительница что-то объясняла там, в глубине монастыря, а Николай Петрович шагнул и замер. Низкий каменный потолок, почти темнота кругом и отдалённые звуки вдали, непонятные и глухие. А он — спокойный и пустой. И вроде бы, ничего не произошло, но он уже знал, как жить. Вот объяснить этого не мог, а как жить — знал.

**Поющая**

Длинный пологий склон поёт десятками тысяч голосов.

Сверху и сзади за припарковавшимися кое-как сотнями машин проходит старое шоссе, превратившееся в отрезок городской улицы. Справа — деревья и кустарники под крутым обрывом и дорожка вдоль приморского шоссе. А прямо, за возвышающейся певческой эстрадой, напоминающей развёрнутое огромное ухо — широкая аллея к морю. Оттуда, от автобусной остановки и парковочной площадки вливаются сотни мужчин, женщин и детей в благоговейно стоящую толпу и тоже поют. Нет. Это совсем не похоже на Праздники Песни и Танца раз в четыре года. Тогда все веселы и игривы, торжественны и глупы, танцуют, водят хороводы, протягивают руки и улыбаются. По-разному улыбаются, кто как может и хочет, но улыбаются обязательно. И национальные костюмы не выглядят карнавальным реквизитом — праздник. А сейчас — нечто совсем другое.

Николай Петрович пришёл потому, что не мог не придти. Да, несмотря на весьма поверхностное знание местного языка, он любил и чтил: неторопливость и выдержанность, аккуратность и некоторую обособленность каждого от каждого, чистоту и спокойствие, размеренность, терпеливость и огромную любовь этих людей к своему клочку земли, обычаям и песням. Сотни лет желанная свобода для них выражалась только напевной речью и почти обязательным финалом народных сказок, когда герой получал свой хутор и возможность жить по своим правилам.

А вдруг это получится сейчас? Вот прямо сейчас, с этого огромного поля десятки, а может, сотни тысяч людей пойдут и скажут, и тогда надо будет или дать им эту желанную свободу, которая почти валяется под ногами и стоит только её поднять, либо снова пушки, много пушек, много штыков, много эшелонов с телячьими вагонами и наглухо закрытые рты даже ниже плеч, куда втянуты от страха головы и автоматически поднимающаяся рука «За» и как эхо голос: «Долой! Враг!»

Да только нет сейчас солдат, желающих и могущих пощёлкать затворами и задвинуть двери вагонов и стрелять в упор при шаге влево или вправо из огороженной красным затравленной трассы. Рассыпается этот огромный дом

от единственного кубика, упорно вытаскиваемого сотней тысяч поющих голосов.

Значит, сляпан был погано, а потом вконец обветшал под упёртыми управдомами этот когда-то красивый и многообещающий дом. А раз некому его удержать, то и не стоит.

Нет, не праздник сегодня здесь. Это звучит молитва народной воли.

**Крах**

Умом Николай Петрович много чего понимал. Хотя, как сказать... Это он думал, что многое понимает или даже чует. Хотя никаких трактатов не читал, да и сам анализом не занимался. Но крохотные факты и фактики из реальной жизни оседали в голове, хватали за сердце, не давали покоя, а потом неожиданно, без видимого оперирования ими, вдруг выплёскивались из него в самые неподходящие моменты.

Когда же это было? Во второй половине восьмидесятых? Нет, раньше, задолго до объявления Перестройки и шумных Народных фронтов.

Из Киева в Харьков было не уехать — либо общий вагон, что совсем не прельщало, либо жди завтра, без гостиницы, на вокзале в зале ожидания. Откуда тут столько высших офицеров не ниже подполковника? Чего эта орава рвётся из Киева в Харьков? Совещание какое что ли туда перенесли?

И тут, как чудо — выбросили в свободную продажу несколько билетов СВ. Николай Петрович никогда в СВ раньше не ездил. На инженерную зарплату в СВ не накатаешься, а командировочные выше купейного тоже не оплачивают. Но не сидеть же ночь на жёсткой скамейке в зале ожидания? А, чёрт с ним! И вот — билет уже в кармане.

Да, разница есть. Мягкое и уютное купе на двоих, спокойный вагон без суеты и гомона, вежливый ненавязчивый проводник. И сосед — высокий красивый полковник с лётными петличками сразу очаровал непринуждённостью, дружелюбием и выставленной на столик бутылкой хорошего коньяку. Это потом Николай Петрович понял, что же ещё главного было общим, да конечно возраст, наверняка одногодки. Сашка на атомной тоже, небось, как раз дослужился до капитана.

И беседа потекла легко и весело. По званию и возрасту военного и некоторым незначительным фактам, сказанным между прочим, он уже понял, что тот бороздит воздушные просторы на атомном ракетоносце в боевом дежурстве, бережёт сон и покой советских тружеников. И ничто не предвещало какой-то перемены в купе, когда прозвучал вопрос защитника Родины: «Ну, а вы как? Скоро построим?»

Зачем Николай Петрович отвечал так? Что его потянуло на откровенность? Может то, что он в глубине души давно ждал этот вопрос? И отвечает теперь не только переставшему улыбаться лётчику, но и себе. Как есть отвечает.

И главным в ответе было даже не описание пустых магазинов, гонка на производстве по выполнению плана выпуска товаров народного потребления, мёртвым грузом оседающих в складах и складиках, не тупость принимаемых сверху решений, не пустозвонство и обман, даже не стремление верхушки выстроить страну под себя, а всё возрастающее неверие в кидаемые людям для наживки лозунги, разочарование и ещё неясно осознанное состояние страны — всё, приехали. Совсем не ясно какой, но наступает конец.

Сколько лет прошло с той ночи в купе спального вагона, но Николай Петрович ещё и ещё вспоминает её, а потом недоверчивый взгляд лётчика, может быть даже подумавшего тогда, а не подсунули ли ему на взлёте

карьеры агента иностранной разведки для разложения морального духа Советской Армии?

Всё, не стало Советской Армии, как и всей страны, развалившейся на кусочки и может, вспоминает эту же ночь лётчик и наконец, думает: «А ведь прав был инженер». И есть ли какой толк от того, что так может думать этот лётчик сегодня? Или забыл давно? Или же нет его на свете? Но всё-таки почему-то Николаю Петровичу очень хочется, чтобы лётчик жил и вспомнил сейчас, что ему тогда сказали правду.

**Независимость**

Николай Петрович голосовал тогда, как последний идиот: «Да» — независимости куска этой Прибалтийской земли, «Да» — сохранению Советского Союза.

Естественно, любое волеизъявление, как и почти любое слово, можно трактовать замечательно по разному. Для местных вожаков, получивших неожиданно власть в независимой стране после августа 91-го, количество голосов «За» считалось чохом и подтверждало легитимность их решений и власти, а «Да» Советскому Союзу местных русских, вернее говорящих на русском не представителей коренной нации — это естественное состояние пятой колонны, мечтающей напакостить молодой республике и продолжающих быть оккупантами или ревностными потомками оккупантов. И лет с 1940 по 1991 вообще не было. И желание людей жить в мире и согласии, с сохранением в том числе прежних связей и контактов — это, разумеется, козни и дурость. Так как от Восточного Соседа ждать ничего хорошего не приходится.

Нет, не зря тогда на Певческом Поле Николай Петрович не подпевал тогда многотысячному хору, не зря чувствовал не только правду этих людей в желании быть хозяевами в своей стране, но и отторжение его. Странно, столько лет пахали рядом и вдруг разучились понимать друг друга? Неужели они не поняли, что русский человек обладает одной особенностью, идущей через века: любить землю, на которой живёт, чтить её и не пытаться переделать под свою Родину, Россию? Тошненько!

Но видно, ничего не поделаешь. Чтобы что-то действительно доказать, нужны не аргументы слов, денег и силы. Доказывать приходится чем-то совсем другим. Из далёкого детства для него на всю жизнь звучали три главные фразы:

Ma ei oska — я не понимаю,
Ära karda mind — не бойся меня,
Anna mulle ka — дай мне тоже

Хуже нет, когда тебя не понимают или не понимаешь ты. Как-то в те времена, когда финнам, например, к нам можно было запросто, а нам туда ни-ни, расхаживал как-то Николай Петрович в одном из первых универсамов города между полками, и вдруг к нему подходит средних лет финка и что-то спрашивает. Может тогда её вопрос прозвучал и не только по-фински, Николай Петрович не разобрал, но даже если бы и по-английски — после усердных школьных уроков и сдачи тысяч знаков на зачёт в институте — знания оного успешно стремились к нулю. Николай Петрович сообразил, что дама хочет нечто конкретное, но вот догадаться бы что? Через некоторое время, собравшаяся вокруг толпа помощников безуспешно гадала, что же означают её слова, а потом жужжание и даже подпрыгивание. И лишь после

того, как дама замахала руками, как крыльями, кто-то радостно догадался: «Мёд! Она хочет мёд!»

Можно, конечно, выучить язык взрослому человеку. До совершенства дойти, разумеется, не удастся, но худо-бедно изъясняться в наиболее часто необходимых ситуациях — это реально. Правда, тут ещё зависит от времени твоих разговоров. Перед выборами, например, обращение к тебе верхушки по-русски — явление повсеместное. А во времена кризисных моментов — почему-то, если к тебе кто-то из «элиты» вдруг случайно так обращается, то непременно сверху вниз.

А ещё Николай Петрович заметил, что очень часто непонимание возникает и при свободном владении языком. Вот каждое слово фразы понятно и предложение грамматическое вполне, а что это такое и почему и что прячется за словами? И наибольшую настороженность вызывает множество правильных слов. Вот если тебе сказали много-много преправильных слов, где там заковыка? В чём тебя хотят надуть? И свои, и не свои, а?

Так что Николай Петрович убедился — не зря запомнил эту фразу, объясняющую почти всё, и вызывающую разочарование в жизни. Ma ei oska. И нет проблем. Вернее, ты остался с ними один на один.

Зато две другие фразы держали на плаву. Он помнил, когда ему, перепуганному мальчишке говорили: «Ära karda mind!" Когда тебе так говорит старший и сильный, это означает, что не всё в этом мире потеряно, что тебе хотят добра.

И хотя прошло десятки лет, но ты видишь в памяти протянутые за куском хлеба худые детские руки с мольбой: «Anna mulle ka!" — ты понимаешь, что обязан жить и что-то делать, чтобы это не повторилось.

Бог с ним. Когда-то люди всё-таки научатся понимать друг друга. И может быть даже себя.

**Блины**

— Правление большинства — это мерзость. Большинство тыкало большим пальцем вниз и поверженного гладиатора дорезали клинком. Потом выло от восторга, когда жгли ведьм или книги, большинство стояло шеренгами с факелами и истово орало «Хайль» или беззаветно проклинало мировое зло и голосовало на погибель врагам народа.

Ты извини, Паша, что так пафосно. Уж больно противно, когда прикрываются волей большинства. Разве человек жесток от природы? Разве он средоточие пороков?

Ой, Паша! Какую болячку ты затронул! Так хочется всю душу излить, наболело. Правда, догадываюсь, что в итоге ничего особо умного не скажу. Я ведь тоже торопыга, как и ты. Так не хочется ждать, тем более чего-то очень глобального, что от тебя почти не зависит. Но охота, чтоб сейчас и много. Даже по мелочам, правда? Вот чтобы весна, например, была благоуханной и трепетной, чтобы лето жаркое, море тёплое, дожди редкие но сильные, чтоб любовь страстная и нежная, конечно, взаимная и навсегда, чтоб жить долго и не болеть. Девчонки сейчас, разумеется, добавят про красоту и путешествия, мама Лида — про детей.

— Вот, девочки! Смотрите, как нас тихонечко в сторону отодвинули. Значит мужикам про глобальные проблемы, а нам — платьица-цветочки и пелёнки. Вот ты и показал себя, Коленька, деспотом и ретроградом, который во имя семьи и будущего мира, детей, только сам вещает, а меньшинство совсем не слышит. Придётся нам, девочки, устанавливать матриархат.

Ты про блины девочкам рассказывал? Где блины?

Нет, Пашенька! Дед твой тут, конечно, прав. Большинство большинством, но если правду тех, кого меньше, не слышат или ещё хуже, на первое место подсовывается ложный враг, или полуправда, а потом вроде большинство так решило...

— Пап, а блины ты и вправду обещал, да Лен? Ты такой чудненький, папа, самый лучший из пап. Правда, твой папа Лёша, Лен, тоже хорош. Он у тебя красивый...

— Так. Блинов хотят, а красивым назвать не хотят. По-моему, у нас и мука закончилась.

— Коля, на нижней полке слева.

— Будто я не знаю. Ладно, я и сам, вроде, захотел. А печь блины вы не умеете!

— Знаешь, дед, я, пожалуй, с тобой пойду. Похоже, что блины — это фирменное по мужской части. А, кроме того, я сейчас тебе докажу!

— Не докажешь.

— Докажу!

— Не докажешь.

— Докажу! Ох, и умеешь же ты заводить, дед.

— Ну вот. Мужчины наши пошли трудиться, а мы пока на стол соберём. Только посидим ещё чуть-чуть.

Тихо-то как.

А вы знаете, девочки, мне Оля про Пашку с Мишкой много рассказывала. А про Пашку... Раз Оля его спать днём маленького укладывала, а он не лежит, глаза дерёт и крутится волчком. Она его и спрашивает: «Ты в садике спишь? Чего молчишь? Все же спят». А он насупился, помолчал, а потом отвечает: «А я не хочу, как все».

Так как же большинство может решать за всех? Ведь мы все такие разные. Ну, пошли, пошли.

С чем блины будем, с вареньем или сметаной?

— Тетя Лида! А у нас вроде ещё и мороженое осталось...

**Память**

Тяжёлая сочная зелень, тихие дороги, лёгкие волны, почти не покачивающие паром, белые кувшинки, обыкновенно лежащие на поверхности озерца перед уютными домиками туристов, копчёная рыба, проданная женщиной в домашнем халате почти в 23.00 после лёгкого стука в её дверь, чуть с запашком пресности тёплая вода пруда, дикие утки, подплывающие к берегу и ждущие, мол, чего не подкинул вкуснятины, обрывы, камни, море — чудо и радость этой земли, вдруг почти скрылись за замшелыми и нарочито забытыми десятками плит с именами по двое, по трое и стелой, когда-то почитаемого монумента.

Заброшенность места и ясно читаемое желание имеющих власть вычеркнуть напрочь эти несколько соток из памяти, не давали покоя.

Все разъехались. Охи и восторги от поездки остались позади.

Николай Петрович вдруг осунулся, и надолго замолчал, глядя невидящими глазами в стену комнаты.

— Ну, ты чего, Коля? Ну, чего ты себя растревожил? Разве тебе или мне будет лучше, если начнёшь пилюли глотать и зароешься в уголок, как медведь на зимовку? Разве от этого будет тебе легче? И притом, ведь прекрасно знаешь, что травишь душу зря, ведь нет этой черноты, которую себе представил. И разве обида способна создать что-то доброе? Ты же всё это мне тыщу раз говорил. Мне ведь тоже плохо, когда плиты разбитые вижу

даже с фамилиями здешними. Когда указатели аккуратненькие висят, да только не туда, где наши отцы честно стояли, где обыкновенные солдаты своей кровью платили за нашу жизнь. Ты ведь у камней этих постоял, которые помнят. Ты ведь душой своей туда прикоснулся, помянул свято, как хотел. И кто тебе дорогу показал? Бабка с хутора, которая по-русски не понимает, а всё тебе рассказала и глядела на тебя по-другому. И Юхану своему ты будешь рассказывать, не очень выбирая слова, а потом по рюмке выпьете за их память. А после ты и его отца помянешь, на другой стороне воевавшего, а потом рядом с тобой пахавшего на одном заводе двадцать лет с гаком. Помнишь, как вы 9 мая отмечали, за всех погибших пили, за солдатскую честь, чтобы войны не было никогда, чтобы честными глазами друг в друга смотреть? Ты же мне всё это рассказывал. Паны дерутся — у холопов чубы летят с головами вместе. А паны наши русские ничуть не лучше всех других. Вот только обидно, что, чем выше они забираются, тем совести в них меньше, да больше грехов своих на безгрешных свалить норовят.

Ну, давай сюда свою глупую мальчишескую голову. Не ерошись, будет. Сильный ты, сильный. И глупости делать не будешь. И мстить никому не станешь. И проглотишь не потому, что ты не прав, а потому, что кто-то должен прекратить эту эстафету ненависти и «благородной» мести. Вот люди тысячи лет мстят, остановиться не могут. Наверно, нам надо с себя начинать. Что ж делать? Раз выбрали такой путь, значит пойдём.

— Ты прости меня, Лида.

Знаешь, а я начал думать, что надо нам лекцию организовать где-нибудь на высшем уровне, чтобы ты могла поучить наших премьеров да президентов уму-разуму, а то они совсем разболтались — говорят одно, а делают совсем другое.

— Вот я с тебя и начну! А потом и до президентов доберусь.

Ну, всё?

— Всё.

**Памятник**

Да, давненько не было так погано. И дело даже не в том, что Памятник скинули. Может, его и надо было оттуда убрать, чтобы страсти не разогревать, а вот как это сделали — жуть! Стыдоба!

Ну, понятно, когда та дама пожилая на мальчишку в автобусе окрысилась, мол, вы, русские, только воевать горазды. Мальчишка ничего не поймёт, а она аж слюной брызжет от ненависти. Глупый, в войну играл.

А автобус полный молчит, не знают люди, как реагировать.

Наверно у этой женщины погиб кто-то на войне, или в репрессиях, и она молчала всю жизнь, а тут вырвалось. Как не понять? Может, ей потом самой стыдно будет — ведь не мальчишка же виноват.

А вот тут — стыдоба. Это ведь не женщина, заведённая эмоциями и молчанием. Люди то молодые, образованные, умные. Да и от старой власти кое-что получившие в своё время. Откреститься хотят? И свою обиду на тех, кто что-то вытворял пятьдесят лет назад, вываливать на тех, кто честно живёт на этой земле? Потому что за них заступиться некому? Стыдно.

Ну а эти тоже хороши — витрины бить и магазины грабить. Хорошо ещё, что Ниночкин салон чуть в сторонке, обошлось.

Зачем по улице этой прошёлся? Витрины заколочены, стёкла на тротуаре и внутри. Жутко.

Ну, не верю, что всё произошло спонтанно. Эти-то уж точно задумали и команды отдали, кому им надо, задолго — памятники такие в пять минут не

переносят. Ложь всё это про неожиданность, «вызванную действиями толпы». Вот то, что толпу подготовили, в это веришь. Может правду говорят, что полицейские автобусы пачками повозили каких-то странных субъектов и высаживали неподалёку накануне? Кто ж это теперь узнает? Если правда — никто не проболтается, ведь больно серьёзно это, жизнью пахнет.

А парня убили. Найдут убийцу? Ой, не найдут. Кто ж за убийство оккупантов сажать будет? За это надо орден давать.

Вот до чего игрушки во врагов довели. Неужели эти …, даже назвать как-то их не умею, не понимают, что калечат свой народ. Ведь даже если нас здесь никого не будет, даже если с лица земли уйдём, ни России, ни русскому народу исчезновением это не грозит. А если здешние уверуют в свою безгрешность и право мстить — не будет у них будущего. Жаль людей.

Да нет. Всех оболванить никому не удаётся. Время вылечит.

А Тийт с Яаном странно со мной говорили. На дорожке у дачи подошли сами, чего раньше не было, и на разные отвлечённые темы заводят. А в глаза не глядят, видно, что им стыдно. Вот тем, кто решения идиотские принимал, тем не стыдно. А вот этим стыдно. Хорошо ещё, что догадался «не заметить». Поговорили нормально, руки пожали. Чего нам делить? Это наши боссы с двух сторон что-то делят и пыжатся. С одной стороны, будто моськи на слона. Что отрабатывают? А эти... Величаво и по барски. И после их благородного наказания зарвавшихся вот этих, совсем хреново становится. Уж точно — не так делается, не по-людски!

Николай Петрович размахивал рукой, шагал, не глядя, наступая на липкую грязь после дождя, не обращая внимания на брызги жижи из-под колёс грузовиков.

Господи! Всех бы этих политиков поганой метлой — наших, ваших, ихних! Достали!

**Размышление о главном**

Никогда не задумывался, почему люди начинают размышлять о смерти? И когда они это делают?

Причём, пока не очень интересует жизненный этап, когда некто тяжко болен и дни его сокращаются стремительно. Тут уж, думай не думай — скорее всего, стоит уже готовиться практически. И совсем не о том, когда некто круто рискует и всё может закончиться мгновением неверного движения.

Думается о другом. О том состоянии духа, когда ни с того ни с сего, в полном здравии и расцвете сил приходят мысли о неизбежности, и тогда что? Почему? Откровенный страх, слабость или что-то другое? Или формула давняя, «Memento mori», — она что, о страхе за грехи и о дороге в храм с беспрестанной мольбой о прощении?

Да, замечательный вырисовывается вариант: живи на полную катушку, не обращая внимания на какие-то выработанные людьми правила морали, законы. Наслаждайся, имея центром вселенной себя драгоценного, а уж когда здоровье не позволит — кайся, молись и Бог тебя простит. Даже поговорка на эту тему имеется: «Не согрешишь — не покаешься». А ещё лозунг всепрощающий: один раз живём.

Вот и я про тоже. Ведь живём мы действительно только один раз. Говорят, душа бессмертна. Может и так, только ничего это не меняет, ведь в этой самой шкуре, с этим обликом, временем жития и прочими обстоятельствами — всего один раз на свете. И никакая реинкарнация не поможет. Что

сделал ты сам, то и есть. Если натворишь глупостей каких, или ошибок, только сам и можешь исправить, переродившись при жизни не ради страха, букв в книгах написанных, мнению людей. Вот сам, куда повернул, куда жизнь настроил, то и получилось. Можешь, конечно, другим пыль в глаза пустить. Даже мерзкие злодеи притворяются порядочными и сходит им это в течение многих лет, но себя-то не обманешь. Что ты есть — то и есть. Что сделал, то и получил. И жизнь целая у человека есть, чтобы сделать что-то достойное, но только одна и только до того момента, когда её уже не будет. И поэтому надо успеть.

И если у человека нет каких-то особых талантов, может тогда он и не сумеет сделать что-то, что другим заметно. Но уж поменьше гадостей натворить себе, близким и другим людям, это уж каждый может. И пунктиком ему, толчком и точкой отсчёта, может, да и наверняка становится вот это самое — осознание, что жизненный путь его конечен. Выходит, что мысль о смерти, просто так мысль, вне связи с болезнями и экстримом — самая что ни на есть жизнеутверждающая штуковина.

Если понял, что должен успеть в чём-то достойном, и делаешь, что выбрал, пусть даже ошибаясь и глупости вытворяя, значит, не зря прожил. Значит, радоваться можешь искренно и честно какому-то слову своему, самому маленькому делу, пусть даже это один забитый гвоздь или поддержка кого-то в беде или даже тому, что букашку малую не раздавил.

А уж справился ты или нет с заданием своим жизненным — это и Бог определит, и люди каким-то образом узнают, да и сам по большому счёту осознаешь. Ведь себя не проведёшь.

А память о тебе? Вот это и не угадаешь. Да и не надо. Всё равно она, память эта, когда-то закончится, даже о самых замечательных людях. Так чего беспокоиться? Что сделал, то сделал.

**Переход**

О благодатном времени перехода из почти коммунизма в торжество капитализма вспоминать совершенно не хотелось. Да и что вспоминать? То, как рушились последние иллюзии? Вера в громко провозглашённые идеалы? Надежда на здравый смысл общества?..

Николай Петрович загонял память об этих месяцах и годах куда-то очень далеко, в глубокое подземелье и накрывал тяжеленной крышкой, а ещё придавливал сверху чем-то неимоверно массивным и неподъёмным. Чего вспоминать-то? Как гнила мечта всего прогрессивного человечества в свои последние годы, беспрестанно похмеляясь в борьбе с алкоголизмом, меняя одного полудвигающегося вождя на другого, создавая бесконечные дефициты на самое обыкновенное и нужное, плодя талоны на муку, сахар, мыло... Бррр! Это в мирное-то время! Наконец появился ещё один вождь с ясным ликом и красивым набором слов. И всё завертелось, убыстряясь и ускоряясь, выкидывая по сторонам устаревшее добро, стремительно выстраивая всех в последний решительный штурм, который завершился августовским утром под рёв моторов танков и самолётов, под чеканные слова команд из цветного ящика, фальшь крымского затворства и откровенное сверху вниз барское: «Молчать, быдло! Смирно!»

И так наивно верилось, что улыбающиеся лица танкистов из открытых люков танков, крепко держащиеся друг за друга руки в единой людской цепи на сотни вёрст вдоль Балтийского моря, тысячи поющих голосов, народный витий на броне, смелые слова правды — всё это даст расцвет нового, сквозь гниль и мерзость.

Ага! Кабы так!

Откуда-то повылезали из щелей... Даже говорить неохота.

Николай Петрович вспомнил какой-то старый советский фильм, в котором тоже говорили про свет, свободу и разрушенные тюрьмы. И как венец свободы, появлялась кодла освободившихся из рабства мальчиков, в которой выделялся худой кретинистого вида с бычком в зубах и щемящей песенкой: «Мне милка ноги целовала, как шальная...»

И это было безумно смешно, тем более, что играл ублюдка великолепный Эраст Гарин, мастер шаржа и гротеска.

Но сейчас-то всё всерьёз!

И дело даже не в том, что развалился единый и нерушимый, а зарплата тогда виделась лишь цифрой в неофициальной ведомости, а реально хватало не увеличивать сильно долг за квартиру и не очень задерживая отдавать срочные «взаймы» у более удачливых знакомых и друзей. А ещё на один бульонный кубик и два куска хлеба в обед на работе. Хреново было то, что теоретически народное достояние, незримо превращаемое до того в реальный коммунизм для горстки, теперь нагло и откровенно хапалось братвой всех видов, двигая по морде скромным и совестливым, ради великой цели — ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ! Вот эта самая великая цель — ВОЗДАСТ (Боже, как до боли знакомо!) каждому по его реальному вкладу. Нам, дуракам наивным, казалось, что реализация воздания по заслугам подразумевает — кто что сделал. Оказалось — кто что хапнул. И теперь задачей новых гуманитариев стало: тонкая формулировка всего этого в смысле неизбежности для прогресса человечества, в смысле высокого гуманизма хапающих и их глубокой внутренней драмы от того, что брать себе они вынуждены исключительно ради грядущего изобилия всех.

Дурак! Трижды дурак, — вспоминал Николай Петрович, — Это мне надо было поверить тогда, что честно глядевший мне в глаза работник аппарата ЦК комсомола, предложивший работу у них, говорит правду, что квартиры они получают в общем порядке. И смотрел потом, как на идиота, когда я отказался. Хотя, может он и был прав. Порядок, очевидно, и был общим, правда, не для всех остальных.

Чего изменилось? То что было скрытым тогда, стало явным для всех? Рука руку моет, из корпоративного обихода закрытая тусовка процветающего коммунизма для избранных стала достоянием СМИ с единой целью: обгадить конкурента, чтобы на благородстве въехать в уютную элиту новых избранных? Чего нового? Названья? Лозунги? Мораль?

Порядочность — есть порядочность. Честь — это честь. Совесть остаётся таковой всегда.

Никакого эволюционного изменения не произошло. Хорошо, конечно, что умерла та ложь. Зато родилась новая. Фифти-фифти. Так чего вспоминать?

Хорошо, что не поддался тогда. Хорошо, что ничего не натворил сегодня. Тяжеловато, конечно, обыкновенному человеку и проблем хватает. Но жить в мире с собственной совестью всё-таки лучше.

**Наташа**

Наташе действительно было хорошо. И если бы ей когда-то сказали, что она будет только медсестрой и никогда больше после возвращения в эту специальность, выбранную когда-то почти случайно, не захочет уйти из неё, она бы не поверила. Ещё бы! Все книги, которые она читала в детстве, звали куда-то далеко. Они хоть ничего и не говорили конкретного, чем занимаются

возвышенные романтические героини между поисками принца и разочарованиями, но представлялись эти занятия чрезвычайно загадочными и недоступными обыкновенным девчонкам. И Наташа стремилась именно туда, в заоблачность на розовых парусах мечты. А оказалась среди бинтов, шприцев, загадочных процедур, скрипящих суставов, гипертонии, латинских названий и была счастлива. И своим домом почти на берегу моря была довольна. И Балтика, она хоть не очень часто дарит жару и палящее солнце, но Наташе хватало этих нескольких дней в году. Оказывается, она совсем не любила валяться на пляже, предпочитая после работы и в выходные что-нибудь делать в своём саду или гулять у моря. И своей машиной пользовалась, если они с Ленусиком ездили на Алёшины концерты в столицу, а заодно прогуляться по старому городу или вдруг хотелось махнуть в Ригу или Каунас.

Первое время после рождения дочки Николай Петрович приезжал пару раз в месяц и никак не мог приспособиться к своему новому положению. Он чего-то конфузился, но старался ни словом ни даже взглядом помешать им с Лёшей, сразу отдал Лёшеньке приоритет в общении с Ленусиком. А потом он и с Лидой стал приезжать и тогда, кажется, немного успокоился. А когда Лидочкина походка изменилась и не только её щёки потеряли почти впуклость, но и животик стал приобретать свои новые очертания, Николай Петрович расцвёл. Наташа никогда его таким не видела, он стал спокойным и счастливым и излучал любовь. Казалось, он готов был обнять весь мир.

Ленусик выросла так быстро, кажется, и проблем никаких не было. Иногда Наташа пыталась вспомнить хоть что-нибудь такое и не могла. Ну, корь там, скарлатина и ангина — это, конечно, не в счёт. Какие же это проблемы — болячки и только. И двойки иногда за невыученные уроки — у кого их нет? И первые корявые строчки придуманной любви в тетрадке под подушкой — значит время пришло.

Удивительно легко и свободно Ленусик общалась со своими двумя отцами. Главный, конечно, папа Лёша. Ну а папа Коля... Это же папа Коля! Кто ж его не любит? И Наташа сама его боготворила, как человека, подарившего ей смысл новой жизни и Ленусика. Но вот любовь, оказывается, совсем не за благодарность или что-то очень хорошее в человеке. И совсем не подразумевает общую постель до гроба. И любить, оказывается, можно не одного мужчину, а сразу двух, но только совсем по-разному. И почему это так?

А Лёша... Господи, как бы ей всего не хватало в жизни, если бы они не встретились. А Лёшина гитара запела по-другому после встречи с ней. Она это заметила сразу, но ей казалось, что, может быть, она преувеличивает, ведь такое тоже бывает. Но нет, ей не показалось. Столичные критики и коллеги вскоре заговорили об этом громко и с восторгом, как о взлёте молодого дарования. А Лёша молчал и улыбался.

Но когда состоялся тот первый из уже традиционных фестивалей гитары «Балтийское лето» и хозяйкой фестиваля все увидели Наташу с дочкой, вопросы прекратились. Правда, один жёлтый газетчик как-то спросил Алексея в упор про несоответствие, мол, медсестра — и хозяйка фестиваля. На что Лёша ответил: «А вам этого не понять. Вы потому там и работаете». Но тот понял, покраснел и долго извинялся. Так как история эта хоть и не получила письменную огласку, но в фольклоре распространилась достаточно далеко, больше ничего подобного не повторялось, а Наташу на фестивале встречали, как королеву.

А Наташа даже не захотела хотя бы чуть-чуть подняться по карьере и отказалась от всех предложений директора. А тот, увидев, что вновь

прибывающие солидные клиенты оказывается наслышаны о Наташе и выбрали их санаторий в том числе и поэтому — отстал немедленно, но уж зарплатой не обижал.

Наташа была счастлива потому, что поняла интуитивно — совсем не обязательно гнаться за карьерой, деньгами, столичным городом, шумной жизнью на виду, славой, быть первой в чём-то уникальном, а надо просто найти своё место, где тебе хорошо потому, что оно твоё: твой дом, твой человек рядом, твоя работа, которую ты любишь. И когда твой муж трудится там и так, как ему нравится, и не отказывается от чего-то дорогого ему ради тебя, а просто дарит любовь, и ты для него — продолжение его самого, но не всё в этой жизни, а только часть, может даже маленькая часть по времени и заботам, но именно та часть, без которой его жизнь станет ему чужой. И для тебя — всё то же самое, только чуть нежнее и чуть больше дочке, их дочке, у которой есть ещё один отец — Коля.

Как там они сейчас? Конечно, Ленусику с Дашей и Пашкой совсем не плохо. Представляю, чего они там напридумали. По телефону, естественно, всё не расскажешь, главные разговоры впереди.

Надо обязательно на субботу ничего не планировать, Ленусик будет говорить чуть не до утра, а потом убежит к подружкам, а потом... А потом наступит миг, когда кончится школа, наступит взрослая её жизнь и надо будет отпустить. Жаль, что с Алёшей не получилось ребёночка. Вот всё-таки сказался тот злополучный Славик. Хотя, Господи, ну при чём тут Славик? Надо было как-то по-другому самой.

Тяжело даётся наука.

**Бзик**

Сегодня ужасно хотелось напиться. Нет, не с приятелями. И совсем не так, когда начинаешь по крохотной рюмке коньяку в красивом баре, а горло вдруг сглатывает слюну, пульсирует в висках и вы придвигаетесь друг к другу, а руки смелеют. Тогда последняя бутылка покупается за десять минут до закрытия и идёт по глоточку между уже не робкими касаниями, и вы оба лихорадочно вычисляете, куда бы теперь?

Нет, жадно хотелось напиться одному. Сразу выпить большой бокал чего-нибудь крепкого, а потом следующий и ещё. И отупев от принятого, завыть на какой-то дикой ноте сначала тихонько, а потом до ора.

Господи!

Вот только дряни какой не хотелось. От неё выворачивает такой мерзостью.

Да, и после перепития чем-то благородным всё равно не пошевелиться и подтягивает живот, но хоть нет этого гнусного послевкусия от суррогатного алкоголя.

Ну, почему я не могу это сделать? Ведь хочется страшно!

Наверно мешает бабуля, которая обходила все точки на Марата, Стремянной, Разъезжей, Кузнечном рынке, и возвращалась в кондиции с выпученными глазами и молчащая.

Нет, доброта из неё и тогда не уходила. Её нежные руки ласково касались моего затылка и плеча. Правда, за крепкими словами не приходилось идти в подворотню, там-то были свои игры, но весь русский лексикон исходил из неё без злобы и с какой-то подлинной народностью, без подделки и с весёлой подначкой. Ничего похожего на сегодняшнюю речь юнцов и потаскушек, в котором самое скромное — это «бля».

Но тогда, в Питерской командировке, на бесконечный звонок в дверь открыла её соседка с гордым молчанием на моё «здрасьте», а из комнаты третьей справа ударил в нос стойкий амбре и чуть позже голос почти не человека спросил: «А вы кто такой?»

Именно тогда не смог сделать ничего, кроме клятвы себе — никогда!

Наутро чистенькая и весело жарившая мне блины, она что-то рассказывала, а я домывал и выкидывал, выкидывал, выкидывал...

Но так хочется завыть, а сделать это без сильного подпития совершенно невозможно, ведь люди наверняка подумают: «Ну, вот, ещё один свихнулся».

**О возможности Машины Времени**

Да, это бывает достаточно часто — человек что-то придумывает очень важное и оригинальное, что даёт почти неограниченные возможности. Кажется, ещё один крохотный шаг, и светлое будущее обеспечено. И тут оказывается, то ли в формуле ошибка в двенадцатом знаке после запятой, то ли автор решил, что его творение абсолютно универсально и начал своё хрупкое детище загружать гравием, чтобы засыпать им ямы на подъездной дороге к дому...

Короче, мне казалось, что я рвану на своей Машине уж по крайней мере в Средневековье, или лет так на триста вперёд, но застрял в каком-то полувеке. И нет, чтобы размахнуться так от Белого Дома и тайн разбившегося звездолёта Инопланетян до Тибетских пещер с законспи-рированным консервантом (тс-с-с-сссссс, шёпотом) — генетического кода двенадцатой расы человечества. Так нет! Никак не уйти от, может быть, совсем надоевшего вам Николая Петровича и изредка, его ближайшего окружения. И нет, чтобы пристально изучать глобальные тенденции развития цивилизации и Судьбы Земли, так упёрся в никому неизвестного, может, даже придуманного человека и так — вершочками, вершочками, совсем не углубляясь, и бессовестно не проводя анализ, и не делая глубоких выводов и обобщений.

Так что — впустую.

Оказывается на практике эта самая Машина Времени совершенно не нужна. В прошлом изменить ничего не может, а копаться в своих ошибках и упущенных возможностях, естественно одновременно вырывая последние волосины из своей плеши и посыпая освободившееся место пеплом, мы успешно осуществляем без всяких машин. А будущее может и было бы таким, как можно увидеть, забравшись лет так на тридцать-сорок вперёд (зарываться не стоит, а то увидишь вместо будущего только холмик и камень с полустёртой надписью), но мы так замечательно научились взбрыкивать и совершать нечто непотребное, что колёсики Времени реально приведут куда-нибудь совсем в другое место. Так что — толку никакого. И потому я решил совершенно не морочить голову читателю и отказаться от заявленных великих перспектив.

Но не тут-то было. Как оказалось, человек часто становится заложником собственных решений. И как я ни пыжился сломать или даже взорвать эту треклятую Машину, она выросла в настоящего монстра и начала тыкать меня, как нашкодившего котёнка в наделанную им лужу: «Ну, ты хотел? Так смотри, как бывает то, что не бывает никогда».

Или всё-таки бывает?

**Разговор**

— Слушай, ничего, если я тебя кое-что спрошу? Я никогда этого не спрашивал, да и поводов не было, и мне нравится, как мы с тобой живём, но вот пришло вдруг в голову, и я по себе знаю — не отпустит, пока не выскажусь, может и зря, но не могу иначе: а ты меня не ревнуешь к тому, что было до тебя?

И женат я был столько лет, внуки взрослые, потом в Риточку влюбился безответно, от Наташи дочка растёт, ну, конечно всё это в прошлом, но всё-таки?

— Ничего себе в прошлом. На тебя посмотреть, когда Наташа с Лёшей приезжают или Риточка в кои веки! Да у тебя ничего в прошлое не уходит. Это не про тебя. Ты же весь с ними всегда, ты же их обожаешь, любишь.

Нет, не ревную.

А с тобой ревнивице делать нечего, изведётся. Ревновать — это делить на твоё и моё и ещё чьё-то. А с тобой делить нельзя, с тобой складывать надо или разделять. Вот ты Наташу любишь, и я её люблю. Риточку обожаешь, и я её обожаю. Машу не забыл, и я её помню. Как не помнить? Мы же ничего от себя или в себе не отрезаем, да и не хотим, если уж только совсем поганое и горькое, что я отрезала давно, и ты мне помог.

А вообще, ты — седой мальчишка. Ну как такое у женщины можно спрашивать? Вот возьму и заревную, и буду у тебя выпытывать, а как ты их любил, а что им больше нравилось? А вот твои губы нежно-нежно тут делают и ладонь, а они как? Им тоже так хотелось?

— Лидочка! Я же старый дурень! И ты для меня самая моя родная, и я с тобой младше на эти двадцать лет. И ничего такого с ними не было. И не буду врать, нам тоже было когда-то хорошо, но совсем не так, как с тобой.

И вообще, я жалею. Как-то мы с тобой глупо поступили, вернее — я глупо. Ну, почему только Дашку родили? Я ведь всегда хотел сына, а никак не получалось — одни дочки. Это наверно потому, что я женщин обожаю. А мальчик... Господи! Как я хотел мальчишку! Хоть Пашка с Мишкой ещё как молодцы, но они же внуки. Фамилию не продолжают. Вот дурак! Надо было мне тебя уговорить. Сейчас-то уже поздно, почти стар.

— Ты думаешь?

— Это ты о чём?

— Да так.

— Чего так?

— Ну, ты говоришь, что стар, я и подумала — это так, или не совсем?

— А что? Ты почувствовала, что уже...

— Нет, я о другом.

— О чём другом?

— Да. Мужики бывают удивительно бестолковы.

— Лида, ты так загадочна сейчас.

— А женщина и должна оставаться загадкой.

— А-аа. Вот ты о чём. А то я было подумал...

— Неужели? Дошло наконец.

— Что дошло? Неужели?... Какой же я дурак.

— Согласна.

— Большой дурак.

— Абсолютно согласна.

— И?...

— Шесть недель.

— И... тут нет ошибки? Ой, снова глупый вопрос. Как неожиданно всё. Дай сообразить.

Как-то странно наш разговор начался, а продолжается...

Лида, я конечно уже не молоденький, и болячка у меня появилась некстати, и гарантии никто не даёт. Но если ты решишь, что так и будет — зубами драться за жизнь буду. Выдюжу.

Правда, на мальчика я и не надеюсь, но я вас, женщин...

А ты, Лид! Ты! Вот всё, что у меня есть, хорошая моя!..

— Глупый. Как же я тебя, Коля, люблю.

**Эпилог**

Голос затих.

Он посидел немного молча, не отрывая глаз от последних прочитанных строк. Потом захлопнул толстую тетрадь, исписанную почти неразборчивыми каракулями с помарками, перечёркиваниями и вклеенными листками и посмотрел на слушательниц, сидящих напротив него за столами небольшого читального зала обыкновенной библиотеки: «Ну, вот и всё».

— А что было дальше? — спросила красивая брюнетка, обжигая писателя чуть тревожными карими глазами.

Он пожал плечами и ничего не ответил.

Все засуетились, вручали ему цветы, а он писал ничего не означающие округлые фразы на листках бумаги с не очень качественными копиями своего романа. Теперь можно идти.

Маршрутка неслась вдоль приморского шоссе, будто догоняя тёплое и большое июньское солнце, зависшее над горизонтом перед тем, как нырнуть в море. Почему-то не стал выходить у аккуратной дороги, ведущей к его даче, а проехал дальше до поворота вниз и вышел у большой поляны.

Два дуба, один могучий и зелёный, а другой мёртвый, но не потерявший ни ветки из ещё недавно живой кроны, глядели ему в спину. И верховые лошади из загона, кажется, посматривали на него ревниво и нервно вдыхали воздух. Нет, ему сейчас не сюда.

По тропинке между соснами, мимо маслят и горькушек, заброшенной красивой когда-то дачи со сгнившими занавесками на окнах с заплесневелыми рамами — к обрыву, под которым неухоженный пляж и камни далеко в море. А на той стороне залива — ветряки с медленно вращающимися крыльями, а чуть правее — половина красного, не слепящего диска, решившего купнуться в холодной балтийской воде. Ну, чуть ещё, ещё, ещё... крохотный красный сегментик неслышно булькнул и оставил ждать на берегу высокую стройную фигуру мужчины с лёгкой сединой на висках, который смотрел на зеркало неподвижной воды и видел не только летящих где-то далеко чаек, но и Николая Петровича, Лиду, Наташу, маленьких и вдруг выросших детей, железную дорогу, Олимпиаду, иногда глупую и странную жизнь, и ничего не знал, что же будет со всеми, и с ним самим, но почему-то улыбался открыто и бесконечно счастливо.

Конец

## Михаил Полюга. Божий дар любви последней. Стихи

Полюга Михаил Юрьевич — поэт и прозаик, автор семи книг стихов, пяти книг прозы и книги сказок для детей, член Национального Союза писателей Украины и Союза российских писателей.

Родился 29 марта 1953 года в городе Бердичеве на Украине.

Служил в армии, окончил Харьковский юридический институт, работал на разных должностях в прокуратуре Житомирской области. В 1992 году заочно окончил Литературный институт им. М. Горького в Москве.

В данное время на пенсии.

*Спасибо Михаилу Юрьевичу, тому юному, мятежному, до срока зрелому. Наверное, это он подарил последующим поколениям поэтов-мужчин возможность открыть тайники своих душ. Ведь иначе не донеслись бы до нас элегические волны стихотворений нашего, современного Михаила Юрьевича. В каждой поэтической пьесе Полюги — бесценные открытия постижения самого себя. Нет, еще не итоги, но уже осознание ценности земного бытия. Обаяние поэзии Михаила Полюги в редкой по красоте гармонии мысли и слова.*

*Наталья Борисова*

***x x x***

Сад посажен — и вырос сад.
Сын родился — и вырос сын.
Дом построен — века назад.
Что ж на сердце такая стынь?
Точно все это — мимо рук,
точно все это — с глаз долой.
Мучит каждый случайный звук,
точно звук этот — неживой.
Будто все это создал зря,
на напрасном исходе сил.
Как теперь у нас говорят:
кто об этом тебя просил?!

***x x x***

Нет слаще поздней земляники!
Нет безнадежнее любви,
когда она — в последнем блике
заката, в ягодной крови!

Все, что уходит, напоследок
святым огнем озарено:
и Божий дар любви последней,
и земляничное вино!

Но тем печальнее отрава
горчащих земляничных губ,
когда уж брезжит переправа
и лодочник на берегу…

**x x x**
Будто кто обездолил
или плеснул отравы, –
осенней аэрозолю
горькие пахнут травы.
Запах разбрызган всюду,
въедливый, как лекарство.
День наступает судный, –
Господи, благодарствуй!
Пахнет малиной поздней,
яблоком, сладкой грушей.
Скоро гусиный поезд
нас поманит, где лучше.
Ветер швырнет с разбега
горсть золотых червонцев.
Станет глядеть в прореху
туч запоздалое солнце.
Сыростью вдруг потянет,
плесенью, пенициллином.
Куст золотой увянет,
скользкою станет глина.
И наберется сизым
небо по самому краю.
*Осенью* этот кризис
возраста называют.

***x x x***
Конфеты. Коньяк. Лимон —
на блюдце. Остывший кофе.
Окурок в помаде. Сон —
в зрачках. Равнодушный профиль.

Конфеты. Коньяк. Игра
в любовь. И тщета соблазна.
Окурок в помаде. «Пора!» —
сквозь зубы. И вздох: «Напрасно…»

Лимон — весь в слезах. И дым,
оставленный *им*, витает.
Окурок в помаде. Сын —
когда-нибудь, — вместо рая…

***x x x***
Черт отвернулся, а Бог позабыл:
снова мне нет на земле благодати!
На расстоянье холодных светил –
все, что мне дорого, — будто утратил.

Серая каменность стен и дорог –
вместо стихий; мельтешение будней.
Черт отвернулся, забыл меня Бог.
Все, что мне дорого, — тоже забудет?..

Дети, дорогой своей уходя,
всё отдаляются — жизни навстречу…
Нежность, напрасной тоской бередя,
на незнакомом глаголет наречье…

Трудно даются земные дела,
ну а душа — снова в смуте и грусти...
Все, что содеяно, — дым и зола…
Бог не поверит, а черт не отпустит!

**x x x**
Умерли оба — остался дом.
Все перестроили те, кто въехал,
и стали жить своим чередом
и расставлять по-своему вехи.

Все по-другому: там вырос сад,
где была ягодная поляна,
где всего несколько лет назад
пахло смородиной полупьяной.

А на веранде, где летней порой
пела так сладостно радиола,
ходит в халате какой-то *иной*
и заготавливает разносолы.

Дом приобрел современный вид –
оштукатурен и будто приглажен,
но как-то робко *при них* стоит:
может, чего-то еще прикажут?

**x x x**
Прыгнет синица на подоконник,
стукнет в стекло.
Здесь у меня — лимонник,
здесь у меня тепло.

Мне бы впустить синицу, –
только ведь ей
в лимоннике не прижиться
между ветвей.

Что же стучит, что просит?
Там, за стеклом
листьями сыплет осень.
Может, о том?

Или о том, что снегом
скоро засыплет сад?
Бьет, и стучит с разбега,
точно я виноват.

***x x x***

Прощай, синева, прощай!
Над городом серый смог.
На лицах — зимы печать,
бульвар до костей продрог.
Ни дождь, и ни снег еще –
за ветром наискосок
прозрачная пыль сечет,
сбивает прохожих с ног.
Вдоль луж полоса слюды,
у окон печаль в глазах.
Прощай, синева! И ты,
которая вся в слезах!..
Прощайте! Простите мне
за то, что пришла зима,
за город, за мокрый снег,
сводящий нас всех с ума!
Прощайте! Все — до поры,
и эта зима пройдет:
и наши с тобой миры,
и мокрого снега лёт.

**x x x**

Сын и зять, да третий — я
в гараже буржуйку топим.
Не достанет здесь семья –
далеко сюда им топать.
Здесь убежище мужчин:
стопки, вилки и тарелки
да полдюжины причин,
чтоб сбежать на посиделки.
Коротаем вечер здесь
без ущерба для здоровья:
курица сочла за честь
стать закуской для застолья;
сало с перцем и чеснок,
огурцы — едва из кадки…
Неужели невдомек,
что мужские здесь порядки?
Что такой побег — в крови
у мужского населенья?
Где еще поговорить
нам под водку и соленья?
Где еще сказать словцо,
чтоб завяли чьи-то уши?
Где еще — во все лицо –
воссияют наши души?

**x x x**
Пригашенное состояние –
в ожидании холодов.
Последнее листостояние –
и облетит покров.
Станет светло и голодно –
в глубине души,
точно застыла от холода –
попробуй-ка отдыши;
точно набралась горшего –
более чем могла,
стала меньше горошины,
свернулась в клубок, слегла.

***x x x***
В снегу — ресницы и волосы.
Тишь вымерзла на сто верст.
Ни слова! Порушишь голосом,
что только сейчас стряслось,
что только сейчас содеялось —
прикосновением, взглядом,
дыханием что навеялось
в мгновенье — с тобою рядом.
Ведь после — случится всякое,
а может быть, не случится.
Ты смотришь, взметая зябко
заснеженные ресницы,
в смятенье — тебе не верится,
и жутко, и так нежданно:
довериться? не довериться?
единственный и желанный?..

**x x x**
Волосы пахнут осенним дымом,
руки — горчайшим листом ореха.
Выйду из осени невредимым,
хоть от нее не смогу уехать,

хоть не удастся сбежать от смуты –
листья сгребать и носить в охапке.
Волосы пахнут которые сутки –
видно, напрасно ходил без шапки.

Видно, напрасно свершил такое,
словно у осени в подмастерьях.
Волосы пахнут вечным покоем, –
пеплом и дымом, по крайней мере…

**Василий Геронимус. *GENIUS LOCI*. Роман Киора Янева «Южная Мангазея» (Москва, 2015). Рецензия**

Родился и живу в Москве.

Окончил филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук.

По своим методологическим убеждениям формалист и одновременно — сторонник лингвопоэтики, ищу вербального ядра художественной формы…

В то же время не склонен к фетишизации какой-либо интеллектуальной школы, просто ценю настоящую литературу.

*«Южная Мангазея» Киора Янева публикуется в «Зарубежных задворках» начиная с февраля 2016 года. На сегодняшний день опубликована примерно треть романа в №№ 20, 23 и 24. Продолжение ожидается.*

*Редакция*

## Одушевлённый антураж действия

В мире существуют простые вопросы, на которые трудно, подчас невозможно ответить. Таким является, например, вопрос — что за страна Россия? Он труден, даже порой неразрешим не в силу существования таких стереотипных оборотов, как, например, «загадочная русская душа». Достоевский был убеждён, что дыхание тайны сопровождает гения, во всяком случае, он усматривал непостижимость в Пушкине, которого воспринимал как всемирную величину. Достоевский провозглашал: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него это тайну разгадываем»[i].

Едва ли мы можем к этой максиме Достоевского отнести вообще какие-либо географические величины или прибавить к общечеловеческой максиме о душе Пушкина долю квасного патриотизма. Ведь и Достоевский говорит не о славянской замкнутости, а о *всемирной отзывчивости* пушкинского начала, утверждает: без подписи Пушкина невозможно догадаться, что «Каменного гостя» «написал не испанец»[ii]. А то можно подумать, что душа испанца, француза или немца, да хоть бы и якута — не загадка. Загадка — да ещё какая!

И всё же определить, что такое Россия подчас немыслимо трудно в силу неких этно-культурных и даже элементарно географических причин:

Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас,
Монголов и Европы

— когда-то сказал Блок. И вот решить, что же такое Россия — «золотая дремотная Азия» с её песками, новая Европа (Петербург, возникший в одночасье по геометрическим иноземным образцам) или и вовсе морозная Сибирь

не представляется возможным. В Сибири близ вечной мерзлоты своя особая жизнь…

Осмелимся сказать: не в метафизическом даже смысле, а в административно-территориальном смысле дело обстоит отнюдь не так ясно, как кажется. Ну, речь не идёт о каких-то документах, с ними-то может и всё в порядке, речь идёт всё-таки о некой культурной географии. Предваряя *дремотную Азию* — Москву Есенина, Пушкин писал:

В сей азиатской стороне,
Нас уверяют, жизнь игрушка!
В почтенной кичке, в шушуне
Москва премилая старушка.

Это ж надо! Пушкин заговорил о Москве, а мысленно уехал в Азию. Не подивился ли он сам такой метемпсихозе настолько, что вынужден был в итоге вычеркнуть приведенные строки из беловика *послания Всеволожскому* (откуда цитата)?

Поэтому отнюдь не впадая в сентиментальность или даже в элементарную пошлость, а, напротив, сохраняя умственную трезвость, говоря о России, мы убеждаемся, что предмет разговора поразительно ускользает от нас.

Умом Россию не понять

— прозорливо насмешливо сказал Тютчев. NB! Россия по Тютчеву является поистине загадкой не столько для того, кто склонен к сентиментальной слезе (или слезливости), столько для того, кто наделён рациональным умом. Он-то и спотыкается о факты, рационально не объяснимые!

Да, не всё просто, не всё элементарно понятно с отечественной географией; столь же зигзагообразна, причудлива, порой неправдоподобна история страны. Была ли, например, советская Россия пусть и зловещим продолжением имперского прошлого или же вместе с Октябрём возникло новое небывалое ранее государство, которое прожило семьдесят лет, а затем исчезло с лица Земли как некое опасное наваждение, фантастический мираж?..

Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист

— по иному, но ассоциативно смежному поводу писал Есенин. *Накопытили и пропали…* Царская Россия, советская Россия и Россия постсоветская, нынешняя — это три разные страны или это метаморфозы одного государства? Подобные вопросы порой заводят разум в тупик. В самом деле, каково время и пространство вышеозначенной страны?.. Позволяя себе некоторое литературное хулиганство, игру словами, можно было бы увидеть в означенной триаде признаки гоголевской тройки, направление которой очень трудно, а то даже и невозможно вычислить.

…Видится, что Киор Янев в романе «Южная Мангазея» говорит о России едва ли ни как о некоем инопланетном образовании, воссоздаёт отечественную географию в измерении некоей интересной странности (а вовсе не сентиментальности, которую мы в принципе могли бы ожидать там, где только речь ни заходит о «берёзках» или, чего доброго, «о родных просторах» — предмете и вовсе фантазийном, подходящем для оформления мещанских ковриков, каковые обычно вещаются на стену над кроватью).

Вот что говорит в последней главе романа возлюбленная главного героя Айгуль (или уже вовсе не Айгуль, а её сказочный фантом, её *иное*) своему возлюбленному Яну — едва ли ни центральному лицу произведения (с.217):

— То-то, городской хлопотун, топтал Московию, ядрёную Леду о семи кустодиевсиких холмах словно курицу-несушку! — упорно квохтало лилитино подсознательное. — Чтоб она снесла тебе золотое яйцо с тёплыми, девичьими боками! Всю свою московскость, золотистость и округлость в младой княжне Васильчиковой! — припоминает Айгуль (или вовсе уже и не Айгуль) Яну его донжуанские искания.

Прямая цитата из романа (даже если её не подвергать специальному литературоведческому зондированию) свидетельствует о Московии как о фантастическом существе со своим неповторимым лицом, не сводимым к «берёзкам» и «просторам». Что ж, у Пушкина Москва — *премилая старушка*, а у Янева — *ядрёная Леда*. (Скажут: рецензент сравнивает слишком разные величины, но дудки! — законы-то творчества одни). И так уж ли принципиально, что Москву называет Ледой не сам автор, а персонаж (в данном случае — женский)? Золотистость-то и фантастическая одушевлённость от этого никуда не девается. Впору задаться вопросом, что же такое Россия — страна или по выражению литератора XVIII века Тредиаковского «чудище обло озорно огромно стозевно и лаяй»? Одним из ликов этого одушевлённого нечто в романе становится Москва.

И всё-таки, выражаясь литературоведческим слогом, центральный по смыслу локус романа — это, как ни крути, Южная Мангазея, а не Москва.

Почему Южная Мангазея? Едва ли мы впадём в противоречие с текстом романа, если ответим: любая страна, не обязательно Россия, а хоть бы и благополучная Голландия или благополучная Швейцария является частью (или участком) таинственного вселенского целого. Поэтому — говоря логически последовательно — загадка обитает не только в душе человека, но и в любой географической веси. Сколь бы она ни была ухожена, упорядочена, разумна, освоена цивилизацией, она принадлежит к кругу той вселенной и той галактики (или галактик?), которую… которые едва ли возможно объять умом. И всё-таки (уже вопреки логике) есть на земле странные места — например, Южная Мангазея — где окна во вселенную раскрыты *шире*, чем в других местах. И всё-таки скорей в Юмее (принятое в романе у коренных жителей указанной веси сокращение от Южной Мангазеи) человек может почувствовать себя космическим существом, одушевлённым исчадием вселенной, нежели даже в Москве (не говорим уж о любом европейски благополучном бурге). Не вкладываем, впрочем, в прекрасное слово burg (город) негативных коннотаций.

Юмея это не город. Это рельсы, по которым скользят подвижные составы, степь и странные холмистые образования. Упомянутая Клара Айгуль ощущает их странную притягательную одушевлённость (с.13): «Желая укрыться от тучи, Клара Айгуль барахталась в кустах совершенно непролазного саксаула, сбросившего выпуклую бровку крайнего со степной стороны оврага, пока, наконец, не споткнулась о грязно-белый камень с неясной вязью и что-то под ногами скользнуло и дрогнуло, будто весь, усаженный такими, уже безымянными холмиками, глинистый вал сдвинулся и, как в раскрашенной радугой багдадской шарманке, грянул, цепляя молниевые громы и альтовые струйки своими полустёртыми штырьками, подобными присевшей стайке юниц с прохладными, как кресала, позвонками. Клара Айгуль знала, что это в незапамятные времена присели на землю гурии — ибо их окаменевшие позвонки были резными».

Читатель, вероятно, согласится, что именно в таком краю, каковым является Южная Мангазея, можно взглянуть на мир творчески не предвзято, не только в прямом, но и в переносном смысле почувствовать дыхание светил близко над головой. Юмея Янева имеет некоторое несомненное отношение к России как стране всё-таки фантастической, даже неправдоподобной, и в то же время Янев являет в романе нечто отчётливо противоположное какому-либо квасному патриотизму. И собственно действие романа завязывается не совсем в России, а, быть может, в ещё более странном и невероятном месте — прямо «против неба на земле».

Едва ли поиск такого локуса можно назвать в русской (да и мировой) литературе совершенно беспрецедентным. Прибегая к интертексту, т.е. буквально к «тексту в тексте» (или, точнее, к литературной аллюзии в тексте), Киор Янев фактически называет по фамилии писателя, который любил изображать степные местности, где огромные малонаселённые пространства и близость небес подчас побуждают персонажей биться за своё физическое выживание и одновременно — исступлённо философствовать, буквально наощупь отыскивать смысл жизни.

Вот что ощущает персонаж романа «Южная Мангазея» Ян, когда возвращается поездом из Москвы на далёкую родину (с. 4): «Побагровевшее вещество времени так сдавило пространственную арматуру, что сверху и снизу образовывались проталины, вроде станций столетней одноколейки, где Ян, как вкопанный в помпейский городок, курился мозговым теплом, обкуривал платоновские образы, паровозной золой облетавшие на его нижнюю, мясную марионетку».

Sic! Таинственный хаос природы, некогда воспетый Тютчевым, первозданная дикость малообжитой степи в платоновском дискурсе контрастно сочетается с не менее жёсткими элементами цивилизации — например, с железной дорогой. Вот откуда *платоновские-то образы, которые обкуривает Ян*!..

И всё же, всё же Янев воссоздаёт некоторые ощутимые компоненты платоновского дискурса лишь для того, чтобы оттолкнувшись от них, уйти как можно дальше. Янев преобразовывает платоновскую стилистику, внося в неё по сути своей антиплатоновский смысл.

Как это объяснить?.. Казалось бы, не только ландшафт, но и многие реалии романа являются по своему происхождению вполне платоновскими.

В романе показана и жестокость, свойственная всякой дремучей азиатчине и патриархальности. Напр., показателен следующий вставной эпизод (размером в абзац) (с.21): «Что касается общения с другими людьми, то теперь, после нкведешного цирка с налитыми кровью глазами, её зрачок моментально лопался, выпуская воздушную рессору из уменьшавшихся отражений любого чужого зрачка, отодвигая его владельца в неразличимую даль. Лишь однажды, в местном сельпо, этого не произошло. В тёмных зеркальцах продавщицы, протиравшей бочку с нераскупаемой чёрной икрой (водружённой — во время войны — во многих простых сельпо) не было никакого отражения. Пустыми глазницами уставилась она на умоляющие, настырно являвшиеся глаза под шоферюжьей кепкой. Колхозный лихач в единственном местном грузовичке раздавил её пятого сына Юрика, просто желая попугать на пыльном проселке. Однажды в пригородном поезде Сольмеке услышала и слова мужа продавщицы, хромого старшины толстовского вида, возвращавшегося из фронтового отпуска: — Чтобы ни проклинал нас всю жизнь! Именно поэтому не стали они обвинять этого шофера, именно поэтому являлся он в сельпо мучить мать умоляющим взглядом».

В аспекте патриархальной жестокости показательна и роль Сольмеке, которая находится в плену у тоталитарного государства.

См., напр., стр. 33-34; Сольмеке, отвезённую на далёкий пруд, две надсмотрщицы принуждают к специфическим водным процедурам; она подвергается моральным унижениям и физической боли.

«Кроме покровского, недавно вычищенного дачниками, прочие пруды — простые деревенские, затейливые барские, безутешные фабричные — за двадцать лет соввласти заполнились до краев тиной, утиными глистами, рачками и лягушками, которых промсливы пятилеток постепенно превращали в школьные препараты, дёргавшиеся от электролитных разрядов. По девять часов ежедневно Сольмеке подвергалась травлению, смолению, брожению и прочим атакам агрессивных сред, не говоря уж о биощипах, покусах и поколах, так что лезла кожа, шли лишаи и заходил ум за разум. Под конец плавала вообще без ничего, на радость шофёрскому биноклю, было тяжело и больно натягивать разъеденный купальник на расцвеченную сыпь».

И всё же, полагаю, что платоновские темы Янев решает в антиплатоновском ключе. Он фактически противопоставляет платоновским темам антиплатоновскую рему и пользуется художественным языком Платонова в реализации не свойственного, даже полярного Платонову авторского замысла.

Что же означает вся эта литературная игра с платоновским дискурсом?.. Платонов, даже тогда, когда он выстраивает антиутопию, мыслит в коллективных, родоплеменных параметрах мира, таков, например, рассказ Платонова «Река Потудань», где показан утопизм попытки создать советскую семью. Составляющая антиутопии присутствует и в романе Платонова «Котлован», где показано как жизнь хрупкой девочки приносится в жертву неким тотальным и деструктивным процессам. Вот что любопытно! — если на место (вполне антисоветской по своему сюжетному смыслу) антиутопии Платонова поставить утопию, то она (выражаясь всё же упрощённо и схематично) будет описывать, так сказать, не имманентную жизнь девочки, а дружную социалистическую семью, которая должна (но почему-то не может) о заботиться о девочке — будущем страны.

Киор Янев, подчас, незаметно, но узнаваемо идёт иным путём. Он пишет не о коллективе, а о некоторых неприкаянных личностях на фоне глухонемой вселенной. Поэтому Рашка, если здесь позволительно употребить жаргонный (хулиганский) термин, или, всё-таки точнее Евразия предстаёт у Киора Янева не только в качестве пространственного средоточия авторитарного общественного строя, но также и, может быть, прежде всего в некоем поэтически инопланетном качестве. Она становится ничем иным, как литотой и одновременно метонимией глухонемой вселенной, в которой не столько решаются общественные вопросы, сколько мечутся поэтически неприкаянные личности. Об их по существу неспособности до конца вписаться в коллективный контекст говорят их экзотические, попросту непривычные для русского уха имена — Ян, Сольмеке, Клара Айгуль и другие.

Едва ли, однако, будет точно и достаточно заявить, что антиплатоновсий смысл романа сводится к поэтике имён и редким топонимам. Киор, если так можно выразиться, изнутри взрывает, виртуозно преодолевает собственно платоновский дискурс. …Дело в том, что у Платонова явно или скрыто преобладает патриархальная статика (и «тоска бесконечных равнин»), даже если Платонов описывает движение, он тяготеет к устойчивым конструкциям. У Киора, напротив, едва ли не каждая фраза являет собой ту подвижную, поющую ритмико-синтаксическую конструкцию, которая ознаменована мощным движением синтаксического целого к смысловому ударению. У Платонова Янев заимствует синтаксическую отточенность и чеканность фразы, которая будучи доведена до крайности, узнаваемо граничит с заумью. Однако в противоположность Платонову Янев, во-первых, отчётливо предпочита-

ет повествовательную динамику эпической статике, а во-вторых, вообще создаёт такой тип романа, который по внутренней сути чужд Платонову. …Динамика фразы, энергия фразы у Янева неизбежно приводит к отчётливой внутренней артикуляции и смысловому подчёркиванию главных для фразы слов-мотивов. Тем самым, синтаксис у Янева фактически становится некой совокупностью условий для того, чтобы в романе читалось, а порой и слышалось слово как таковое. Здесь уже угадывается учение футуризма, стихийно творческие рудименты формальной школы в литературоведении и всё то, что находится далеко за пределами платоновского дискурса.

Но не будем чрезмерно увлекаться всевозможными –измами, забывая смысл как таковой. Патриархальной устойчивости платоновского мира у Янева противостоит вселенская неприкаянность. Коллективному, родоплеменному началу Платонова у Янева противостоит личностное начало, личностные искания… Например, один из главных героев романа Ян ищет Эвридику, стремится обрести некий таинственно женственный идеал в огромной империи, тогда как персонажи Платонова, хорошие или плохие, строят всё-таки коллективный улей (хороший или плохой — другой вопрос).

Эти-то кардинальные различия двух писателей по мироощущению и предопределяют, «диктуют» различие двух текстовых форм. Дискурс Платонова, при своей «странности», всё-таки статичен. У Янева, как было сказано, иной дискурс, а значит — иной ландшафт. У Янева вид Юмеи и Москвы по существу даже не степной, как у Платонова (несмотря на всю, казалось бы, азиатчину, спутницу «пустыни мира», т.е. гладкой земной поверхности).

В своей ребристой поверхности, в своей «позвонковой» (а вовсе не гладкой) структуре яневская Юмея неожиданно изоморфна холмистой Москве (при всей, казалось бы, очевидной географической удалённости Москвы от Южной Мангазеи). В противоположность степям и пустошам Платонова приятно странные выпуклости и впадины земные, описанные у Янева, напоминают едва ли ни лунные кратеры. — Это совсем не платоновский ландшафт! Платонов тяготеет всё-таки к равнинам (по которым могут ходить паровозы), а Янев устремлён к романтическому излому таинственной почвы.

Вводя в произведение некоторые платоновские мотивы, Янев прибегает к искусной стилизации и литературной игре. (Едва ли натянуто было бы назвать дискурс — и ландшафт — Янева местами псевдоплатоновским). Его причудливый зигзагообразный характер, его волнообразная ритмика — всё это заставляет вспомнить о том, что Киор Янев является не только писателем, но и кинокритиком. Не случайно Приложение к роману составляют рецензии на фильмы, просмотренные некоторыми из персонажей романа. Sic! В отличии просто от голой степи (даже если её испещряют какие-то выбоины) ландшафт Янева наделён тем визуальным ритмом, который мог бы быть интересен и выразителен на экране, в кадре…

И всё же Янев избегает в своём произведении признаков киноповести. Визуальный ряд у него *адсорбирован стихией речи*. Что это значит? Это значит, что ритм-синтаксис романа буквально изоморфен его ландшафту. О возможности такого изоморфизма a priori свидетельствует коллектив французских лингвистов, в соавторстве создавших труд «Общая риторика». Они пишут: «Синтаксис в целом продолжает занимать промежуточное положение между морфологией, логикой и семантикой. И когда Р. Якобсон […] усматривает в совокупности синтаксических явлений иконический, или изобразительный, аспект, он возвращается к логической концепции структуры предложения. Он показывает, что в большинстве языков порядок слов отражает логику содержания предложения: например, глаголы выстраиваются в соответствии с хронологической последовательностью событий (veni, vidi, vici

‘пришел,’ ‘увидел,’ ‘победил’), субъект занимает доминирующее положение по отношению к объекту, поскольку указывает на «главное действующее лицо сообщения, и т.д.»[iii]. В самом деле, мир текста порой причудливо совпадает с миром в тексте.

Однако нас интересует не абстрактно взятый лингвистический «фокус», но жизнь слова конкретно в синтаксисе Янева. В принципе если говорить о структуре его фразы, о ритмико-синтаксическом контуре оной, то он не просто изобразителен и даже не просто выразительно описателен. Во фразах Янева нередко является то смысловое ударение, к которому направлено синтаксическое целое и которое таинственно изоморфно гребню волны или вершине холма, низовье коего порой ныряет в овраг… Причём смысловые ударения у Янева нередко изоморфны визуальным фигурам подъёма. Петляющая (иногда волнообразная) фраза Янева подчас соответствует причудливому юмейскому ландшафту или же московским холмам.

Вот эта «позвонковая», ступенчатая волнистая структура яневских фраз — совсем не платоновская… И кроме того, она не собственно кинематографическая, поскольку мы видим, что визуальный ряд адсорбирован — по своему преодолён — не только текстом, но и смыслом.

Хочется привести пример из текста (с.5): «[…] Ян зависал над коричневым прудом в зеленоватом облаке сестринского «Шипра», неудобоваримого туманами утренней свежести, куда рога раннего троллейбуса уходили, как в опийный мозг рухнувшего ангела-хранителя, так что затылок сонного пассажира всегда гальванизировался какой-нибудь незнакомкой, Эвридикой озонного счастья. Ян мечтал, что пойдет в лимитчики-водители или вагоновожатые нарезать искрящиеся круги вокруг воробьиного университета, пропишется на 9-ти колосящихся метрах знойной гербовой Геи на его громоотводном шпиле и будет, балансируя, ходить в гости к прекрасным канатоходкам, вероятно проживающим в геодезических шарах на стальных сталинских высотках». — Что мы здесь видим (или читаем)?.. Петляющая структура московских улиц (и троллейбусных маршрутов) изоморфна петляющему, местами несколько спиралевидному синтаксису. Структура смысловых спадов и подъёмов — верхняя по смыслу точка фразы та, в которой расположена Эвридика — изоморфна визуальной структуре зданий, на вершинах которых обитают одушевлённые объекты устремлений и мыслей Яна. Ритм-синтаксис, согласно которому фразовая интонация автора то повышается, то понижается, изоморфен Москве с её холмами и стальными высотками, вокруг (и поодаль от) которых расположены таинственные низины, впалости, пустыри.

Киор Янев не только обращается в романе к визуальному ряду, но также (выразимся сухим языком литературоведов) наделяет ландшафт подвижными и одушевлёнными свойствами. Повышенная роль изображаемых мест, местностей в романе в принципе родственна поэтике кино, однако, как мы уже выяснили, Янев как бы бродит около означенной поэтики, не переходя в неё, оставаясь верен языку с его таинственными знаковыми конвенциями. Однако сказать о романе «Нет, это не киносценарий!» — не единственное, что хотелось бы проделать в данном случае.

… Речь, мы знаем, живёт всё-таки по иным законам, нежели буквальное изображение натуры, и более того — обладает своей имманентной природой. У Янева она проявляется в том, что и синтаксис не играет доминирующей роли, он лишь создаёт своего рода психолингвистические условия, при которых с особой пронзительностью и ясностью всякий раз звучит ударяемое слово. Например, слова «Эвридика» и «канатоходка» вне авторского контекста и за пределами авторского синтаксиса звучат иначе, нежели в синтаксическом кружеве, кружении Янева (позволяем себе здесь некоторую игру

слов). Итак, синтаксис Янева не самоценен, а вспомогателен по отношению к ударяемому слову — смысловой вершине фразы.

Создать роман принципиально вербальный (даже не синтаксический) — уникальная авторская интенция Янева, которая уводит его окончательно от Платонова не только по содержанию, но и по некой эстетической сути… Дело в том, что при всём своём «изломанном» причудливом синтаксисе, более того, при всём своём экзотическом авторском языке, Платонов по своей сути прозаик — а значит человек не совсем вербальный. Нет смысла здесь ссылаться исключительно на бахтинскую позицию, которая заключается в том, что слово всё-таки наиболее полно живёт и проявляется в стихе. В этом случае пришлось бы заново разграничивать стихи и прозу, которые к тому же, как мы видим, бывают очень разными. Этого всего, пожалуй, не нужно! — Ограничимся простым психолингвистическим экспериментом. Если мы вновь представим себе платоновские реалии — степи, паровозы, одинокие домишки — и др., то все они составляют визуально выразительный семантический ряд и вне языка (куда они помещены волей автора). Случайно ли и то, что по рассказу Платонова «Река Потудань» Сокуров снял фильм?.. У Янева, напротив, при всей его, казалось бы, пейзажной поэтике, слово как таковое играет неожиданно бОльшую роль, нежели у Платонова. В данном случае речь идёт не о результатах Олимпийских состязаний, которые были бы здесь неуместны, попросту излишни, а об авторских установках, эстетических шкалах.

Киор Янев при своём родстве с миром кино, с поэтикой кино — собственно словесник. И потому (в отличие даже от Платонова с его языковыми играми) воссоздаёт не собственно визуальные феномены.

По прямой ассоциации с означенными «не» остаётся задаться неизбежным вопросом: а что такое Юмея, Москва, Россия?.. Это места или состояния? Вопросы означенного толка в принципе приложимы к метафизическим величинам ада и рая. Однако у Киора Янева они то и дело возникают вокруг географических (или точнее мнимо географических) точек и величин. По этому поводу рецензенту хочется не разглагольствовать, а привести примеры из текста романа.

Стр. 23: «Мерцающее пададе с младенцем озарялось сталинским парадизом метроубежища, но после отбоя, вне надышанной призмы соцреализма, наверху, на вещбазарах, площадях, в магазинных полуподвалах, кривилось базарными, площадными, подвальными пассами, о которых сама дева с мокрым горбом себе отчета не давала, двигаясь, как марионетка, пронизанная вместо ниток, потоками испорченной васьковой крови».

*Парадизу* метро по-своему противостоит *шеол* армии, которая грозит Яну исключённому из института (см. упоминание армии как шеола на стр.208).

С.65:

«Она втянула ручки-ножки, чтобы семечкой упасть в сонную подкладку жизни, где живут не люди, а их розовые личинки, еще не выпростанные наружу члены и щупальцы для цеплянья за корни едкой жизни, похожие на расплывы ржавчины с кофейной жестянки с пансионатской кухни, которую с эфирным дребезжанием уволок кошачий, отнюдь не чёрный, но такой, какие люблю — с белой меткой вслед лапкам на грудке, хвост, остальные же девять буколических жизней утащили другие зверьки (суслики?) со звоном тарелок, с кухонными видами стран, стяжавших славу, вольных над жизнью и смертью подданных, ибо жизнь человека, думала она, это нарисованная им страна, Клара Агуйль же жила в начале в гобелене, сотканном её взглядами-спицами-длинными, едкими тенями летучих, неуловимых стран, что вместе с пансионатскими девицами, показавшими ей водяную гадюку в окульском лимане, облетели с неё волчком острых листьев, высушенных степью —

оставляя голую камышинку — исчезающую как стрела, промежуточную девочку, плоти которой едва хватило на эхо, вещество времени».

Неожиданно приходит на ум Евангельская максима: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф.; 6, 21). *Жизнь человека — это нарисованная им страна* — думает Айгуль. Человек как существо космическое полагает некие ценности в пространстве бытия — они-то в конечном счёте и связываются с нарисованными человеком странами.

***

Пространственные смыслы, внутренние центры притяжения (или отталкивания) — вот что живёт и ощущается в романе Янева… Если мы, однако, не хотим заехать слишком далеко в метафизические дебри (и возможно, там заблудиться), то оставаясь в корректных литературоведческих рамках, заметим: как последовательный словесник (а не просто творец сюжетных конструктов) Киор Янев сознательно или полусознательно обращается к тем семиотическим средам, которые объединяют поэзию и прозу (а скажем, не являются специфически романными). Об одной из таких сред хорошо сказал Бибихин: «[…] восторг, экстаз, победа, успех, с ним веянье спасения. Это близко к тому, что имел в виду Новалис: ‘Сказка есть как бы канон поэзии. Всякая поэзия должна быть сказкой’»[iv].

Янев, если мерить его по Бибихину (и Новалису), устремлён к форме романа-сказки. А почему не романа-мифа? Миф не стремится к экзотике и занимательности, словом, к эстетической *сладости*, спутнице вымысла. Например, в Геракле или Илье Муромце — суровых героях есть компонента вымысла (поскольку они не равны биографически конкретным лицам), но нет того, что мы бы отчётливо связали со «сладкими звуками и молитвами». А у Киора Янева романному сюжету сопутствуют сказочные представления о происхождении тех или иных географических весей из таинственных одушевлённых существ или даже о порождении стран из глубин сердца человеческого… Сказочные символы как бы витают над событиями романа и создают его литературно закадровый прасюжет. Иными словами, роман имеет черты сказки для взрослых или сказки, волшебные явления которой обретают живую достоверность в исторически узнаваемых реалиях.

Почему мы, однако, говорим, что ядром, средоточием сказочного начала в романе Янева является *слово как таковое* (а скажем не чудо, понятое как некий «фокус»)?.. Потому что слово является той первичной силой, которая предшествует роману, а также потому, что слово в романе Янева играет если не магическую, то внутренне смыслообразующую роль. — Слово, а не сюжет!..

Слово — это в каком-то смысле форма, единая совокупность знаков на бумаге, весьма туманно связанных с означаемым. Почему же тогда вербальное ядро романа «Южная Мангазея» так бесконечно много значит? Ответ будет обескураживающе прост и одновременно пугающе зыбок: в своей неизбежной многозначности слово несёт в себе тайну бытия; во всяком случае, так дело обстоит в романе Янева. Например, московская Эвридика как женственный идеал — есть нечто таинственное и ускользающее, а потому бесконечное (воплощённое именно в слове!). А скажем, простой сюжетный конструкт, который присутствует в романе, — парню грозит армия (речь идёт, разумеется, о Яне) — есть нечто конечное, хотя вместе с тем трагически узнаваемое, житейски безысходное.

Героям романа «Южная Мангазея», поставленным в те или иные суровые, но простые по описанию житейские ситуации, одновременно присуща космическая тоска, устремление к неким неправдоподобным эйдосам или, проще, к неким иррациональным сущностям. Они неуловимы, однако именно они, как

ни парадоксально, предшествуют сюжету, а главное — иерархически всё-таки стоят над житейскими событиями. Возможно проявляя излишнюю терминологическую смелость и преувеличивая, остаётся заключить, что в романе апофатические стихии порождают из себя катафатические явления. Герои «Южной Мангазеи» вымышляют себе страны и в то же время конкретные географические веси, где обитают герои романа, таят за собой края иные, являются их отдалёнными земными проекциями.

У Киора Янева присутствует некоторая доля пушкинского деизма: географические явления контрастно противоречиво возникают из художественной среды полуслов и теней, из среды ускользающих фантомов. За действием в романе кроется литературно закадровая бессюжетная среда смысла, которая не вытекает из сюжета, а скорее существует в контрапункте с ним.

Придирчивый читатель наверняка возразит: бессюжетные смыслы (авторские идеи) можно обнаружить в любом романе. Неужели их нет в «Шагреневой коже» Бальзака или в «Преступлении и наказании» Достоевского? Неужели их нет в «Отцах и детях» Тургенева?.. О да! к действию, пожалуй, не сводится даже детектив, а не то, что классический роман. Но далеко не во всяком романе персонажам поставлены в соответствие неуловимые и подвижные, но в то же время узнаваемые иррациональные начала, которые — употребим пушкинское выражение — действуют как беззаконные кометы в кругу расчисленном светил. Авторские идеи — да, они имеются в романистике повсюду. Но не во всяком романе, а лишь в романе Янева персонажам поставлены в соответствие *интимно-космические тайны*.

Мне снова справедливо возразят: всякое литературное произведение содержит черты приятной странности (об этом знали немецкие романтики) и жизненной узнаваемости. В частности, Новалис писал: «Искусство приятным образом делать вещи странными, делать их чужими и в то же время знакомыми и притягательными — в этом и состоит романтическая поэтика»[v]. Да, безусловно! Неслучайно и русские формалисты говорят об остранении в искусстве (не только романтическом). Но не во всяком произведении, даже романтическом, сердечно убедительная небывальщина соседствует с житейскими фактами в их пугающей достоверности. Если же вернуться от высших материй на землю, вогнав себя в литературоведческие рамки, выяснится вот что: Янев не разрушает (!) структуру романа посредством сказки — иного жанрового явления. Сказочное начало лишь как бы обволакивает романный сюжет подобно некоторой туманности, сопутствует ему. Этот, если так можно выразиться, квазироманный, до-романный слой произведения заявляет о себе не только в его идеально-космическом фоне (или как сейчас говорят — *ауре*), но и в авторском слове — в вербальном существе романа.

И не всякое произведение, а лишь роман Янева, содержит двуединый семиотический код. Нарочито схематично и упрощённо он мог бы быть описан следующими фразовыми конструкциями: «В некотором царстве, в некотором государстве рос саксаул и были разбросаны по степи древние камни» или «В некотором царстве, в некотором государстве стояли стальные высотки, где обитали прекрасные циркачки».

Итак, вербальное ядро романа исключительно ценно потому, что у истоков романа (при его относительной сюжетной ясности) лежит тайна, живая спутница художественного слова.

## Янев как последователь и продолжатель Белого

Нечего и говорить о том, что опасные и притягательные тайны едва ли положительно волновали сухого эпика Платонова (при всей его литературной

гениальности). Поэтому от Платонова и по совокупности приёмов, и по смыслу Янев узнаваемо переориентируется на Андрея Белого, который, как известно, стремился ритмизировать прозу, тем самым ощутимо размыв границу, отделяющую её от поэзии. (Платонов, как мы знаем, этим последовательно не занимался, несмотря на свои смелые авторские эксперименты с языком).

Создать роман, семиотический код которого будет преимущественно вербальным (а скажем, не собственно смысловым или сюжетным) — та авторская интенция Киора Янева, которая решительно уводит его от Платонова к поэтике так называемой орнаментальной прозы — и, разумеется, не в последнюю очередь к Белому. Достаточно упомянуть, что у Белого, как позднее у Янева, фигурируют достаточно далёкие суховатому эпику Платонову исключительные герои, чтобы не сказать ещё точнее: идеальные сущности или фантастические лица. Чего стоит такой персонаж Белого, как Аполон Аполлонович Аблеухов!

Упрощённо и схематично было бы сказать, что Киор Янев художественно решает платоновские темы в русле Белого, но всё же художественное целое — как на иных примерах учит нас А.Ф. Лосев — не равняется сумме частей. А.Ф. Лосев пишет: «[…] ни одна из трех линий, составляющих треугольник, не есть треугольник, который вовсе не является механической суммой трех линий, он есть нечто единое и нераздельное, вовсе даже не состоящее из каких-то трех предметов»[vi]. Итак, в русле А.Ф. Лосева хочется утверждать, что отдельно взятые приёмы Белого, к которым обращается Янев, или даже риторические выкройки Белого у Янева не говорят о «Южной Мангазее» Киора Янева как о художественном целом. Каковы же его параметры?..

Ну, во-первых, Белый всё-таки культуроцентричен, он описывает такие искусственные по отношению к природе конструкты, как, например, Петербург (см. его одноимённый роман), тогда как Янев в противоположность Белому указывает на фантастический, порой неправдоподобный характер обыденной действительности — например, серой азиатчины. И главное, во-вторых, из отличия Янева от Белого следует не свойственная Белому повествовательная и ритмико-синтаксическая структура романа Киора Янева… Дело в том, что в противоположность Яневу Белый всё-таки стремится расшатать границы романа как жанра, придав ему некое музыкально поэтическое звучание и подчас сведя к минимуму сюжет как таковой. Киор Янев идёт радикально иным путём. Дело даже не в том, что Янев будто бы «закручивает» сюжет, он может «закручивать» может не «закручивать» событийный ряд. Однако у него каждый фразовый рисунок напряжён (=направлен) к художественному целому с его многомерной композиционно-ритмической организацией. И вот это многомерное целое (даже не так уж важно, насколько оно насыщенно сюжетом) сохраняет собственно романную структуру, тогда как Белый со своими ритмами преодолевает роман как таковой. У Белого, если так можно выразится, сменяют друг друга музыкальные фразы, а у Янева является повествовательный объём (!). Фразы в романе Янева относятся к художественному целому приблизительно так, как комнаты и квартиры относятся к зданию как архитектурному целому. Было бы абсурдно говорить, что дом как целое, например, сменяет (!) отдельные квартиры, тогда как у Белого мы имеем дело именно со сменой ритмико-синтаксических единиц (=фаз или звеньев повествования).

Андрей Белый стремится осуществить то, что a priori заявлено в стихах Мандельштама:

Останься пеной, Афродита,
И слово в музыку вернись…

Среда музыки — время, поскольку спутник времени — ритм. Им увлекается Белый (не только в своих стихах и прозе, но и в своих теоретических работах).

Иным путём идёт Янев. Как мы помним, он косвенно защищает пространство от экспансии времени (с.4): «Побагровевшее вещество времени так сдавило пространственную арматуру, что сверху и снизу образовались проталины, вроде станции столетней одноколейки […]». Ну да — одноколейка, в которой есть нечто узкое, искусственное — сестра времени и смерти, а роскошные степи и холмы — первозданные явления пространства. Как видим, Янев отнюдь не торопится следовать за Белым в его литературных играх со стихией времени.

Но, господа, так уж ли мотивирован разговор о времени как среде музыки, куда подчас устремляется и слово и о пространстве как о стихии романа (вспомним огромность Москвы и степи Юмеи в романе Янева)?.. Ведь пространство и время — это всего лишь некоторые ниши или протяжённости, где расположено то-то и то-то! Интересно ли говорить о ящике (о его материи, габаритах), не касаясь того, что в ящике лежит? Можем ли мы с увлечением говорить о телеге (у Пушкина в стихотворении «Телега жизни» *ямщик — седое время*) безотносительно к тому, кто сидит на телеге?

Время и пространство как протяжённости интересны всё же не сами по себе, они интересны как своего рода *формы*, в которые облекается некто или нечто. Поэтому имманентные свойства как времени, так и пространства интересны в романе Янева лишь постольку, поскольку они являются смыслоразличительными. Однако, как говорят, порой окольный путь — самый короткий. Попробуем же подступиться к смыслу, двигаясь текстуальным (=окольным) путём.

О.Э. Мандельштам в работе «Конец романа» говорит о подвижности жанровых границ романа, о его возможном слиянии, например, с биографией человека или даже с общим потоком бытия (в котором биография как бы растворяется). Так говоря о судьбах романа в XIX веке, О.Э. Мандельштам провозглашает: «Роман воспитывал целые поколения, он был эпидемией, общественной модой, школой и религией»[vii]. Из этой тенденции романа как бы выпрыгнуть из своих жанровых границ О.Э. Мандельштам делает недвусмысленное заключение: «Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой стороны, немыслим без интереса к отдельной человеческой судьбе, — фабуле и всему, что ей сопутствует. Кроме того, интерес к психологической мотивировке, — куда так искусно спасался упадочный роман, уже предчувствуя свою погибель, — в корне подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед реальными силами, чья расправа с психологической мотивировкой час от часу становится более жестокой»[viii].

И Белый в соответствии с тенденциями времени (которые Мандельштам отмечает так сказать постфактум) устремляется от жанровых условностей романа в безграничную стихию музыки, едва ли ни к тому первозданному слову, которое предшествует делению литературы на роды и жанры.

Янев сохраняет романную структуру в том смысле, что у него при всей роли вербальной стихии (или скорее благодаря ей), романное целое не равняется совокупности частей (а значит, сохраняет самодостаточность). Эта странная, на первый взгляд, дефиниция требует некоторого пояснения. Отчасти даже вопреки Мандельштаму заметим: биография — одно из бесчисленных явлений, которые могут быть изображены в романе, однако распад романного жанра едва ли может происходить или не происходить в силу отсутствия/наличия каких-то романных тем. Говорить об этом также затрудни-

тельно, как утверждать, что какие-то явления, означенные в языке угрожают своим существованием самому языку (означаемое будто бы грозит означающему). То же самое можно выразить гораздо проще: жанровое существо романа не есть тематическая структура — та или иная. Что же тогда является скрепляющим началом для романа как многофигурной композиции (со множеством сюжетных линий)? Ещё проще поставим вопрос: за счёт чего она не распадается у Янева? — Возможный ответ будет уклончиво трояким. Во-первых, роман может быть потенциально эклектичным и даже калейдоскопическим, распадаться на новеллы или иные разрозненные единицы, связанные лишь пунктирно (как это происходит, например, в некоторых длинных вещах Сорокина — в «Норме» и некоторых других). Во-вторых, роман может иметь единую сюжетную основу, которая связывает множество действующих лиц (таков, например, роман-детектив даже независимо от автора). В-третьих же, можно помыслить нечто, что свяжет воедино множество сюжетных линий, мест действия и множество персонажей. У Киора Янева реализуется именно эта третья возможность романа. Многочисленные эпизоды и события, не связанные между собой сюжетно, направлены к общему (=центральному) смыслу произведения, который не вытекает из отдельных фрагментов произведения, но объединяет их. Говоря же менее абстрактно и обращаясь к тексту, остаётся заметить, что волнообразная структура фраз Янева изоморфна и не равна некоему кульминационному смыслу «Южной Мангазеи». Sic! У каждой или почти каждой фразы Янева имеется некоторая смысловая кульминация, которая изоморфна и вместе с тем не равна смысловой кульминации романного целого.

Эту кажущуюся заумь проясняет, однако, уже приведенный выше пример с домом и квартирами. Дом как идеальный конструкт или даже как элементарное понятие (а не только как физическая постройка) существует потому, что не сводится к совокупности квартир и комнат (иначе он по смыслу не был бы единым домом, а был бы просто набором каких-то многочисленных помещений). Так же и лес остаётся лесом, если он не сводится к совокупности деревьев (несёт в себе что-то помимо просто деревьев, хотя бы и растущих во множестве). У дома должен быть какой-то смысл вне отдельных квартир, а у леса — вне собрания деревьев. А вот в романе, если он многофигурный, полисемантический и многослойный по сюжету, ожидается нечто, что сводило бы воедино все указанные эклектические множества.

Каково же это таинственное нечто в романе Янева?.. Роман Янева как море не равняется совокупности фраз-волн и в то же время как бы следует, вытекает из означенной совокупности. Бушующее море немыслимо без волн и не сводимо к ним (иначе оно было бы не морем, а просто множеством волн). Проясняя все эти метафоры и силлогизмы текстуально, хочется заметить вот что. Во-первых, повторяемые (или сходные) эпизоды времени — например, повторяемые поиски Яном московской Эвридики, повторяемые любовные коллизии неизбежно приобретают черты регулярности, статики. И значит, время в своей множественности как бы спрессовывается в пространство (статика времени). Во-вторых, естественно ожидать, что в этом своём новом, как бы застывшем, пространственно упорядоченном качестве время бытия в целом очень отлично от времени частных житейских эпизодов. В-третьих же хочется сказать, что эти различия являются смыслоразличительными.

Почему же словно остановившееся время по смыслу должно отличаться от некоего сиюминутного состояния мира?.. Потому что смыслы эпизодов романа приобретают новое качество тогда, когда является благородная статика

целого. Частные смыслы романа не равняются общему смыслу, но направлены к нему.

Взыскательный читатель заметит: откуда же эта устремлённость частей к целому, если ранее была заявлена эклектика? Откуда же тогда у Янева является Единое?.. Ответ на это неизбежное недоумение заключается в том, что в романе есть некие смысловые константы или универсалии, которые в самом деле не вытекают из отдельных эпизодов, но собирают и проясняют их. Если так можно выразиться, общее в романе фокусирует частное, а не только вырисовывается из повествовательных мелочей. Например, на локальном (сюжетном) уровне существование женщин-птиц, приносящих яйца, из которых за двадцать лет вылупляются удивительные дети, так уж напрямую не связано с путями Яна к московской Эвридике. Однако целое проясняет и внутренне фокусирует причудливые части (как бы превращает деревья в лес или квартиры в единое здание): мы говорим о том, что у каждого из центральных персонажей романа есть и своя тайная прародина, и своя планида, и даже своя иррациональная цель. Тогда становится понятно, что общего у Яна и у женщин-птиц.

Если же позволить себе чуточку патриархальный взгляд на вещи, то главным лицом романа является всё-таки Ян хотя бы потому, что он более деятелен (хотя бы и абстрактно деятелен), тогда как женщины-птицы более созерцательны. Он всё-таки ищет, пусть ищет туманного женственного идеала, а они знай себе — высиживают одушевлённые фантомы (хоть и невероятно страдают).

Итак, одна из центральных внутренних коллизий романа — поиски идеальной возлюбленной, которые ведёт Ян. В контексте космических завихрений и немыслимых маршрутов Яна являются и судьбы женщин-птиц. К чему они приводят, кто из персонажей романа что обретает (или не обретает) — об этом в следующей главке.

***

А здесь — маленький формальный постскриптум. Завершая формальный же разговор о литературных влияниях Платонова или Белого на Янева, менее всего хотелось бы сводить весь этот разговор просто к показу того, как Янев успешно отмежёвывается от тех или иных литературных влияний. Почему? Да потому что такой разговор был бы изначально несколько абсурдным. С таким же успехом можно было бы заявить, что влияние на меня моего соседа по лестничной клетке или влияние на меня людского коллектива заключается в том, что я, как и многие люди, ношу ботинки. Так что же мне покрасить ботинки в жёлтый цвет или начать ходить босым, чтобы от других отличаться? Ясно, однако, что моя личность, если она существует, проявляется (или скорее тайно существует) как раз на контрастном фоне общепринятой нормы и благодаря ей.

По этой же причине и разговор о литературном генезисе романа Янева не хочется вести в каком-то упрощённо сравнительном ключе. Понятно, что литературный процесс, литературная традиция, так или иначе, едины. И в контрастном отталкивании от этого как бы общеобязательного фона являются те или иные персоналии в литературе. Да, под таким двуединым углом зрения остаётся в общем вкратце повторить всё сказанное выше. Янев являет новый и по сути антиплатоновский взгляд на типичные платоновские реалии, создаёт антиплатоновский роман. На путях преодоления Платонова (извиняюсь за филологический сленг) Киор Янев переживает экзистенциальную (и литературно личностную) встречу с Белым. И не равняется Белому. Белый вос-

создаёт ритм эпохи, внутренний пульс личности, внутреннюю музыку жизни. А Янев воссоздаёт те таинственные метафизические константы бытия, которые связуют воедино многие подробности и эпизоды быстротекущей жизни. У Белого структура музыкально-синкретическая (время пространства), а у Янева — структура глубинно романная (пространство времени).

Если же вернуться к примеру с ботинками, то вышеозначенные глубинные кардинальные различия между Яневым и Платоновым или Яневым и Белым являются не как различия каких-то текстовых форм или приёмов, а скорее, быть может, как различия авторских контекстов, авторских интенций, авторских энергий. Словом, разные писательские личности могут облекаться в сходные текстуальные формы. И различия их мы узнаём не по каким-то формальным признакам типа жёлтых ботинок, а по глубинным симптомам.

Но вот если всё-таки придерживаться текстуальных параметров произведения (его семантики, может быть, внутренней формы Потебни), то остаётся вкратце резюмировать всё вышесказанное. Уникальность Киора Янева как писателя заключается в том, что он создал роман, вербальный по своей внутренней сути, по своему художественному ядру. По одну сторону от Янева стоит Белый, который увлекшись вербальными, подчас даже риторическими поисками, умело размывает границы романа. По другую сторону от Янева — Платонов, один из творцов современного романа, более того, человек искусно вербальный. А всё-таки Янев не совпадает с Платоновым не только по мироощущению, но и по типу текста. Да, выражаясь суконным языком старых времён, будет справедливо сказать, что «Платонов — большой мастер слова». Но вот в чём дело! — Платонов по своей корневой сути прозаик, а не поэт; он мастерски, даже виртуозно владеет словом, но слово у Платонова играет не центральную, а вспомогательную, инструментальную роль. Слово у Платонова — как облицовочный материал... Платонов не поклоняется слову в том смысле, в каком служил языку Бродский, и не увлекается словом в том смысле, в каком ранее пьянела речью Цветаева:

Поэт издалека заводит речь,
Поэта далеко заводит речь…

Янев — первый, кто создаёт вербальную прозу, кто служит Языку, оставаясь при этом в классических параметрах классического романа, более того, заново выстраивая эти параметры с помощью слова.

Взыскательный читатель возразит: это также невозможно, как квадратный круг, если было заявлено, что проза — искусство не совсем вербальное. Ну что ж, скромный автор этой рецензии пытался показать, как живёт слово в романе Янева, но согласится со взыскательным читателем в одном: невозможно всё объяснить. А кто сказал, что в художественном тексте нет тайны? У Киора Янева она не только присутствует, но составляет внутренний центр произведения, его ценностное поле.

А теперь — с осторожностью приблизимся к тайне, сдвинемся немножко от текста к смыслу.

## **Южная Мангазея как роман-катастрофа**

«Девичий дневник»

Глава романа, которая называется «Девичий дневник», стоит в произведении особняком (хотя бы уже потому, что в данном конкретном случае повествование ведёт не автор, а персонаж). Литературовед назвал бы эту

часть романа интертекстом (буквально «текст в тексте»), философ, возможно сказал бы об интроспекции (=о реконструкции сознания).

Нам же остаётся только внутренне поаплодировать Киору Янву, удивившись глубине его дара проникать в женское сознание, а также остроумно, виртуозно, изящно воссоздавать особый девичий дискурс. На ум приходит только один типологически подобный литературный пример — пушкинский «Роман в письмах», где воссоздана переписка двух барышень. — Не надо объяснять, что письмо и дневник относятся к одному кругу явлений эпистолярного толка.

Впечатляет и авторский ход, формалисты бы сказали, авторский приём, посредством которого дневник Черенковой (фамилия девушки) сообщается с романным целым. Переживания, впечатления и мысли Черенковой — едва ли не центральное, едва ли вообще не единственное, что проясняет романную катастрофу (или одну из таких катастроф).

Последуем же за событиями… Вчитаемся в девичий дневник. Не в нём ли ядро последующего хода событий романа?.. Где же исток, начальная пружина трагедии?.. В устроении сердечных помыслов девицы. Хочется нарочито банально уподобить её прекрасному цветку. Представим себе, что цветок наделён способностью рассуждать, видеть мир. Что тогда?.. Чувства, импрессии, интимные суждения цветка, создания совершенного, будут умненькими, изящными точными и последовательными. Так дела обстоят и с Черенковой.

Чего стоит (вернее, чем вызван), например, её — нет, даже не феминизм, а гиперфеминизм?.. Если воссоздавать круг ощущений девушки, едва ли натянуто будет выразить его так. — *Никто в моём окружении не наделён такой редкой исключительной красотой и женственной тайной, как я, никто не наделён и таким утончённом умом, такой глубокой способностью чувствовать, как я. Следственно, мироздание по сравнению со мной мелко, и я вправе претендовать на центральную роль в бытии.* — Так в условно конспективном виде может быть описано девическое кредо Черенковой. На её мысли (и главное — самооценки) нечего возразить!.. Остаётся согласиться, что её гиперфеминизм логически последователен, он даже не является результатом самомнения, если действительно Черенкова наделена редкой красотою и умом. Ну, в самом деле, что тут скажешь?

Однако в романе показано, как в принципе очень логичные, более того, прочувствованные и выверенные суждения Черенковой мало-помалу заводят её в неразрешимый тупик. Причины этого трагического тупика и своего рода трагического недоразумения заключается в том, что взгляд на мир как бы изнутри девичьего дневника является эгоцентрически однобоким (хотя и верным внутри той замкнутой ниши, ухоженной клумбы, на которой произрастает цветок исключительного совершенства). Всё мироздание не может уместиться в кокетливой чашечке изнеженного цветка!.. Поэтому взгляд на мир изнутри благоухающего растения однобок, заужен, произвольно выборочен. При своём утончённом уме, Черенкова не учитывает всех действующих в бытии сил и факторов, недопонимает того, что как бы ни был прекрасен женственный цветок, он не может быть центром вселенной — ну хотя бы в силу «сложности мировых процессов»… Что будет, если, например «большого ума девицу» поставить за штурвал корабля? Скорее всего корабль утонет…

Черенкова спотыкается или, выражаясь вульгарно, немножко обжигается как раз на том, в чём она абсолютно права. Таков, если хотите, внутренний парадокс её дневника. Так ведь Пушкин сказал:

И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг…

Что делать? Черенкова во всём права, но её правота со временем ставит её на грань личной катастрофы. Точнее катастрофа начинается в романе как многофигурном целом, а лично для Черенковой её (пусть и разумный) девичий нарциссизм заканчивается прозаически плачевно…

События (если следить за ними по дневнику) развиваются вот как… Черенкова в соответствии с выверенной логикой своего поведения, конечно же, отвергает многих поклонников (действует по образу царевны-несмеяны).

Но вот является Ян — и пленяет Черенкову. Почему так происходит? Очень просто. Во-первых, Ян не раболепствует и сохраняет внутреннюю самостоятельность, которой сердечно подразнивает, эротически интригует Черенкову. С большинством всё понятно (и Черенкова втайне ставит себя выше большинства), а с Яном не всё понятно. Он — этим и интересен. И главное, во-вторых, Ян несёт в себе ту космическую тайну, ту сладкую непостижимость, которая соизмерима с женской тайной, с инопланетной избранностью Черенковой. Она это чувствует и замечает Яна, внутренне выделяя его из толпы поклонников.

Однако Ян реагирует на Черенкову достаточно вяло и пассивно. Как некий Гамлет-Донжуан-Печорин он, в конечном счете, проходит мимо Черенковой. Нужно ли разворачивать странную, на первый взгляд, триаду имён, которая в романе не упоминается и находится всецело на совести интерпретатора?.. Как мы знаем, классический Донжуан находится в непрестанном поиске женственного идеала, неизбежно разочаровываясь в тех объектах своих чувств, которые идеалу не вполне соответствуют, Донжуан часто меняет свои увлечения, не может окончательно остановиться ни на одной... Но вот не по логике только, но по семантике образа Ян помимо классических свойств классического Донжуана несёт в себе черты поэтической сомнамбулы, неприкаянной тени, напоминающий скорее о Гамлете. Для Яна сердечные поиски подчас увлекательнее результата, таинственные блуждания живей семейного гнёздышка. Подобно известному персонажу гоголевской «Женитьбы» Ян подчас даже непрочь ускользнуть от очередной невесты (хоть бы и от той же Черенковой) через окно (например, по водосточной трубе). Печоринскую компоненту, печоринку в «моральном облике» (а точнее — в душе) Яна пояснять не надо. Ведь Печорин, как мы отлично знаем, например, по новелле «Княжна Мери» подчас не хочет никого конкретно обольстить, а ведёт опасную игру опасного сердцееда бескорыстно — без прагматической цели...

Понятно, что Ян как некая поэтическая сомнамбула близок к тому, чтобы игнорировать Черенкову. К тому же его раздражает её заносчивость. Не то, чтобы Ян был слишком самолюбив и активно бы боролся с Черенковой, «мерился с ней силами» — просто её самомнение (признаться, не без некоторых оснований) кажется ему глупым и меркантильным.

Так в романе завязывается одна из любовных интриг, о ней мы узнаём из «Девичьего дневника». Перед нами в подлинном смысле интрига: читатель не знает, что последует дальше и с нетерпением ждёт, как будет разворачиваться сюжет (а вернее, его любовная линия). А она между тем развивается настолько же психологически (сердечно?) убедительно, настолько же и жизненно нестандартно. Sic! Действие развивается жизненно убедительно и в то же время — непредсказуемо.

В принципе мы могли бы ожидать (или хотя бы не исключать), что своей холодностью (местами почти печоринской) Ян ещё больше разбередит сердце Черенковой, нежели при её первом знакомстве с ним. Однако натолкнувшись на равнодушие (или сердечное невнимание) к себе, Черенкова малопомалу отступается от Яна. Нет, не то, чтобы она из соображений задетого

самолюбия намеренно мстит! — вот именно что нет! В романе всё гораздо интересней и тоньше вот этого «ты мне — я тебе». Нет, Черенкова не предъявляет Яну никакого морального счёта, но всё-таки со временем перестаёт им активно интересоваться. Здесь, по-видимому, играет роль женская мудрость и, главное, даже не она, а простой закон психики (не только сердца, но и психики).

Он относится не только к любви, а в принципе — к любому целеполаганию, к любому осмысленному хотению. Можно сколько угодно обнаруживать сердечную холодность и вести себя в стиле байронического разочарованного героя, но при всей силе холода в любовной игре нужно активно стремиться к тому или иному результату, разумеется, при желании его достичь. Даже Печорин, который «открытым текстом» заявляет княжне Мери «сударыня, я вас не люблю», сердечно преследует её и вообще проявляет себя активно (хоть временами и уходит в некую выжидательную нишу). Ян порой проявляет себя как человек, который, в общем, ни к чему не стремится, держится отстранённо и флегматично. И Черенкова не считает нужным удерживать его при себе (не без некоторого, впрочем, ощущения тайной досады).

Ян же продолжает себя проявлять не столько как классический Донжуан или Печорин, сколько как некая комета, которая находится в вечных странствиях. Ему порой до странности чужда сердечная целеустремлённость. Доходит до того, что в одном из эпизодов романа он чуть не проспал отбытие в далёкие края одной из своих многочисленных Эвридик, хотя накануне собирался её провожать.

… И в Яне с его гамлетовскими блужданиями, с его пребыванием в лунном свете, и в Черенковой с её девичьим дневником присутствуют некоторые черты улиточной замкнутости. Они-то и определяют психологический (или сердечный?) пат — ту, сказала бы Цветаева, невстречу, которая обходится без «трагинервических явлений, девичьих обмороков, слёз», но едва ли становится от этого менее трагической.

Выражаясь на современном сленге, натурам исключительным, космически избранным присущ некоторый пофигизм. Он-то и препятствует человеку необходимой целеустремлённости в устройстве собственного счастья. Но без доли пофигизма, с другой стороны, уже не было бы исключительной личности.

… Со временем Черенкова выходит замуж за того человека, который подвернулся ей на жизненном пути в силу разнообразных благоприятствующих обстоятельств.

И рада, рада уж была
Что вышла за калеку

— юродиво хихикает Крылов.

Ну, в данном случае мы говорим не о калеке, но о персонаже, не наделённом исключительными качествами Яна, он, может быть, и славный малый и милый человек, а к тому же человек неглупый, но, увы, не принц. — В концептуальном отношении хочется заметить, что Черенкова при своём утончённом уме, чувствительности и разборчивости, недоучла обидно простой закон природы, побуждающий двуногих существ, формально относящихся к разряду homo sapiens, время от времени жениться или выходить замуж. (Избежав этой стандартной участи, Черенкова неизбежно осталась бы старой девой, а не избежав — утратила бы — и утратила-таки — свою пси-

хоидеологию горделивого нарциссизма). — Такая вот «шахматная вилка», такая вот история.

Внутренний смысл романа (точнее, один из его внутренних смыслов) заключается, конечно же, не в развитии той или иной отдельно взятой любовной интриги, а в трагической апории встречи. Не утверждаем, что «Южная Мангазея» — это роман разбитых надежд, но это роман несбыточных поисков и несостоявшихся (не вполне состоявщихся) сокровенных встреч. Ян не достигает своей Эвридики, утрачивает её, в каком бы конкретном обличии она ни выступала... Вопрос даже не в том, женился ли Ян в земном общепонятном смысле, вопрос в том, обрёл ли Ян свой космически женственный идеал. И ответ на этот бесконечный вопрос внутренне трагичен.

Огр

Как уже упоминалось, к сердечной катастрофе Яна (хотя и пережитой им на удивление спокойно) в финале романа добавляются постигщие Яна внешние неприятности (из которых Яна не вытаскивает даже высокопоставленный папаша). Яна выгоняют из института (по одной из официальных формулировок за контакт с иностранкой), в результате чего Яна ожидает армия...

Параллельно катастрофе Яна в романе развивается катастрофа женщин-птиц. Она напрямую связана с фоном действия — с железобетонной империей, которая фактически является в виде странно одушевлённого существа, в виде некоего железобетонного монстра. Он-то и охотится на женщин-птиц... Является чуть ли ни из преисподней ужасный Огр (посланник государства), который пытается приспособить женщин с паранормальными способностями к работе на нужды железобетонного государства.

Здесь-то и возникает стандартный вопрос, совпадающий со словами известной массовой песни: с чего начинается родина? Всякому ясно, с чего она начинается: с пыльного вагонного тамбура, с азиатских жестокостей, с административных скандалов в институте, которые заканчиваются изгнанием душевно тонкого, исключительно одарённого юноши из института[ix]. А там — военкомат, преддверие шеола... Что делать? Массы у нас зачастую не понимают хрупких интеллигентов, гонят их в три шеи... Однако едва ли ни страшнее масс те верхи железобетонного государства, которые понимают и ценят исключительные мозги, но ценят и понимают лишь для того, чтобы их «эффективно использовать». Такова, увы, идея классической шарашки. Она словно перемалывает души.

Концепт шарашки в романе является там, где уникальная космическая интуиция (не мозг) женщин-птиц, к разряду которых относится и Черенкова, пытаются приспособить к нуждам карательного государства.

Катастрофа женщин-птиц (они периодически терпят в романе и некоторые сексуальные издевательства) заключается даже не в самих этих издевательствах, а в том, что они, космические женщины, едва ли могут сохранить свою сокровенную идентичность. Происходит экспансия железобетонного монстра в их мозг, в их душу, в их сердечную сферу...

Концептуально (а не только описательно) роман — о сокровенной тайне человека (всегда ли только человека?) и о возможности/невозможности её полноценно сохранить. В «Южной Мангазее» речь идёт, прежде всего, конечно о невозможности.

Выше мы уже имели случай заметить, что две катастрофы (с Яном и с уникальными женщинами) сюжетно между собой не связаны или почти не связаны.

И всё же по авторскому смыслу (не по сюжету) две катастрофы взаимно симметричны, взаимно изоморфны, почти единосущны. Ибо в обоих случаях речь идёт о реализации сокровенных запросов личности. И вот они не вполне реализуются на земле, они разбиваются о железобетонные конструкции житейских необходимостей, а то и просто — о почву трагических случайностей...

***

...Конечно, с житейской точки зрения не вполне объяснимо то, что Ян, будучи министерским сынком, в два счёта изгнан из института и поставлен перед прямой угрозой армии. Не совсем понятно, почему Яна не выручает его принадлежность к министерскому клану и не совсем понятно, почему вообще Ян выпадает из собственного родового круга.

Но вот с метафизической точки зрения как раз очень и очень мотивировано всё двойственное существование Яна: роль отщепенца-интеллигента при высокопоставленном отце. — Чем она объясняется? Не тем или иным конкретным общественным режимом, хоть бы и грубо советским, упрощённо советским. В романе речь идёт вообще не о политических режимах, а скорее о неких общечеловеческих инстинктах насилия и власти, сопряжённых с коллективным чувством долга. Они-то, эти инстинкты (а, скажем, не Советская власть в её исторической конкретности) и создают роковой контрапункт утончённой гамлетовской души и твердокаменного гегемона. Как уже было сказано, умный железобетонный монстр (в отличие даже от одичавшей массы) тянется к талантливым натурам, к людям исключительной душевной организации.

Николай Гумилёв писал о гениальной музыке:

Духи ада любят слушать
Эти бешеные звуки...

Подобно тому, как ад и гениальная музыка находятся в странном, но неизбежном соседстве, в странном, но неизбежном соседстве находятся в романе Огр и личности выдающиеся.

По означенной «обратной логике» высокопоставленный отец Яна — это одушевлённый показатель всё того же странного соседства полярных стихий. Художественно мотивировано, может быть, как раз то, что Ян, несмотря на своё происхождение, как раз более всего страдает в железобетонной империи. Заранее практически обречены и женщины-птицы. (Притяжение к ним со стороны Огра изоморфно родству Яна с официальной номенклатурой).

Есть ли спасение, есть ли выход из этого трагического тупика, пожалуй, наивно спрашивать. На означенный вопрос за нас и до нас давно ответил стихами Тютчев:

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и не равен, борьба безнадежна.

Но вот при всей трагической безысходности (и вместе с тем недосказанности) романного финала, в его роковых событиях всё-таки есть внутренний просвет — это Юмея как место-состояние. Случайно ли, что роман так и назван «Южная Мангазея»?..

Своего рода магнетизм Юмеи имеет, конечно, иррациональную природу, но отчасти может быть описан и логическими приёмами. ...Огромная империя, которую обрисовывает в романе Янев, внутренне хаотична не вопреки, а благодаря своей железобетонной пластике (внешней стройности и упорядоченности). Ибо в контексте того строительства, которое велось и ведётся по городам и весям огромной страны, видно, что стальные шпили высоток, своды цирка и пр. — всё это внутренне деструктивно и опасно для жизни. Однако сам имперский хаос (скрытый за видимостью порядка) противоречиво порождает такие сладостные местности, куда всё же не вполне дотягивается железная лапа и подобные ей контрольные инстанции. Точнее было бы, конечно, сказать, что могущественный монстр всё-таки не порождают Юмею в том смысле, что не является её демиургом. Скорее у него попросту руки не доходят до Южной Мангазеи. Во всяком случае, так или приблизительно так дело обстоит в романе; не судим сейчас об истории.

Вот в этой-то имперской неразберихе, «суматохе явлений» и становится возможна «дырка в космосе» — место, где не срабатывают или не вполне срабатывают некие деструктивные закономерности, где не всесильны жёсткие железобетонные конструкции.

Оттуда из Юмеи и является Ян, туда же он в итоге и устремляется — в Южную Мангазею, на внутреннюю родину, в первозданный и чистый край. Роман содержит скрытый мотив бегства, спасения от суровой действительности, которое человек гонимый и не понятый пытается обрести на чудной земле — Южной Мангазее.

---

I Достоевский Ф.М. Пушкин // Пушкин. Pro et contra. В 2 тт. СПб., 2000. Т.1. С. 166

II Достоевский Ф.М. Там же. С. 162

III Дюбуа Ф. Пир, А Тринон и др. Общая риторика. М., 1986. С. 122

IV Бибихин В.В. Грамматика поэзии. СПб., 2009. С. 24

V Новалис. Фрагменты // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С.97

VI Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 2014. С. 75

VII Мандельштам О. Э. Конец романа. // Мандельштам О.Э. Собр соч.: в 4-х тт. М., 1991. Т.2 С. 267

VIII Мандельштам О. Э. Там же. С. 269

IX Остроумная пародия на известную советскую песню «С чего начинается родина» содержится в одноимённой песне Васи Обломова. То, что предлагается здесь — убогий прозаический пересказ.

# Мих. Ковсан. Там, у подножья гения светло. Сонеты

Автор комментированного перевода ТАНАХа на русский язык, ряда книг по иудаизму и литературоведческих статей. Прозаик, поэт. Автор многочисленных публикаций в интернете, двух книг прозы и двух поэтических сборников. Живет в Иерусалиме.

*Недаром Михаил Ковсан был одним из переводчиков и комментаторов Танаха на русский язык... Того собрания текстов, что по-русски называют Старым или Ветхим заветом! И это ощущается в его поэзии, в его отношении к слову, даже в названии одного из стихов этого цикла: «Творенье языка не терпит суеты». Он именно стихоТВОРЕЦ! Когда читаешь вдохновенные строки Ковсана, кажется, что они произнесены давным-давно, возможно тысячелетия назад... А ведь этот поэт наш с вами современник...*

*Инна Иохвидович*

## КОГДА СЛОВА ОСТАВИЛИ МЕНЯ

Когда слова оставили меня,
от мира отлучили и отпели,
и зоркие созвучья онемели,
из чистого добытые огня.

Когда распалось и на склоне дня
лучи пречистые прощальные согрели,
приветствовали песней менестрели,
в горний удел немыслимый маня.

Тогда, как птицу, я в ладонях сжал
в мире живых похищенное слово,
отныне быть ему и посохом и кровом,
началом всех не начатых начал.

С ним не печалиться о прежнем, не роптать,
с ним вечность новую учиться коротать.

## ТВОРЕНЬЕ ЯЗЫКА НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ

Творенье языка не терпит суеты,
фанфар побед и дробности разора,
но смелости — уничтоженья сора,
но — отыскать пропавшие следы,

инклюзии блистающей слюды
в слепой породе древнего позора,
созвучия в глухих сплетеньях бора,
презренные и Богом и людьми,

но речью не оставленные гнить,
не выданные гению болота,
а слог за слогом и за нитью нить,
за звуком звук забывшему народу

не умершее слово возвратить,
из смертного живое возродить.

## ПРЕДАВАЯ ЗЕМЛЕ И ПРОКЛЯТЬЮ

Предавая земле и проклятью
чуждых слов онемевшую плоть,
чертополох прополоть
и сменить осквернённое платье.

Немоты налагаю заклятье,
не презреть его, не превозмочь
воскрешенья забытого вплоть,
возрождения изгнанных ради.

Отражу злоязычий набег,
скифов лязг и бряцанье вандалов,
сбережет, сохранит оберег
слово из позабытых анналов.

Отыщу слово в диком лесу,
с дымом жертвы его вознесу.

## ИЗ БЕЗДНЫ ДЕТСКОГО БЕССИЛЬЯ

Из бездны детского бессилья,
из тошных, безутешных лет
привиделось и огласило
затихший день, погасший свет.

Своры теней с цепи спуская,
ткал сеть паук, за мною вслед
бежал, душил, не отпуская,
бродячий страх, дремучий бред.

И съежившееся сознанье
всю ночь металось, до утра
слово искало, чтоб в изгнанье
отправить бред и выслать страх.

И слову покорилась бездна:
на мачте — флаг, над морем — песня.

## ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬЮ ИДЕТ, ТЕНЬ ЗА ТЕНЬЮ

Жизнь за жизнью идет, тень за тенью,
всё светлей, всё теплей, всё земней
углей жар и зиянье огней,
не подвластность глухому забвенью.

И, покорствуя обвиненью
в расточении снов и теней,
отвергаю: течение дней
чтил достойно и благоговейно,

каждый прожитый начерно час,
хоть отмеренный грубою мерой,
он не может быть вычеркнут, раз
совершился, пусть спешно и скверно.

Новый день и с ним новая тень,
день и тень, тень за днем каждый день.

## ВЕТЕР ПРОСТРАНСТВ, НАРОДОВ И ЭПОХ

Сонет безжалостно, неумолимо строг,
свободный над собою надзиратель,
немногих строк судья и собиратель,
из слов дерзающий и остров и острог,

диктующий дыхание и слог,
не ты творишь — сонет, он — созидатель,
он — храм, и он — собора настоятель,
отец молитве подходящих слов.

Корабль надежен, истово упрям,
стремительно летит под парусами,
ход быстр его, неукротим  и прям,
и движим он не ветром, а словами.

Катрен, другой, еще терцет и вдох:
ветер пространств, народов и эпох.

## ТАМ, У ПОДНОЖЬЯ ГЕНИЯ СВЕТЛО

Там, у подножья гения светло,
не голодно, полно огрызков славы
и жжения: летят ошметки лавы,
но карты розданы, и так уже легло.

Да, так зимой сугробы намело,
одним — нелепо, а другим — кудряво,
одних налево, а других направо,
так разметало, так их развело.

Но у подножия не отменима встреча,
там сходятся безмолвно, не переча
верховной воле,

мертвой ли, живой,
под птичье пенье, под шакалий вой,
покорствуя своей подножной доле.

## КАК ЮНОЙ ПЛОТИ ЗОВ

Как юной плоти зов, несдержанность стиха,
звуков свечение слепит невыносимо,
и зарево гремит, но, собирая силы,
едва дыша: А ночь была тиха,

дорога бесконечная глуха,
прощание невыносимо льстиво,
как кости стариков, трещали льдины,
и размывали воды берега.

А за окном ложился первый снег,
смиряя гром, свечение и бег
удерживая, вовсе прекращая.

Но полной грудью: бой гремел, пальба
утихла, а затем, гремя, гульба
за ней неслась, в округе всех стращая.

2 книги ***Игоря Хайкина***:

**Ebenda**
***О том, что человечество делится на врачей и пациентов.***
Книга не только о медицине,
она — **о людях, родившихся в СССР...**

**Блошиный рынок**
***Книга — попытка понять,*** как меняемся мы
и что меняется в нас – в изменяющейся жизни.
Что ***мы находим, что теряем и с чем остаемся.***
И что остается нам на память.

ЛИТЕРАТУРНОЕ zaza ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

# Борис Левит-Броун. Пролетая над книгой. Эссе

**(к тридцатилетию выхода в свет книги М. Армалинского «А.С. Пушкин Тайные Записки 1936-1937г»)**

Родился в 1950 году в Киеве. Учился в школе, потом в художественном институте. В 1973, перед самой защитой диплома был исключен из него по идеологическим мотивам. С осени 1973 по осень 1975 служил в СА на Дальнем Востоке. После демобилизации работал фотографом, джазовым барабанщиком и, наконец, джазовым певцом под сценическим именем Boris Lebron. С 1984 г. начал писать стихи. С 1989 — художественную прозу. С 1991 г. — религиозно-философскую прозу. В мае 1989 г. эмигрировал в Европу с женой, Ириной Соловей. Вот уже 15 лет живёт и активно работает в Италии. Регулярно публикуется в России с 1993 года.

*Армалинский — это самый большой сорванец и саморекламщик последних десятилетий. Сколько мочИ, кала, садизма и прочего отборного постмодерна истратил Вл. Сорокин, чтобы выпнуться в замеченные и популярные. А Армалинский всех наказал... просто взял и наказал — он сделал всего один выстрел, но попал именно в критическую точку того мутного стекла, которое держало его в зоне незамеченности...*

*Забудут Сорокина... и весь супчик-баранчик современной плоской сексоматюгальни. А лай на Армалинского будет повторяться и повторяться. Пушкинистика... как русская деревня ночью. Вроде уже и затихло... а потом где-то скрип-хлоп-пук... собака открыла глаз, лайнула и пошло дело... вся околица зашлась...*

Борис Левит-Броун 2005 год

Истерзанный паранойей континентальных таможен, доплёлся из Миннесоты в Верону Литературный Памятник — А.С. Пушкин «Тайные Записки 1836-1837 годов». Сами записки читаны мною давно, первое впечатление от текста было сложным и тревожным. Неужели правда — Пушкин? Ужасавшая меня матерная лексика никак не вязалась с этим эльфом, с этим ангелом… моим любимым Сашей, которого сердце хранит в самом бархатном уголке. С другой стороны раздумья о смерти, о том, что сексуальная горячка обрекает поэта погибели, большая проницательность в понимании людей и движущих пружин бытия, вполне совпадали с образом углублённо думающего Пушкина, которому: *«… не спится, нет огня; всюду мрак и сон докучный…»*. Текст «Тайных записок» такой, что в промежутках между вспышками мата я успевал как-то потеплеть и проникнуться нежностью к пишущему. Иногда его даже становилось жаль. А потом опять матом по мозгам — как о спортивный мат да с маху, да лицом. Читал спереди назад и сзаду наперёд... — купился! И поэтому было тревожно. Нет, не мог АлСергеич, не мог — это подделка, непременно подделка. Потому что, ну Пушкин же, он же… куда же… мы же… как же… А потом подумалось — собственно об чём речь!? Неужели жизнь, русская жизнь в эпоху кринолинов и эполет, была менее уснащена матом, чем нынешняя миниюбошная, насквозь матюгальная. А озорные поэмы, а «Лука Мудищев», а сам Барков — что тоже подделки? А воспоминания Корфа: тот прямо говорил, что Пушкин писал лишь, будучи прикован к постели «венерою», то есть, страдая очередной гонореей.

Но ушла тревога не тогда, когда окончательно осозналось, что «Тайные записки» — фейк, а тогда, когда стало ясно, что написана книга не из хулиганства, и не для оскорбить *«нашевсё»*. Это мощный удар в рынду ради привлечения внимания к тому, об чём и пишут много, но с остраткой, и говорят много, но с оглядкой, и думают постоянно, да сознаться ломает, а потому и живут калечно. Стыдом и себя и женщин калечат. Ну да, культура ж состоит из интеллигентных людей, из порядошных людей, из моральных людей. А тут такая аморалка позорная, ну что ты будешь делать!.. — указательным да прямо в кипящий котёл сексуального подспуда. Тогда я оценил и мастерство Армалинского, сумевшего блеском стилизации поселить в душе тревожное подозрение, и психологическую дальновидность Армалинского, понимавшего, что для «аморального», то есть нравственно честного и при этом телесно здорового, не усечённого прописной моралью человека, смысл этой подделки рано или поздно станет очевиден. Это и произошло. По крайней мере, со мной.

* * *

И вот спустя лет эдак двадцать я листаю могучий том, в котором сам текст «Тайных записок» составляет не более одной пятой, зато многолетний хоровод вокруг книги и её автора только теперь открывается во всём комическом масштабе. С птичьего полёта, как говорится.

Прав был АлСергеич, куда деваться:

*Жизни мышья беготня...*
*Что тревожишь ты меня,*
*Что ты значишь, скучный шепот?*
*Укоризна или ропот…*

Ропот жизни, укоризны, шёпоты, а то даже и крики. Книга отлично подделана, практически неотличима от знаменитой серии. Мощный текстовой блок, почти 1000 страниц, хорошая бумага, качественная полиграфия. Строго выдержан научно-библиографический аппарат, всё удобно, короче — вкусный толстый том. В руку возьмёшь — тяжел и аппетитен, как щедрая женская грудь. Разве что на авантитуле вместо традиционно красненького Литературные Памятники стоит нетрадиционно красненькое Литературный Памятник тем же шрифтом и тем же кеглем. Да ещё корешок приклеен изнутри к страничному блоку — это я в моих томах литпамятников не наблюдал, там корешки свободны и круглятся в зависимости от разворота. Однако, тут проблема лишь немногих, кто выжил и помнит... — а в общем и целом первоклассный продукт.

Что скажу — памятник этот не Тайным Запискам, даже не Михаилу Армалинскому. Этот памятник — овеществлённая Эразмова похвала глупости, и по первости — колоссальный демотиватор любой дополнительной рецензии.

Ещё раз писать?.. После всех этих?.. Да упаси Боже!..

Лишь постепенно, листая сквозь обвал “серьёзки” и колких ироний, оскал инвектив и диатриб, начинаешь замечать мелькающую улыбку Армалинского. Не ту, явную, с которой он отделывает и разоблачает, раздевает и дезавуирует... а другую, скрытую улыбку удовлетворения от того, какой образцовый зоопарк ему удалось разбить и какими диковинными комическими «животными» его населить.

Нет, это надо уметь!!! Столько имён... столько персонажей, серьёзно разоблачающих несерьёзность книги, о серьёзности которой они (даже редкие умные за исключением, пожалуй, Аннинского), похоже, и понятия не

имеют. Я тоже в числе зооэкспонатов сижу в одной из клеточек. А всё ж, отчего не пройтись по зоологическому этому садику? Недолго, буквально несколько шагов…

**О**й, уважаемый К. Ковальджи, ой! (с. 668)

*«Увы, корыстная провокация Армалинского удалась. Том «полемики» словно свидетельствует о действительном споре. Но спора никакого нет. Ни одного довода в пользу Армалинского».*

Да есть спор, есть! И провокация есть и спор!

И вы (мы) внутри спора, г-н Ковальджи... вас (нас) туда втянуло великим лукавством яркого стилиста и серьёзного мыслителя. Я тоже внутри (хоть и всего только, что в обсуждениях на моём персональном сайте). Вначале я даже в отличие от вас, трезвых и критически продвинутых, поверил, обольстился подлинностью чудовищно-притягательного текста. Но опознав фейк, я в зоопарке Армалинского остался «животным» сознательным, сиречь понимающим феномен... ощущающим его вес. И не идиотничал я о «доводах в пользу Армалинского»... ну что вы, ей Богу! Впрочем, справедливости ради, мне виднее. В эротике я профи — (http://www.boris-levit-broun.com/disegni-a-matita-e-a-penna/18.html; http://www.boris-levit-broun.com/homoerotikus.html).

**А**й, Alexroma*, ай! (с.701)

*«Удивительно, как настойчива бездарность! Талантливые люди* — (не сам ли Alexroma?) *стыдливо переминаются с ноги на ногу, а г-н Армалинский громогласно заявляет о собственной гениальности. Меж тем, почитав его опусы, я пришёл к выводу, что он никогда не имел дело с женщиной. Искренне сочувствую!»* И как это опровергает его гениальность? С ноги на ногу, Alexroma, переминаются в очереди пописать. Нет-нет, не попИсАть, а попИсать. Ну, посочувствовали Армалинскому? Теперь смените трусы и послушайте. Бездарность ли Армалинский? Нет, Армалинский не бездарность! Его способности писателя превышает талант смелого мыслителя. Вот хоть это для примера (цитата из «Тайных записок» с. 60): *«Что такое красота? С древних времён мудрецы спорят о сути красоты. Но вот моя жёнка появляется на балу, и все головы поворачиваются к ней. Красота — это узнаваемое, а не определяемое»*.

**Красота есть узнаваемое, а не определяемое!**

Не просто мысль! Это мудрость… литая концептуальная формула на запоминание. Мне в помощь — некто Михаил Карташов, который вообще своим детям запретил Пушкина по неприемлемости морального облика последнего. Он, Карташов (с. 674), тонко замечает, что ежели прочесть «Тайные записки» и при этом «абстрагироваться от нецензурной лексики и некоторых откровенных сексуальных сцен», то вполне можно найти много глубокой философии, которой у Армалинского «совершенно не наблюдается». Типа, не он это писал. Не Армалинский, а типа… Пушкин. Вот и я говорю: «Тайные записки Пушкина», созданные Армалинским, — а сие есть церебрально-типографский факт, — произведение философское.

Повторяю, ув. Alexroma, способности Армалинского-писателя, превышают его талант мыслителя, а то и другое меркнет перед гением обольстителя и совратителя умов, заставившего целую культуру, бросив костыли, доказывать самой себе, что она не хромая, что её «*нашевсё*» не может,

---

* Alexroma http://www.kulichki.com/death/lib/ozhivi_1.htm — Александр Ромаданов. Андрей Травин об нём так: « «современный мыслитель, писатель, дипломат, теоретик сетевой литературы, вебдизайнер... Он, так же как и остальные, затрудняется определить себя одним словом», — я б не затруднился.

ну не может... не смеет быть таким, каков Пушкин в образах Армалинского.

А ведь АлСергеич предупредил, что он не только «повеса, вечно праздный», но сверх того ещё и «потомок негров безобразный» (и правда, отменно уродлив был *«нашевсё»*), что нравится он вот именно «бесстыдным бешенством желаний», то есть звериностью сексуальных порывов. Настаивал национальный русский «негр» не на чём-нибудь там, а именно на «бесстыдном бешенстве желаний». Гляди ж ты, как наводяще подметил:

С невольным пламенем ланит
Украдкой нимфа молодая,
Сама себя не понимая,
На фавна иногда глядит.

Понимал дело «негр», к нему претензий — ноль. Он уведомил допрежь. Ну а вы, Alexroma, куда напираете-то? Переть на Армалинского так же неэффективно, как наезжать на саму природу мужской сексуальности. Уй, как вы его припечатали: «я пришёл к выводу, что он никогда не имел дела с женщиной». Даже посочувствовали. Удачно, да? Альфа-самец, Alexroma, потрепал по плечу сексуального неумёху Армалинского... как круто! Армалинский, пожалуй, и улыбнётся там где-нибудь среди озёр Миннесоты.

Ну и???.. Никогда вам не узнать, за какое место и скольких женщин держал в своей жизни Армалинский. Никогда не узнать, никак не проверить. Так что оцените, Alexroma, идиотизм положения, в которое влипли, и посочувствуйте. Себе.

**А**х, Риточка Алова, ах… (с. 280)

Категорически с чувствами не поладила и решила запустить по Армалинскому жуткой оскорбухой. В культурных хрониках «Прикольного интернета» (http://www.kulichki.com/prikol/printer/kultur/kultur6.html) некультурно обозвала она его «сексуальным дебилом». Я, говорит, не поленилась (не лентяйка, то есть!..) и спросила у подруг, спасались ли они от запоров таким способом. Каким? Таким, как прочитала у дебила Армалинского, а прочитала вот что: *"Семя, излитое ей в зад, действовало на нее, как клизма, и она восхищалась еще одним благотворным влиянием любви, которое так сладостно спасает от запоров".* Ужосссссссс... жосссс.... жос! Настоящий дебил, брызгает Аллочка, ой, пардон... Риточка. И так это, знаете, сардонически... мол, а его, мол, ещё на корейский перевели, наверно, специально для КНДР — там секса ещё более нет, чем не было в совке, и потому там любому дебилу поверят. А ведь озарение шаталось под окнами, как тот бабелевский Савка Буцис, еврей, похожий на матроса. Сама же Аллочка строчками выше: *Создаётся впечатление, что у автора недостаёт практического опыта* (ещё одна под стать Alexroma!). *В то же время, встречаются совершенно мюн**ха**узеновские места.* Идейка-то перспективная была, практически ответ на собственное возмущение дебилом Армалинским. Мюн***хга***узену тоже ведь не хватало практического опыта по вытаскиванию себя за волосы из болота вместе с конём, или в полётах на ядре, но в приключениях своих он это очень сочно описал. Увы, не срослось в нежном, мягком мозгу у Аллочки, то есть Риточки. Боюсь и помыслить, кем отчестила бы она маркиза Де Сада, если б прочла, как он в «Философии будуара» зашивает влагалище даме или рассуждает об особой приятности и теплоте анального соития при полной содержимого прямой кишке.

**А** вот В. Топоров (с. 687) в принципе — не промах. Правильно диагностировал: *Звёздный час Армалинского настал, когда он догадался*

*совместить два дорогие отечественному слуху понятия — то самое* (ну, мы поняли, что!) *и «солнце русской поэзии*» (мы поняли, кто!)*.* Только с чего ж это «отечественному»? То самое дорогое понятие (мы понимаем, что!) дорого не только русской равнине, а и всем остальным низинам, горам, морям, островам и ущельям в мире.

Далее у Топорова — хуже: *«Сочинённые им «Тайные записки» он приписал самому Пушкину — и многие (в том числе и пушкинисты) клюнули. Хуже того, принялись подделку разоблачать и клеймить. А автору мистификации только этого и надо...»*. Вроде бы и верно изложил, а только как-то злобничал при этом. Да, Армалинскому этого надо, однако не только и даже не столько... О том, чего надо Армалинскому в большей мере и сверх мистификации, я скажу после.

**Л**ев Аннинский (с.720-721)... — ну, ясно дело... умница, глаза с вечной искоркой весёлого озорства. Немножко из интервью:

Гузель Агишева (двигает дебютную пешку):

*Как относитесь к скандальной книге Армалинского про Пушкина?*

Л.А.:

*С интересом.*

Гузель (обходит с фланга):

*А если с точки зрения правдивости-неправдивости?*

Л.А. (ага, такого поди/обойди):

*Это зависит от того, кем Пушкин для тебя является.*

Гузель (кокетливо рвёт рубашечку на груди, ах, кабы порвал***а***!..):

*То есть, вы, как многие, не считаете, что нам «подбросили» фальшивку, оболгав «солнце русской поэзии»?*

Л.А.:

*Даже когда оболгали — во всякой лжи есть доля правды.*

*... Армалинский часть документов сфантазировал, не хочу сказать сфальсифицировал...*

Гузель (морща мозг):

*Поясните разницу.*

Л.А.:

*Всё дело в установке. Он не скрывает, что фантазирует...*

Гузель (пробует опустить испытуемого... ага, щасссс!):

*Отталкиваясь всё от того же Армалинского — вы вообще, видимо, склонны верить «сразу и безоговорочно»?*

*Л.А.*(невозмутимо и разоружающе):

*Может, и сразу, но не безоговорочно. Иногда видишь, что врёт, но в том, как он врёт, сказывается правда состояния героя. Я тоже вру всё время*. (Освальд Шпенглер с его знаменитым «поэты много лгут» перевернулся в гробу: «...что, и критики тоже?»)

Всё.

После такого ответа любой дурацкий опрос иссякает сам собою.

Но вот вам редкий человек для разговора по существу, а Газель Нагишева (так её ласково Армалинский...) разговор-то и не завела. Да вы ж хоть попробуйте, ж!.. — даже не попробовала.

Жаль.

**А** тут ещё... ой, не могу, ой не добегу!.. во мне хохочет весь Беранже:

*Вот, — говорит, — потеха!*
*Ей-ей, умру...*
*Ей-ей, умру...*
*Ей-ей, умру от смеха!*

Двое из ларца, одноцитатные с лица — Вит. Шенталинский и Ев. Рейн (сс.722-723).

Шенталинский о Тайных Записках: «Не читал и не буду».
Рейн вообще непонятно читал ли, нет...

Но оба слово в слово цита***туты***чут: «толпе, черни нравится порочить великого человека. Смотрите, он такой же гадкий, как и мы...» А пошто ж гадкий-то, а? Почему гадок человек, обычный ли, великий, любящий женщину без купюр, любящий всю её плоть, все её органы, все её проявления, все её отправления. Грандиозная придумка (?) — стремление Пушкина ходить вместе со своей Натали в туалет. Алчность к ароматам испражнений желанной женщины — окей!.. возможно и за гранью реальности, но не за гранью воображения Армалинского. Это манифест свободы страстных изъявлений, ибо только насилие ставит если не естественный, то уголовный предел страстным желаниям. Всё остальное — выбирай сам, обычен или велик.

**У**х тыыы... даже скупость некоторых интеллектуальных «животных» в непомерный сей том встряла. Вот не прощает Армалинский, не прощает и всё тут. Я даже сам в некоторой потере от такой злостной принципиальности. Ну не хошь — не дари, так нет, он их ещё и чистоводит показательно. А и то... может, как раз, прав? Так вставил Эткинду с Бобышевым... Просят, клянчат! Вообще, не пойму, из какого места вылазит у интеллигенции это парвенюшное неуважение к писателю и стремление разжиться его трудом «на шару»?

*  *  *

Теперь о том, чего надо. Чего Армалинский хочет и добивается с фанатизмом, это сломать пыточное кресло христианской морали, в которое человека усадили две тысячи лет назад, и с тех пор недреманно караулят, как бы он с кресла этого изуверского не встал. Видел я такое креслице железное, шипами утыканное, на выставочке у нас тут в Вероне. Называлась экспозиция так: STRUMENTI DELLA TORTURA (ПРИБОРЫ ДЛЯ ПЫТОК). Жуткое, скажу я вам, дело, до чего додумались моралисты-торквемад***о***ры, свято блюдя устав караульной службы, со всеми этими евангельскими вырви/глаз и отруби/руку.

Н-нда... дело Армлинского безнадежное, но достойно уважения. Его «Тайные Записки» — не просто фикция, не только фейк. Это мощный стоп-сигнал в «задницу» русской культуре, которая хоть и развязалась препаскуднейше, однако до сих пор с большою мерой ханжества культивирует в отношении своих национальных святынь все возможные моральные табу и порицает в этой сфере любую нетривиальность. Великие... они чисты! Ну, они ж великие! Именно для громкости «стоп-сигнала» Армалинский связал самую больную тему христианского человека с самой дорогой иконой русского мира. Причём, сочетал чистый стиль аристократического мемуара с препротивнейшей нецензурщиной. Это драка. Драка Армалинского не за многополость, не за девиантные половые практики, а за самую что ни на есть прямую гетеросексуальную телесность в её свободе и полноте. Плотская страсть свята и всяко благословенна — таково мнение Армалинского. А христианский моральный террор ся зиждет на аксиоме — плоть скверна, страсти плоти низменны и подлежат если не искоренению (а поди искорени!), то уж точно жесточайшему табуированию.

Армалинский боец... борец, как сам он выразился, за «светлое гетеросексуальное имя Пушкина», хотя что-либо кроме улыбки эта шутка вызовет только у клинического идиота. Армалинский — рыцарь одной мысли, солдат одной драки, одной темы. Одной, да самой главной. Так и подмывает кинуть лермонтовское:

… одной лишь думы власть**,**
*Одну — но пламенную страсть...*

И поскольку тема самая главная — плотская любовь, он и приписал свою весьма блестящую стилизацию Пушкину, а не себе. Армалинский не славы искал, а могучего авторитета в свою борьбу... по возможности авторитета «криминального», эти наиболее авторитетны. По части сексуальности Пушкин без преувеличения «криминальный авторитет». Он был «сатанически сексуален», об этом пишут современники. Вот из воспоминаний барона Модеста Андреевича Корфа о Пушкине: «Пушкин не был создан ни для света, ни для общественных обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви или истинной дружбы. У него господствовали только две стихии: удовлетворение чувственным страстям и поэзия; и в обеих он ушел далеко. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств, и он полагал даже какое-то хвастовство в от'явленном цинизме по этой части: злые насмешки, часто в самых отвратительных картинах, над всеми религиозными верованиями и обрядами, над уважением к родителям, над родственными привязанностями, над всеми отношениями общественными и семейными — это было ему нипочем, и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда говорил даже более и хуже, нежели в самом деле думал и чувствовал... Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда почти без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с "частыми дуэлями, в близком знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными домами и прелестницами петербургскими, Пушкин представлял тип самого грязного разврата"». Тот же Корф вспоминает, как некая мадам, хозяйка самого известного в С. Петербурге борделя, жаловалсь, что Пушкин «портит» ей «девочек». В среде «благопристойных» современников ходили слухи о порнографических рисунках Пушкина, которые вообще могли прийти в голову только человеку в состоянии «сатанизма». (Ха!.. глянули б рисунки, которые я два года изо дня в день рисовал и слал в письмах из армии жене — вот бы ещё один «сатанист» определился). Таков он был, этот человек, непостижимый в гениальности и падшести.

У автора «Тайных записок» — абсолютная «крыша». Никогда не съедет.

Сам Пушкин его «крышует» магией имени. Тут не скажешь: «Что в имени тебе моём?». В имени... в имени как раз всё дело! Тайными «своими» записками русский гений образует пропедевтику всей сексуальной философии Михаила Армалинского и вагиноцентричности его миросозерцания.

Пушкин — самый «нерусский», самый ренессансный (единственный!), а стало быть, и самый «развратный» русский гений, сродни распутному интеллектуалу и гулёне цветущего века итальянского Возрождения, Пьетро Аретино. Предполагаю, что порнографические гравюры, составившие книгу «Позы Аретино» и громко именуемые Камасутрой Возрождения, — бледная моль в сравнении с «сатаническими» рисунками русского «потомка негров».

На поприще «разврата» так или иначе вступали и другие великие русские словесники. Кой-кто, правда, потом отчаянно каялся в окладистую бороду,

писал всякие там крейцеровы сонаты и последующие к ним толкования, обучая русского человека, как понимать грех и как от греха спастись. Но Пушкин не каялся, Пушкин — настоящий бесёнок того, что христианская мораль клеймит, как содомский грех, распутство и кратчайший путь в геенну, бесёнок, — перефразируя Цветаеву, — *ворвавшийся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фимиам.*

Ай-яй-яй... какой скандал в пантеоне русской славы!

Какие милые моральные благоглупости!

Какое невежество сексуальной психологии!

Для Армалинского Пушкин не только любимый герой, но и мощнейшее оружие, стенобитная машина разрушения, ну или хоть зыбленья тол*стен* лицемерной общественной морали, возведенных на ядовитом растворе евангельского морального террора. И потому настоящая ценность Армалинского, не в блистательном по стилю и шумном по последствиям фейке «А. С. Пушкин Тайные записки 1836-1837 годов», а в его журнале GENERAL EROTIC http://www.mipco.com/win/GEr.html, который он издаёт в инете уже много лет. Сам Армалинский из скромности и с большой долей иронии именует свой журнал легкомысленно «журнальцем», хотя в этом журнальце есть серьёзные размышления и глубокие умозаключения, с которыми спорить можно только в случае, если ты:

а) среднестатистический стадный выработок протухшей общественной морали

б) не мужчина

Или то и другое.

Тайные записки — это надёжный *б*уй (прошу без ненормативных аллюзий!), который не даст автору кануть в глубины забвения, поплавок, который ещё очень долго будет держать на поверхности общественного внимания самого Армалинского и то, что он делает в своём журнале.

Я назвал Армалинского великим кретинизатором (по аналогии с Сальвадором Дали, который сам себя так называл и, подмигивая, добавлял: людям не надо знать, когда я серьёзен, а когда морочу им голову!). Армалинский уточнил, что кретинизирует только дураков. Оно и верно. Я б ещё добавил — и ханжей. А глупость с ханжеством — это такой незабываемый коктейль! Ну хоть вот это вот (с. 317): «День памяти А.С. Пушкина в центральной городской библиотеке им. Гоголя (самое место!) отметили активисты городского Пушкинского общества и литобъединения *Адамант.*

... Особую ноту внёс в ход вечера А.Н. Буторин. Он не только читал стихи, но и выступил в призывом к директору Института русской литературы отчитаться о выполнении юбилейной пушкинской программы, а также потребовал привлечь издательство *Ладомир* к суду за выпуск нашумевших подложных «тайных записок», оскорбляющих честь и достоинство А. С. Пушкина».

Ваххх... мать дураков всегда беременна!

В могучем томе ЛИТЕРАТУРНОГО ПАМЯТНИКА, который я держу в руках, нашлось место и проницательным без ханжества, и умным без кавычек, и даже озорным. Хотя дураков и ханжей больше, а им «одна награда — смех!» (не так ли, Алла Борисовна?). Их всегда будет больше, поэтому признаем без обиняков — «Тайные Записки» книга не для всех. Впрочем, Заратустра ведь тоже не для всех. И книга Вейнингера «Пол и характер» тоже. Болезненно впечатлительный гениальный юноша Отто Вейнингер, написав свою жестокую книгу, которую понять можно только из очень большой любви к женщине, повесился. А душевно здоровый Михаил Армалинский,

написав свою дерзкую книгу, (её тоже понять способней всего из любви к женщине), смеётся над сонмищем дураков и продолжает издавать свой GENERAL EROTIC, в котором я, помимо плохо усваиваемого мата, нахожу временами вещи просто «не в бровь, а в глаз», ну вот хотя бы крошечное эссе «Неотвратимое чувство» в № 287.

http://www.mipco.com/win/GEr287.html

**Неотвратимое чувство**

У человека есть много чувств, по меньшей мере, известных — пять. Религия и мораль смогли извратить человека так, что четыре чувства вызывали и продолжают вызывать у многих отвращение к половым органам и ебле. На пятое чувство ни религиозной, ни моральной мощи не хватило и хватить не может, ибо оно — основа сексуального наслаждения, а основы божьи — незыблемы.

Прежде всего, антисексуальный терроризм религиозной морали взялся за зрение и вымуштровал людишек воспринимать половые органы и их выделения как уродливые, отвратительные и таким образом зрение стало соучастником преступлений против наслаждения.

Религиозная мораль не пощадила и обоняние — она заставила человека в омерзении отвращаться от запаха влагалища и спермы.

Тут и слух повиновался террору и принудил человека воротить уши от хлюпающих звуков совокуплений.

Вкусовые ощущения человека тоже подчинились приказу религии и морали, и связали вкус женских и мужских выделений с рвотным рефлексом.

Но никто и ничто не может справиться лишь с одним чувством — осязанием — оно всегда влечёт, несмотря на любые запреты, поскольку только оно неотвратимо ведёт к оргазму.

* * *

Гениальность, генитальность... — вечная *тщет*ность *тщед*ушных наших *тщеслав*ий.

Но!

Хайдеггер акцентуировал Заботу (die Sorge), как фундаментальное человеческое переживание. Дескать, само Здесь-бытие конституирует себя, как Заботу (des Daseins *als* Sorge). *Акцентуировал* и на том уличён был в гениальности.

Что ж, Армалинский ткнул светозарным Пушкиным в целомудренную и потому фальшивую русскую культуру — сориентировав эрегированным половым членом, как дорожным указателем, на конкретику фундаментальнейшей после жажды и голода Заботы Здесь-бытия. Он даже назвал предмет заботы... да-да, вот то самое, что мы знаем «что», мыслями, фантазиями и чувствами о чём полны Тайные Записки.

Вот тебе и «памятник нерукотворный», вот и «воздвиг»!

Какой могучий фейк и какой потрясающий результат!

Так чем Армалинский второстепенней Хайдеггера?

И почему не уличить в гениальности и его?

*Борис Левит-Броун, Верона, 17 апреля 2016*

## **Александр Вин.** ***«Сто двенадцать океанских писем».*** **Рассказ**

Родился в 1958 году в России, в городе Рыбинске, на Волге. В 1979 году окончил обучение в Калининградском мореходном училище Министерства рыбной промышленности СССР. Профессия — моряк, штурман дальнего плавания, практику проходил в плавании по Балтийскому морю на самом большом в мире учебном паруснике — барке «Крузенштерн». Участвовал во многих рыболовных экспедициях в Атлантическом океане, в том числе, в первом советском тунцеловном походе к берегам Африки: в Гвинейский залив, на шельф Сенегала, Анголы, Сьерра-Леоне.

В 1981-1984 гг., учась на заочном отделении филологического факультета Калининградского госуниверситета, одновременно служил старшим помощником капитана на вспомогательном буксире Балтийского военного флота, в 1982 году выводил в последнее боевое плавание знаменитый крейсер «Октябрьская революция». Именно в эти годы мои морские рассказы начали публиковаться в отраслевых и общественных газетах и журналах Калининградской области. В 1987 году стал капитаном океанской гоночной яхты, после этого работал директором профсоюзного яхт-клуба, затем — разнорабочим, кочегаром; в начале 1990-х годов занимался политической деятельностью, избирался депутатом городского парламента, баллотировался кандидатом в депутаты Калининградской областной Думы.

Свою первую книгу, приключенческий роман «Закон королевского бутерброда», я написал на карибском острове Антигуа и Барбуда, во время дружеского визита к правителю королевства Редонда Бобу Вилкинсону.

Сейчас работаю редактором провинциальной газеты в Калининграде, занимаюсь литературной деятельностью.

В 2014 году в издательстве «БУКМАСТЕР» (Минск, Белоруссия) были напечатаны три моих книги из серии «Современный остросюжетный роман», а также книга рассказов «Зачем открываются двери»...

В 2015 году изданы (РИДЕРО) первые пять электронных книг из серии «Приключения эгоиста».

В 2013-2015 годах мои рассказы печатались в электронных и бумажных журналах Германии, России, США, Израиля, Украины, Белоруссии.

В 2016 году Санкт-Петербургская Государственная библиотека для слепых и слабовидящих (Россия) выпустила аудиокнигу по текстам рассказов моей книги «Жена странного человека».

*С самых первых строк, едва начав входить в этот рассказ, испытываешь высокое эстетическое наслаждение. Письма, причиной которым любовь. Чем дальше расстояние, тем ниточка, связывающая двух, кажется крепче, прочнее. Но так ли это на самом деле?*
*Давайте узнаем вместе.*

*Олеся Янгол*

***

Была уже середина ноября, и сталь ножа вполне оправданно холодила его ладони, но старик с медленным упрямством, не доставая из карманов куртки нитяных перчаток, поочерёдно брался за сухие, отжившие ветки шиповника, отрезал их одинаково невысоко и прочно втыкал освобождённые колючие прутья в густые заросли садовой ограды.

Обожжённые прозрачным осенним солнцем красные клёны роняли капли на свои, только вчера упавшие на землю, листья.

В дальнем углу сада дымился костёр, к которому старик иногда, согревая пальцы и тяжело вздыхая, выносил из дома пыльные вещи и разом, неряшливой охапкой, бросал их в огонь.

Поношенная одежда неуверенно тлела, а вот плетёное сиденье разломанного стула вспыхнуло сразу же, помогая остальному хламу прогореть быстрее.

Ближе к полудню наступила очередь бумаг.

Стуча по ступенькам веранды углами громоздкого коричневого чемодана, старик с трудом дотащил его до костра. Уже на месте развязал ремень и принялся, стараясь не рассматривать содержимое, но медленно, оберегая листы документов, ветхих тетрадей и книг от порывов ветра, опускать их в языки невысокого пламени.

Один из бумажных пакетов выпал из рук старика, он нагнулся, поднял, сдул с него золу и травинки, стал почему-то с сосредоточенным вниманием рассматривать со всех сторон.

Достал из коричневого пакета связку конвертов, стянутых синей атласной лентой, близоруко, шевеля губами, прочитал несколько строчек. Вытер лицо свободной ладонью, попытался даже присесть на перевёрнутое мокрое ведро, но не смог, поэтому, шумно шаркая башмаками по листьям садовых дорожек, поплёлся в дом.

Вынужденный опуститься на низкую кровать и долго лежать, старик сначала по привычке пристально рассматривал сучки на деревянной обшивке стен. Некоторые были похожи на строгие глаза икон.

Не обижаясь на сумрак комнаты, он знал, что синяя лента развязана, а почерк на всех конвертах такой, словно и тогда, в те давние времена, у автора писем уже сложилась привычка к ответственным словам.

Старик читал и видел ночной шторм, тропический дождь.

Небольшой корабль, шесть месяцев промысловой работы в далёком океане, он, совсем молодой, после свадьбы, и она… его жена, которая так не хотела, чтобы он уходил в тот рейс. Но ему для её счастья нужны были деньги. Большие деньги, хорошие, внезапные.

В холоде тёмной вечерней комнаты старик плакал, размазывая неопрятные слёзы мягким рукавом, тихо шептал, отвернувшись к стене:

— Сможешь ли ты показать те две звезды?..

И отвечал сам себе:

— А-а, вот ведь как! А раньше-то всё говорил, чтобы оставили тебя в покое…

Он так и заснул, с нерастопленной печкой, не поужинав, не снимая башмаков, даже не умывшись. На стопке писем, поверх тех, что были ещё не прочитаны, остался стоять маленький ежик — смешная пластмассовая игрушка.

**Девятнадцатое ноября**

Не прошло ещё и двадцати четырех часов, как мы расстались, а я уже взялся за первое письмо тебе! Сидим в аэропорту, примерно через час — таможня, через два — вылет на промысел, в тропики, в океан. Ты, наверно, разревелась вчера, черноглазая?! Не уверен, где ты сейчас: на вокзале, в автобусе или дома, но знаю точно, что разревелась… Пиши мне, родная, ча-

ще, часто, как только сможешь. Про все радости, горести, про всё, всё… О, извини! Капитан зовёт — выходим на посадку. Послушай, роди мне сына?! Или двух, а? До свиданья. Целую.

**Двадцатое ноября**

Здравствуй, родная! Пишу тебе в конце первого моего морского дня, сижу в каюте, вещи разбросаны по углам так, словно тут побывала целая банда местных африканских грабителей!

Летели на промысел с остановками в Будапеште и в Браззавиле. Жара дикая, после нашей осени непривычно. Уже в Луанде негритянка-таможенница внимательно и дотошно принялась вертеть и рассматривать твоего игрушечного ёжика, а потом расхохоталась на весь зал!

Руки дрожат, никак не могу достать из записной книжку твою фотографию… Сегодня, как мы с тобой и договаривались, решил снять обручальное кольцо, чтобы не потерять в работе, но оно никак не снималось! Правда! Ну, если чуть-чуть постараться… Но не хочется ни «чуть-чуть», ни стараться…

Сегодня первый раз объявлял по трансляции: «Судовое время — тринадцать часов! Команда приглашается на обед!». Как знаменитый диктор на радио…

Я сжался весь, как пружина, дальше некуда. Здесь уже не я. Не смеюсь, не разговариваю ни с кем… После вахты — в каюту, к себе. Но ты же уверена во мне — и я выдержу.

Это моё первое письмо из океана. Посылаю его невпопад. Мне очень плохо без тебя, родная…

**Двадцать седьмое ноября**

Несколько дней бездельничал, не хотел даже браться за это письмо, но сегодня стало ясно, что необходимо выговориться, что копить в себе всякое не только очень плохо, но и неблагоразумно. Не волнуйся, милая, угрозы — сила слабых, а я у тебя не такой… Если бы тогда, в последние дни перед расставанием, ты сумела меня понять, то сейчас мне было бы одновременно и легче, и тяжелее. Легче — потому что не накатывала бы такая тяжёлая тоска при взгляде на твою фотографию, а тяжелее — дни нашей разлуки стали бы втрое длиннее.

Как и многие из нашего экипажа я нарисовал на листке картона календарь, расчертил его на сто восемьдесят квадратов и каждый день, вернее, ночь, после вахты, буду зачёркивать одну клеточку.

С первых дней рейса новые обязанности отнимают почти всё свободное время. Как помощник капитана я отвечаю за продовольствие на нашем судне. Ты можешь представить меня в роли завсклада?! То-то же… Ворочаю тоннами мяса, картошки; не глядя подписываю накладные на ящики сигарет, шоколада; командую перегрузкой на наш борт сотен литров соков, вина. Всё это в новинку, но стараюсь держаться с завхозами на плавбазах, где получаем провизию, солидно и уверенно, как и подобает женатому человеку. Пока это у меня плохо получается: как только увижу коробку шоколада, так сразу же хохочу, вспоминая тебя… Думаю, вот сюда бы, к этим шоколадкам, мою черноглазую, она бы показала всем экономию и бережливость!

…Прошу тебя, посылай каждый день хоть пустой конверт с каким-нибудь нашим словечком. Очень прошу.

Эти письма тебе получаются примерно так: вечером, после вахты, сижу в каюте один и всё, что за день передумал, записываю. Много пишу. А как только подходит плавбаза, вырываю исписанные листы из большой тетради и… Ты получаешь письмо.

…Эх, какой же я у тебя глупец! Только что, минуту назад, радист принёс мне на вахту радиограмму от тебя! Вот и не верь в судьбу! Мужики завидуют — я первый в этом рейсе получил радиограмму из дома, от жены!

**Первое декабря**

Как живёшь, черноглаз?! Что делаешь, о чём думаешь? Знала бы ты, родная, как же я хочу, чтобы обо всём этом рассказала ты мне сама. Вот так, села бы рядом и рассказала…

Прошло уже полмесяца с нашей разлуки. Мы работаем, ловим в океане рыбу, большую и … ещё больше. Промысловые дела идут пока нормально. Времени свободного много, гораздо больше, чем я предполагал. Забот по службе никаких, загораю. Мечтаю о том, как получу целую кучу твоих писем. Дал себе слово (и сдержу его!), что буду читать их по одному в день, чтобы подольше хватило… Ведь ты же будешь посылать мне письма каждый день, правда?! Смотрю — отмечено на календарике, что послезавтра ты напишешь мне про сына. Или про дочку… Жду.

**Третье декабря**

Родная, это снова я! Наработался, начитался, надумался — ничего не помогает, тоскливо… Последнее средство — письмо тебе, средство испытанное, надёжное.

Пишу эти письма так, словно делаю давно знакомое дело, а впечатления — будто держу в руках что-то нежное, непривычное. Как целую тебя первый раз…

Не хочется упоминать в письмах ни о делах, ни о повседневных пустяках, мелочах. Когда пишу, отодвигается на задний план всё: грохот судового двигателя, шум волны за иллюминатором, картонный календарь, на котором зачёркнуто пока ещё так мало дней разлуки. Только ты передо мной. Мы вдвоём, я держу тебя за руку. Ты только что проснулась, милая, лохматая. Приподняла голову, смотришь на меня. Утренняя-преутренняя… Чёрные растерянные глаза, припухшие губы… Первые твои слова?... Не знаю, не слышу, что ты говоришь, кажется, что сам давно не сплю, внимательно смотрю на тебя. Ты удивлена, смеёшься. Твой смех!..

По ночам во сне я строю наш с тобой дом, ввожу тебя за руку в него, смотрю на тебя. Ты помогаешь мне во всём, ты не скучаешь, не плачешь.

…Здесь мне ничего не надо. Я счастлив тем, что могу разговаривать с тобой в письмах, вспоминать тебя каждую минуту, каждую ночь зачёркивать ещё один прошедший день в календаре. Иногда пишу стихи. А целовать я тебя не смогу ещё сто сорок два дня…

**Четвёртое декабря**

Здравствуй, моя любимая, моя черноглазая! Знаю, что твои первые письма, отправленные мне, блуждают где-то по миру уже три недели. Я держусь сейчас на своих письмах, представляешь, что будет, когда получу твои?!

Какое-то сумасшедшее у меня сейчас состояние, весь переполнен, чувства захлёстывают. Желание говорить тебе много, обо всём. О том, что люблю, о том, что очень люблю, о том, что буду любить всегда. Для этого я и встретил тебя, только тебя. Не могло быть никого больше. Сейчас я не могу ничего сделать для тебя… А когда эта ерунда часами не покидает голову, то задаю себе вопрос: «Что делать, если у меня вдруг не станет её?!..».

И сразу же кажется, будто бы я слепой, беспомощный, перехожу перекрёсток, со всех сторон — страшные, ревущие машины. Кто-то своей доброй, нежной, ласковой рукой берёт меня за плечо и ведёт куда-то… я шагаю, чув-

ствую солнце, запах деревьев, цветов — то, чего не мог замечать раньше! И вдруг та самая рука суетливо, брезгливо отдёргивается, крик не ко мне, а в сторону: «Привет!», и добрый кто-то уходит. По своим делам. Навсегда. А вокруг меня опять бензиновая гарь, и дорожная грязь хлещет по щекам… Я всегда был уверен, что меня должен кто-то ждать. Сейчас я знаю, что это ты…

Я прорываюсь сквозь эти чёртовы дни. Их много, а ты у меня — одна…

**Пятое декабря**

Здравствуй, самый любимый мой человек! Это снова я, это мне опять не терпится, просто очень хочется написать тебе письмо. И вот — пишу…

Для меня сейчас нет ничего страшнее, чем бездействие и безделье. Постоянно нахожу себе какое-либо дело, шевелюсь, что-нибудь пишу, выдумываю. А как только выпадает свободная, незанятая минутка — становится немножко грустно…

Вот вспомнил тебя в фойе кинотеатра — ты так забавно бегала около игровых автоматов, так была похожа на азартного осеннего ёжика в своей лохматой шапке…

Нет, нет, я не плачу! Это ветер.

**Шестое декабря**

Вот, родная, и наступила пора признаться, что сомневался в себе, не был до конца уверен, что смогу тебе письма часто, каждый день, или же просто начну свою лень оправдывать кучей уважительных причин.

Сейчас могу сказать честно — не смогу спокойно сидеть на месте (лежать), ворочаюсь, ворочаюсь. Бросаю книжку и … сажусь за письмо тебе. Нет ничего такого, чего я боялся бы: пустоты впечатлений, отсутствия новостей по работе, приключений. Да этого ничего мне и не надо. Просто пишу, словно разговаривая с тобой.

Иногда после мелких неурядиц на промысле, неприятностей, а они бывают в нашем рейсе и часто, нервы — ни к чёрту! — наваливается хандра, тоска такая смертная… но внезапно вспоминаю тебя, милая, и словно вековую пыль смахнули с окошка — снова солнце!

Бывает, думаю такое о себе, о нас… было ведь всё — гуляние под луной, свадьба, ссоры, обиды. Наверно, как у всех, как-то пусто, холодно… ну тут же мгновенно (ты же меня знаешь!) вспоминаю нашу с тобой семью, вспоминаю, что картошку я чищу всегда сам. Что яичницу делаешь ты; вспоминаю наш чай без сахара, про билеты в автобусе, про то, как мы вместе бродили по магазинам, вспоминаю наше: «Стой! Здесь мы ещё не целовались!». И всё. Меня после таких воспоминаний уже нужно останавливать. Бегаю по рулевой рубке, улыбка до ушей; охота бросить всё, мчаться в каюту и рассказывать тебе про всё, про всё!

…Это письмо ты получишь уже после Нового года. А там останется переждать январь — и половина рейса позади. Время покатится с горки…

Я долго ждал, знал, что ещё месяц назад ты могла мне написать о нашем будущем сыне точно. Могла и раньше, но не сделала этого. Я обиделся, очень. Пустословить, описывая моё состояние, не буду, сама поймёшь. Предательство, не так ли?... Знаю, что зло, но у меня…

А-а, к чёрту! Если сейчас не порву это письмо, то ночью допишу его в прежнем ключе: весело и с изрядной долей оптимизма.

… Быть может это всё оттого, что от тебя нет писем? Ведь может быть, родная, ты уже написала мне, что у нас будет сын, а то самое твоё письмо где-то ещё скитается по странам и океанам?...

Живу мечтой о том, как обниму тебя и скажу всё, что не могу, не имею права сказать тебе сейчас, когда мы далеко. Любимая, чувствую такую ответственность за нас, что иногда охота выть от невозможности что-нибудь настоящее, решительное сделать! Ведь это так обидно, так несправедливо — чувствовать огромную силу, желание, а иметь возможность только зачёркивать дни на беспомощной картонке календаря!

…Прошло столько дней. Я много думаю о нас, вспоминаю… я люблю тебя, по-другому, ещё любимее…

**Десятое декабря**

Здравствуй, самое чудесное чудо моё! Я так по тебе соскучился, ведь целых три дня не брался за письмо. Я виноват, родная, но зато как жадно сейчас пишу эти строчки! Не щенячья, а какая-то сильная, могучая, радость охватывает, когда думаю, что только ты сделала меня таким… ну, просто гораздо лучше, чем я был до тебя.

Жизнь, воспоминания разделились на две части: без тебя и с тобой. Они различны по времени, но «с тобой» как-то громадней, быть может, этому помогает уверенность, что три месяца вместе — это только малость, а впереди у нас — целая жизнь!

**Двенадцатое декабря**

Не знаю, что напишу тебе, родная, в этом необычном письме. Оно необычное — и по времени, когда пишу, да и по обстоятельствам.

Сейчас не ночь, как всегда в моих письмах. Тропический океанский вечер ещё только начинается, я сменился с вахты. Утром спал, когда мы обменяли на плавбазе кинофильмы. После вахты решил посмотреть один, старый, знакомый. Первые же кадры, музыка и название… И твой плач! Издалека, но такой ясный, громкий, обиженный!

Выскочил из кают-компании весь какой-то перевёрнутый, хотелось что-то срочно делать, куда-то ещё бежать… А куда убежишь от себя в океане?! Только к тебе, моя любимая! Ты слышишь меня, слышишь?! Это мерзко, плохо — скручивать себя, засовывать куда-то в дальний угол души всё, что есть у меня самое лучшее! Не хочу слышать и участвовать в дурацких разговорах про жён, которые непременно возникают, когда некоторые наши кретины в безделье собираются на палубе. Я нарочно остаюсь один, я ухожу от всех, сижу в каюте, перебираю твои фотографии, листаю записи, вспоминаю…

В этой тетрадке, в которой я пишу тебе письма, осталось семьдесят два листа…

**Четырнадцатое декабря**

Ещё полчаса назад я был таким, каким ты меня очень любила. Был рад, что получу твои письма (знал о которых заранее), был счастлив, что сегодня и сам смогу отправить мои письма тебе — случилась оказия. Но…

Как будто лицом в грязь, больно и обидно. Ошибка. Мне писем нет…

А позади меня, в рубке, стояли матросы, рулевой и сменный, ещё механик зашёл по своим делам… Они слышали, как я разговаривал по рации с плавбазой о своих письмах, как мне отказали, и сразу же притихли. А улыбки на их рожах так и кричат: «Жена, жена… десятками письма, брехун ты у нас, штурман!». Они уже не верили мне, смеялись. Смеются, наверно, и сейчас.

Помнишь, ты как-то спросила у меня, ещё тогда, на берегу, почему я стал другим. Я ответил что-то о правах, о моих правах на тебя. Ерунда. Между нами всегда была лишь тоненькая ниточка, паутинка. Я стал таким только потому, что нужно было измениться, ради того, чтобы сохранить эту самую паутинку.

Другие могут сказать, давай, мол, упрись, превращай эту ниточку в прочный семейный канат, упаковывай свою ненаглядную жёнушку заграничными товарами из рейсов, кооперативной квартирой, пелёнками для верности… Зачем?! Ну, чтобы можно было ни о чём не беспокоиться, позволять себе многое, смело дёргать связывающие нас верёвки, не опасаясь их порвать. К чёрту! Не хочу! Для меня наша любовь была и останется невесомой, загадочной и чистой паутинкой, чтобы сохранить которую достаточно каждую минуту помнить о ней, держать в руках бережно, беречь от других, грубых рук…

Живу мыслью, что ошибся, думая о твоём невнимании. Ведь ошибся же, родная?! Я жду тебя, мне нужна только ты.

…Распечатал приготовленный конверт. Дописываю. Через двенадцать часов после начала этого письма мне принесли радиограмму от тебя о том, что у нас будет ребёнок. Я злой у тебя?! Или просто глупый…

**Восемнадцатое декабря**

Не обижайся, родная, за мою такую самоуверенность, ведь это так здорово, что у нас скоро будет сын! Десять минут назад и ещё ровно месяц в придачу мы поцеловались в последний раз. В последний раз я увидел тебя за окном вагона. За эти дни я прожил целую вечность. Сколько передумано, сколько раз я вспоминал всё наше, тебя, не сосчитать. Да и глупо считать.

Три дня назад радист принёс мне в штурманскую рубку радиограмму от тебя. Когда я её прочитал, всё, что было вокруг, исчезло. Я позабыл про вахту, о сроках промыслового совета, о том, что мой голос, с докладом о ночном промысле, хотят услышать на десятках соседних судов. Вышел на мостик и долго стоял, прислонившись к переборке.

Счастье охватило меня!

Представляю, каким смешным я выглядел несколько часов подряд, улыбаясь и бестолково бегая из угла в угол. А потом, набегавшись, уснул там же. На своём рабочем месте и рук моих упала на палубу штурманской рубки бумажка. На которой я полдня подсчитывал, когда же это произойдёт…

**Двадцатое декабря**

Родная, сейчас, только что, полчаса назад, слетал на шлюпке за почтой!

Извини. Не удержался и все твои письма (целых три!) прочитал махом!

Какая же ты у меня хорошая!

За этими письмами я гонялся на расстояние в полтысячи километров почти десять дней. Сколько же я пережил, милая… Именно с этими письмами вышло совсем так, как я себе и представлял! Мне — три!!! А на всех остальных мужиков из команды — четыре…

Опять — улыбка до ушей, опять небрежно роняю: «от жены…».

Ну и чудесная же ты у меня, черноглазик! Это же, как глоток воды, когда страшно устал, когда всё равно… сейчас я летаю, как на крыльях, дело кипит, всё вокруг кажется мелким, ерундовым. Здесь на судне, я могу сделать, что угодно, даже самое трудное, но вот только дни из недель выкидывать разом я пока не научился!

И это ведь сделала для меня ты, родная! Скажу по секрету: уже успел краем уха услышать, что где-то нам ещё есть почта, пришла на промысел с каким-то новым транспортом…

Ну, держитесь! Я за письма своей жены горло любому перегрызу, я их из-под воды достану! Как-то круто повернулась жизнь после твоей радиограммы о том, что у нас будет ребёнок. Думаю: уже ведь не просто ты и я, а как-то по-другому. Нам многое придётся сделать, родная, и мы со всем справимся…

Сейчас я на вахте. Мечтаю, как через полтора часа буду преображаться: сбрею пиратскую бороду, попрошу кого-нибудь из мужиков, чтобы подстригли.

Ты предлагаешь вместе рожать? Согласен. Будь моя воля, я бы не только вместе, но и вместо тебя лёг в этот роддом, лишь бы знать, что тебе не будет плохо! Береги себя, родная, прошу только об одном — береги себя! Знай, у меня всё хорошо, у меня не может быть плохо, когда рядом (да, да, рядом!) ты!

Прошёл уже месяц и два дня. Остался пустяк. Целую тебя всю, всю, моя маленькая… днём держусь, а ночью, без тебя — скверно…

**Двадцать первое декабря**

Добрый вечер, родная! Что ты сейчас делаешь? Смотришь свой любимый телевизор или уткнулась в книжку? А я вот разговариваю с тобой…

Пишу на вахте. Три часа ночи, тишина. Темнота. Тихо жужжат приборы, за бортом невод, полный рыбы, в рулевой рубке никого нет, все спят после тяжёлой работы. Мы ждём плавбазу, подойдёт утром, будем сдавать на неё улов.

Я переделал все свои штурманские, навигационные дела, решил вызвать по рации судно, которое недавно (только вчера) вернулось на промысел с берегового ремонта. Вызвал, поболтал немного с коллегой, он говорит, что на плавбазе для меня есть, от моей любимой жены, из далёкого дома, два письмища!

Тут же исполнил по рубке дикий африканский танец и сразу же взялся за это письмо тебе!

Я люблю тебя, самый родной в мире девчоныш! Чуть позабыл твои руки, твоё тело… Рядом — только лицо. Милое, незабываемое, моё… Как мало мне сейчас надо: щёлкнуть тебя, шутя, по носу и со счастливой улыбкой заснуть… Только сейчас понимаю, как был раньше глуп: как должное принимал твою любовь, ласку, нежность, а сейчас дрожу над каждым твоим письмом. Добрым и родным, ищу там слова: «…люблю, люблю!».

И что было бы со мной, если бы я этих слов не находил…

**Двадцать шестое декабря**

Только тебе, моя любимая, я могу рассказать обо всём. Когда на душе противно и тоскливо, то письмо к тебе — самое лучшее лекарство.

Вот и сейчас — сидел, лежал, не зная, за что схватиться, что делать. Час назад поругался с капитаном, настроение — ни к чёрту! Сегодня у нашего радиста день рождения, мужик попросил у меня выдать ему вне очереди вина со склада. Он угостил кэпа… потом ещё и ещё… ближе к вечеру пришло время рыбалки, а они, оба, пьяные хари, бродят по пароходу за мной, клянчат ещё бутылочку…

Я трясусь, когда вижу пьяных здесь! Бешенство, злость, обида.

Сколько я натерпелся от этого дерьма. Не выношу даже запаха винища — противно! Я бросил тебя там, вдалеке, чтобы здесь, в океане, ловить рыбу, зарабатывать деньги, а эти!...

Я стал жестоким, назвал кэпа скотиной и ещё… Но это первый раз за рейс и последний на всю жизнь. Я стал злым и единственное, что неимоверно спасает — это твои письма. Матросы меня спрашивают с недоверием: «Она что, тебе каждый день пишет?!». С гордостью показываю им даты почтовых штемпелей на конвертах! Как подпрыгнуло сердце, когда прочитал: «…тебе плавать, а мне ждать…».

Эх, думаю, старушка, ждать-то осталось всего сто семнадцать суток, а это для нас с тобой, родная, сущий пустяк!

**Двадцать седьмое декабря**

Вчера, как я и ожидал, наш пьяный капитан посадил невод на скалы.

Одно рваньё, рыбы нет. Он сразу же протрезвел, а когда я поднялся в штурманскую рубку на вахту, был уже нормальным и молчаливым. Медленно вытаскивали лебёдками из воды лохмотья невода, сшивали их всей командой, укладывали. Противное какое-то было состояние, я слонялся из угла в гол, хандрил.

**Двадцать восьмое декабря**

Ты можешь представить, что наши с тобой встречные письма лежат где-то в соседних почтовых мешках неделю, а может и больше?! Рядышком… Полежат, полежат — и снова в путь. Я получаю твои ровно через месяц, после того, как ты их отправляешь. Не успеваю толком прочитать — сразу же связываюсь по рации с плавбазой. Допрашиваю их, есть ли письма для нашего экипажа ещё…

Хочется сказать тебе много хорошего, прехорошего. Но не могу — тебе нельзя волноваться…

Как хочу крепко закрыть глаза и вспомнить тебя, всю… А как мы целовались! Везде: на улицах, в кафе, и днём, и ночью… Мы же жадные до всего хорошего: нам и так было хорошо, а хотелось (и хочется!) ещё лучше! Мы же мак-си-малис-ты!

Не хочу ничего без тебя! Ничего, ничего! Только ты, моя родная! Хочу быть всегда рядом. Ты сделала меня сильным: без тебя я ничто.

За три часа до полуночи. Я верю в тебя. Без тебя не будет и меня. Не предавай…

Твой…

**Первое января**

Расклеился, милая, твой муж совсем. Этот чертов Новый год доконал.

Только вчера понял, что такое настоящая хандра. Ничего не хочется делать, всё равно… какой это праздник без тебя….

Выдал мужикам три ящика вина, сам понюхал для приличия кружку и потихоньку вышел из кают-компании. Замутило страшно, лёг на койку, достал с полки все твои радиограммы и стал, как мальчишка, сравнивать: какая из них ласковей…

Последнее время в голове часто возникают слова волшебника из фильма. И я, когда уверен, что остался на вахте один, хожу по штурманской рубке и бурчу: «…Вот уже четыре месяца она моя жена, а я влюблён, как мальчишка…». Как мальчишка, действительно! Я не могу любить тебя, родная, за что-то. Я люблю тебя всю. Только для тебя живу. Для вас…

Меня, молодого штурмана, одного из всего экипажа капитан называет по имени-отчеству. За час до Нового года он зазвал меня к себе в каюту, вытащил бутылку бренди, стал угощать… Когда я отказался, он очень удивился, но потом понял и рассмеялся. Сказал: «…Если будет ночной аврал, прибеги в рубку, поможешь…». Надеется на меня. А это так здорово, если в тебя кто-то верит.

Вчера, когда получали снабжение на плавбазе, я случайно увидал там парня, моего однокашника по мореходке, он был у нас на свадьбе с женой, помнишь? Обрадовался — всё какая-то частичка прежней с тобой жизни… поговорили, вспомнили нашу с тобой свадьбу… я смеялся, шутил. А самому было плохо. Ведь нет ничего хуже, чем вспоминать всё наше без тебя.

**Второе января**

Сегодня, милая, ещё раз убедился, какой же я у тебя странный…

Два дня назад пришла почта, твоих писем там не было, и сегодня передали с берега целую пачку писем для нашего экипажа. Кто-то ляпнул громко, вслух: «А тебе и сегодня ничего нет!».

Стало так обидно — мне и нет писем! Сразу выдумал мелкую месть тебе: «Вот возьму и порву приготовленное к отправке письмо, пусть ей тоже станет плохо!..». Идиот!

Через полчаса поднялся в рубку третий помощник капитана, славный парень, говорит: «Тебе письма в каюте лежат…».

Как птичка я слетел вниз по трапу, рванулся в каюту — целых три письмища! И так я переверну их, и этак. И на штемпеля почтовые посмотрю, на даты — как ребёнок с ненаглядной игрушкой! Прости меня, родная, прости! За злые случайные мысли, за глупые слова! Мне очень трудно сейчас: воюю со временем, с пьяными дураками, с самим собой, наконец! С радостью понимаю, что ты меня можешь чуть-чуть не узнать, когда увидишь после рейса. Глупцов стал ненавидеть ещё больше, а сам, сам, наверно, стал больше знать о нас с тобой, родная…

А твои письма, милый мой черноглазик, милые! Только пишешь ты их как-то растрёпанно… вчера перечитал твоё письмо, в котором ты говоришь про нашего будущего сына. Когда читал эти строчки первый раз, показалось, что что-то тревожит тебя, а вчера я понял — это просто растерянность без меня. Стало легче.

…А про вязание забудь! С твоими-то глазами?! Не вздумай и в руки брать эти чёртовы нитки!

Худым я стал у тебя, жена, как в лучшие мои боксёрские годы, вспоминаю юность. Не бреюсь по неделе, зато зубы чищу три раза в день! Сознательно загоняю себя: суечусь, бегаю, постоянно что-то делаю… Это чтобы не хватало времени. И проклятые дни быстрей проходят! Одна цель — чтобы ты гордилась мной! Ты будешь гордиться, обещаю!

Постой, постой! Писал и неожиданно вспомнил, как мы ездили в тот приморский парк. Как котёнок бежал за нами по дороге, как долго мы сидели на поваленном дереве посреди поля; орлов, которые долго, долго кружились над нами в небе…

Такое со мной часто случается, каждую минуту: делаю что-нибудь штурманское и неожиданно вспоминаю наше. Застываю на месте или машинально кручу пальцами карандаш, а сам далеко-далеко — с тобой… Думаю об одном — сколько же у нас тобой впереди!

Рад, что ты взялась за Ремарка. Но ведь и он не прав: «…Только тот, кто не раз оставался один, знает счастье встречи с любимой». Ерунда! Никакое счастье будущих встреч не уничтожит горечь, страшную горечь разлуки! Сознательно, из-за денег, идти на долгие месяцы беспросветной тоски ради мгновения радостной встреч?! Нет, больше никогда!

Я так думаю, потому что люблю. Ты далеко от меня. Мне плохо от того, что я ничем сейчас не могу помогать тебе. Береги себя, больше отдыхай, не пиши писем каждый день, не волнуйся. Ты должна быть уверена — у меня всё хорошо! Не может быть плохо — у меня есть ты. Целую. Спасибо за будущего сына.

**Четырнадцатое января**

Да, это снова я — твой муж! Здесь, в океане, произошли некоторые драматические события — я простудился! В Африке. Ночью, на вахте, после дневной жары, несколько часов простоял на сквозняке, у открытого иллюминатора, когда мы шли полным ходом в другой район промысла. Наутро страшно заболела голова и зубы. Одновременно. Да так, что наш капитан своим приказом отправил меня на плавбазу, к доктору, лечиться. Ну, а доктор, здоровенный бородатый мужик, обрадовался появлению самого настоящего больного и начал меня, мои распухшие дёсны, резать….

Потом дал пригоршню таблеток и отправил меня домой, на мой борт.

Не знаю, родная, но раньше я не особенно-то и верил, что мучения переносятся легче, если рядом близкий человек. Наверно, это смахивает на бах-

вальство, но первое, что я сделал в том чёртовом стоматологическом кресле — вцепился в подлокотники и … вспомнил тебя. Заставил вспомнить и сказать себе: «Если ты сейчас не выдержишь, раскиснешь, то и с ней, там, будет плохо! Поэтому…». Выдержал! И пусть другие смеются, мол, невелик подвиг — раскромсать флюс, но для меня это… ну, как бы издалека, на расстоянии, отвести от тебя какую-то неведомую беду.

**Двадцать первое января**

Не обижайся, родная, из-за моих писем! Вот и это — старое, которое я берусь дописывать каждый вечер.

Наш промысловый отряд вот уже полмесяца работает вдалеке от основного флота: плавбаза и восемь маленьких добывающих корабликов. Нет никакой возможности ни отправить письмо, ни тебе получить от меня весточку. Бешусь, срываю злость на любом, кто упоминает в разговоре о почте. А спрашивают многие, ведь знают, что я самый из них ждущий…

**Двадцать четвёртое января**

Нет счастливее человека, чем я. Ни у кого нет настроения радостнее, чем у меня. Почему?! Потому что есть у меня такая жена, как ты, потому что сегодня я получил от тебя сразу восемь (!) писем.

…Моё последнее письмо я писал двадцать дней января, не было никакой попутной оказии отправить, работали в дальнем районе океана, практически в одиночку, и эти дни были тяжёлыми для меня.

…Твои письма стали взрослыми. Поверь мне, ты очень изменилась. Это и огорчает, и радует. В памяти ты — на перроне вокзала, в лохматой шапке, кричишь что-то злое, а в глазах — чёрные блестящие слёзы… Маленькая, беспомощная, обиженная, а я — уезжаю…

Родная, я помню тебя такой. Ты встретишь меня после этого рейса не взъерошенным воробушком, а спокойной, взрослой, беременной женщиной! Тебя немного пугает предстоящая встреча?! Я это чувствую. Ты думаешь, как же я увижу тебя такую изменившуюся, и переживаешь? Глупая моя, милая! Это вокруг меня всё застыло, как в болоте, никаких новостей, а ты живёшь в такое волшебное время — готовишься стать мамой и все изменения так идут тебе! Я знаю, я верю в это.

Ты уже придумала имя нашему сыну? Если его угораздит родиться 14 июля, то назовём парня Робеспьером или Монмартром…. Всё, всё! Только без скандала! Такая шутка произошла только от того, что всю последнюю неделю от безделья изучаю «Новейшую историю», найденную в скудной судовой библиотеке.

…Недавно на вахте я вспоминал, как мы с тобой однажды поссорились. Причина была пустяковая, оба надулись, я лежал на диване, пытался что-то читать, а сам украдкой наблюдал за тобой. Ты сидела за столом и что-то грустно рисовала в нашей общей тетради. Обоим было плохо, но мы тогда были такими упрямыми! А потом ты как-то решительно, вдруг, сказала: «Послушай…», и не успела ещё договорить, как я понял, что это — мир! Бросился к тебе и целовал, целовал….

…Ну вот, к нашему борту подходит попутный «почтовый ящик». Время отдавать это письмо. Ребята сменяются с промысла, улетают, через день будут в столице, а ещё через неделю ты услышишь мой голос, читая эти строчки. Я буду разговаривать с тобой. Осталось восемьдесят восемь дней. Целую, хоть и отвык…

**Тридцатое января**

Здравствуй, самая лучшая на свете жена! А я — болван…

Ты пишешь, что ревела из-за одного моего дурацкого письма?! Сейчас я буду говорить тебе много всего, слушай внимательно и знай, что даже самые плохие мысли, о которых я пишу тебе, уже не страшны нам с тобой! Это как нарыв — мучительно больно, а потом резанёшь ножом — ужасная боль, но уже всё позади…. И никогда она больше к нам не возвратится. Никогда. Так было и в том письме…

**Третье февраля**

Здравствуй, милая! Завтра — половина рейса. Половина разлуки, половина мучений… А ещё через двадцать четыре дня исполнится год, как я увидал абсолютно незнакомую мне, но очень красивую девушку! Ты не догадываешься, кто же это тогда был?! Вот так, родная, понемногу и появляются в нашей совместной жизни замечательные даты, любимые праздники.

Сейчас лежу в каюте, придумал себе игру: над моей койкой есть полочка, такая же, как в железнодорожном вагоне. Там хранятся все твои письма, а поверх их стоит ежик, охраняет тайну нашей с тобой переписки. Я наугад вытягиваю из пачки письмо и стараюсь угадать, о чём именно в нём ты мне когда-то написала… Но потом всё равно увлекаюсь и читаю их все подряд!

В первом своём письме ты очень дельно и серьёзно рассуждаешь, что с первой же своей получки на новом месте работы начнёшь готовиться к нашей встрече, экономить деньги и планировать, а во втором — что купила на них пятнадцать своих любимых эклеров!

**Четырнадцатое февраля**

…Луна такая яркая, что на палубе можно играть в карты, но не с кем, вахтенный механик дисциплинированный — ковыряется в машине…

Вчера пришло твоё письмо — отправлено тринадцатого… пришло тринадцатого, через месяц.

Мы с тобой так хотели, чтобы я быстрее ушёл в море, а сами, глупые, не представляли, как же это плохо. Плохо, очень-преочень… Но бывает — просыпаюсь, а на подушке — письмо от тебя!

Неправильно мечтать о счастье поодиночке. Начался самый страшный месяц — четвёртый…. Я выдержу — ты не волнуйся.

**Второе апреля**

Сейчас я скажу немногое, а остальное — когда будем рядом.

Мне кажется, что это письмо должно быть особенным, ведь оно — последнее! Самое последнее в нашей жизни…

Никогда не придётся нам писать друг другу писем, потому что никогда, никогда мы не будем разлучаться! Осталось двадцать четыре дня без тебя. Я ненавижу эти дни. Я проклинаю их, рву по кусочкам, по часам!

Ты же не рассердишься, если, когда мы будем рядом, я расскажу тебе всё, что намечтал здесь, в океане, без тебя, без моей сумасшедшей девчонки!

…Я пишу это письмо слишком медленно, вот уже четвёртые сутки. Осталось каких-то двадцать дурацких дней. И всё.

Сам я замуровался в себя. Так легче.

Осталось двадцать дней — за эти месяцы я стал другим. Ты — тоже. По твоим последним письмам я понял это. Хорошо, что мы такие одинаковые. Хорошо, что мы стали такими одинаковыми не слишком поздно. Не лучше и не хуже… К чёрту! Просто одинаковыми.

Ждёт меня моя «женщина беременная».

Неужели ты думаешь, что только ты так страшно волнуешься в ожидании нашей встречи?! Видела бы ты, как придирчиво рассматриваю в зеркале

свой облупившийся на солнце нос, как печалюсь из-за сломанного ногтя, как, пыхтя, старательно пришиваю пуговицу к рубашке?! И это — твой муж!

Я позабыл тебя. Честно! Наверно, потому, что долго старался не вспоминать.

И вот… дурак! Сейчас так хочется услышать твой голос, пусть даже он прозвучит только во мне. Закрываю глаза, но… твоё лицо вспоминается как-то медленно, фрагментами. Помню всю тебя, а вот лицо… как-то очень близко, близко…

Отдельно — глаза, губы…

Наверно, я стал у тебя психом. Всегда в прежних рейсах, ещё до встречи с тобой, хотелось до смерти шампанского. А сейчас… сейчас хочется увидеть твои слёзы!

Да, родная, не обижайся! Радостные слёзы. И ещё — поцеловать тебя. А ещё… Ну, ну, не бушуй! Девчонка моя, ругать сумасшедшего мужа — нечестно!

Родная! Ещё чуть-чуть… Не скучай! Не волнуйся. Когда ты получишь это письмо, то останется два, три дня до нашей встречи… Пустяк. Или нет, не пустяк. Каждый час — вечность.

К рассвету решено было многое.

Не пришлось долго одеваться, да и растоптанные башмаки без шнурков хранили ещё сонное ночное тепло.

Старик вышел во двор, обернулся, с улыбкой рассматривая свой дом.

…Идти по безлюдной, ранней, улице дачного посёлка ему пришлось всего лишь несколько минут. Через два перекрёстка, у красивого, невысокого, ярко-зелёного забора старик остановился, вздумал было постучать по жестянке почтового ящика, но потом решительно распахнул незапертую калитку и направился к ступеням веранды.

Никого он не хотел тревожить, ни с кем не хотел в эти минуты встречаться и что-то говорить.

Тронул жёсткими пальцами оставленный на веранде с вечера маленький детский велосипед, погладил розовую пластмассу игрушечной кукольной коляски.

Опустился на колени, положил на верхнюю ступеньку коричневый бумажный пакет, перевязанный синей лентой.

Достал из кармана две старые телеграммы. Расправил пожелтевшие от времени листки, не удержался, перечитал одну.

«Родная не беспокойся тчк писем больше не пиши скоро снимаемся промысла тчк не волнуйся любимая очень жду встречи целую твой».

Положил поверх пакета. И ещё слова, другие…

«Два письма уже получила меня всё хорошо жди потомство целую твоя».

Хотел было подняться и идти, но помедлил, достал из кармана куртки остаток простого карандаша, крупно вывел на обороте одной из телеграмм.

«Сын, это первый документ о тебе. Прочитай его».

Тронул ладонью глаза. Дописал.

«Знаю, как ты занят на своей работе, но найди время, прочитай и всё остальное».

И этот, последний, листок положил на коричневый пакет. Поставил поверх, для сохранности от ветра, поцарапанного ежика.

Тихо прикрыл за собой зелёную калитку….

2015

## Александр Гутов. Снайпер. Стихотворения

Гутов Александр Геннадиевич. Россия.
г. Москва
Член союза литераторов Москвы, стихи опубликованы в журналах "Дружба народов", "Юность", "Московский вестник", "Арион", Кольцо «А», альманах "База", чешский журнал "Умелек", русско-болгарский сборник Содружество, проза опубликована в журнале «Юность» и альманахе «Подвиг».

*Прошлое, реальность, антиутопия будущего — все уложилось в четыре стихотворения Александра Гутова. Нет романтики в снайперском прицеле, но автор слышит «музыку металла — пули легкий свист», и доносит это впечатление до нас, ее не слышащих. Насквозь пронзает читателя мастерски сделанный «чеченский» срез с той, все дальше уходящей от нас реальности. Железа в крови этих стихотворений ровно столько, чтобы почувствовать, что эти красные капли на песке, на снегу и в памяти принадлежат мужчине.*

*Наталья Борисова*

### Средневековье

Распрямилась времени  пружина:
запах камня,  стершиеся даты.
Смотрит современная дружина
в полые квадраты.

Инструменты в их руках смешные.
Спрятаны под многослойным сором
полые квадраты земляные,
плиты  под узором.

Всюду камень, сколотые грани;
просверк взгляда в степи исподлобья.
те, кого привозят с поля брани, —
буквы на надгробье.

Резчики  отличные в  артели,
каменная крошка — струйкой белой;
имена погибших в ратном деле
под рукой умелой.

На плите, что погребли, как мину,
под густым, все разложившим слоем,
имярек, затянутый в турбину,
станет ли героем?

Белые разрубленные кости,
к каждой бирку прикрепив для счета,
перепишут незваные гости, -
скромный караул почета.

Скрыты под пластом многометровым
слезы, скорби, седина до срока.
Ласточкой примчится к первым вдовам,
весть с Юго-Востока.

**Комета**

Знаки карты линии засечной
посреди ковыльника густого;
налетает вдруг гирлянда света,
громовой прибой,
затрясет вагоны — это встречный,
он огни кидает до Ростова,
яркая, слепящая комета,
может быть, природы сбой.

Завтра утром в окна — запах росный
залетит в мой малый рай купейный;
завтра Скорый сбавит обороты,
лопасти замрут.
На фасаде прочитаешь – «Грозный»;
принесут сюда прибор кофейный,
нас числом в вагоне меньше роты:
обслужить — не труд.

Грянет речь гортанная с платформы —
сплав шипящих, режущих согласных;
снова путь, — далекая завеса,
это показался контур гор.
В окна выше среднерусской нормы
залетает хор подростков праздных
прямо из предместий Гудермеса,
где их вечный сбор.

Дымчато-сиренев ломкий контур,
вот уже он тянется привычно;
там, в ущельях джин сидит в засаде,
мхом оброс и врос в скалу.
Распласталась степь до горизонта —
словно проверял всевышний лично,
каждый бугорок, пройдя, разгладил, —
пестрый коврик на полу.

Семьдесят восьмой — пугают числа;
от него сюда — года разлома.
Семьдесят восьмой — в разгаре лето,
семьдесят любой.
И страна, как в затяжном, зависла,
из-за гор еще не слыша грома;
странная, слепящая комета —
может быть, природы сбой.

## Снайпер

Снайпер пристрелял себе отличный сектор
—поле и лесок.
Пуля понимает лишь простейший вектор
— от бойка, — в висок.
Пятачок сарая, годы тренировки,
враг — почти в «три д».
Снайпер верит только в бога маскировки,
в ночь и в СВД.
Ясность приговора, простота решенья,
окуляра блиц.
Снайпер тоже любит жесты и движенья,
и открытость лиц.
Палец словно ожил и нашел опору,
лег на пусковой.
Локоть ближе к ложу, правый глаз, — к прибору.
Стиль – сверхделовой.
Снайпер современен, время их настало,
он в душе артист
Снайпер тоже любит музыку металла —
пули легкий свист.

## Последний батальон

Последний день апреля. Чадный дым.
Чем ты ответишь красному потопу?
Как хорошо погибнуть молодым,
сражаясь за единую Европу.
Он знает, чем известен Розенкранц,
он любит эту тонкую культуру,
сейчас лежит он у Потсдамер-плац,
ловя в прицел славянскую фактуру.
Оружия полно, но сил в обрез.
От танкового русского тарана
он защищает городок СС,
стреляя в полупьяного Ивана.
Его зовут Этьен, а может, — Поль,
он из Брюсселя, Реймса, из Эльзаса;
железный рыцарь презирает боль
и держит пост в районе Альбрехтштрассе.
Прощайте черепица и герань,
Иван повсюду, выкипает злоба.

Остатки батальона Шарлемань
в себя вбирает прусская утроба.
Последний путь на Север,  там  — прорыв.
Нашлось бы сил в развалинах укрыться.
На площади вокзала новый взрыв.
И он исчез, как прусская столица.
Он видел их, воительниц с небес,
Он улетел в чертог бессмертной славы.
Последний батальон солдат СС -
  эльзасцы,  люксембуржцы, скандинавы.

# *Алина Скво. Нерекомендованное чтение. Повесть*

Галина Скворцова (псевдоним Алина Скво) – коренная крымчанка, поэтесса, бард, прозаик, публицист.
С 2005-го года член Союза писателей Крыма, Союза русских, украинских и белорусских писателей АР Крым. Лауреат литературной премии им. А.И.Домбровского, поэтического конкурса «Чеховская осень», фестиваля авторской песни им. Артура Григоряна в зимней Ялте, поэтического фестиваля в г.Балаклава «Пристань менестрелей» и других конкурсов. Выпустила сборники стихов «Молоко и мед» и «Заболевание крови», а также музыкальный альбом «Песни Велеса». Печаталась в крымских журналах «Брега Тавриды» и «Золотой Пегас» (Крым), «Московский вестник», «Вестник» (Москва), в сетевом журнале «Что есть истина?» (Лондон), в газетах Крыма и Москвы.

*«… кто умножает познания, умножает скорбь». Екклезиаст*

*Рубеж веков. Переход всегда болезнен. Вскрываются раны, зло обретает «плоть». Все это предстает перед взором подростка, позволившего себе заглянуть в Пределы, для человека сокрытые. Сможет ли он очистить душу, не сломаться? Что спасет его и вернет к жизни? Необычная повесть о, казалось бы, сверхъестественном, но, на поверку, таком земном.*

*Олеся Янгол*

*Посвящается моим бесконечно любимым дедушке и бабушке — Александру Ефимовичу и Полине Васильевне Скворцовым, которые вложили в меня основы воспитания.*

Тоннель был не узким и не широким. Он являлся совершенным в строительном плане подземным коридором, словно специально созданным для любителей прогулок в стране Агарти. Дорожка из речного песка утрамбовалась до паркетного блеска бессчетным количеством башмаков. По обе стороны от нее пенилась сгущенная зелень можжевельника. Свод покрывали затейливые изразцы, отливающие драконьей чешуей. Жуки, бабочки, птицы проносились с жужжанием, мельканием, свистом и уханьем крыльев.

Тринадцатилетний увалень, ученик 7-го «А» класса Алексей Лохнин, увлеченный перспективой яркого свечения в конце тоннеля, торопился к выходу, ожидая чуда. Каково же было его разочарование, когда манящий, густой, подобный коровьим сливкам свет на поверку оказался тривиальной, как подсиненная простынь, плоскостью!.. При ее разглядывании Леша прямо перед носом увидел прямые линии и углы, в одном из которых застрял крошечный, с маковое семя, паучок.

Шаря перед собой взглядом, подросток пытался определить, где находится. Он этим так озадачился, что у него от напряга защекотало в носу. Лешка принялся тереть пятак пятерней и вдруг обнаружил, что не видит собственной руки. Зажмуривая по очереди глаза, он безуспешно

силился лицезреть свой орган обоняния. Затаив дыхание, Лохнин посмотрел вниз, на ноги. Ног не было.

«О, черт! Так вот вы какие — деменции», — подумал подросток и отчаянно завертел головой, стараясь сбросить морок. С молитвенной надеждой он воззрился вверх, туда, где, по его представлению, обретался его личный ангел-хранитель. Лешка увидел над собою не одного, а множество ангелов в белых одеждах, но без крыльев и вверх ногами. Они сияли, как сахарные головы, а на койке перпендикуляром к ним возлежало нечто совершенно непонятное.

Обернувшись вокруг своей оси, Лохнин расположился поудобнее, чтобы наблюдать действо и иметь возможность оценивать происходящее более или менее реально. Картинка с ангелами тоже перевернулась и приняла естественное положение. Мальчишка обнаружил, что висит, словно дирижабль в небе, под самым потолком до противного белой комнаты. «Любопытно, кто эти снеговики? А-а-а… по всему видать, врачи. Интересно узнать, что это за предмет валяется на кровати?.. О! Так это какой-то чел, а не предмет. Где-то этот фейс я уже видел».

Малец напрягся, снова почесал нос, уже не обращая внимания на отсутствие оного, как и конечности. Он вытянул шею (которой тоже не было), прицельно вгляделся в лицо болящего и… оторопел. Больничный саван простыни и разнокалиберные шланги, змеями впившиеся в тело, не помешали Лохнину узнать в бледном толстуне самого себя. В этот момент он все вспомнил.

***

Он вспомнил до мелочей тот слякотный вечер, когда их веселая компашка, состоящая из двух девчонок и трех пацанов, прошмыгнула в проем черной, как эреб, подворотни. Нащупав фонариком ход, ныряющий вглубь, подростки в полном молчании начали осторожное погружение в преисподнюю. Над ними нависали каменные скелеты вымерших двухэтажек.

Некогда проживающие в них военные офицеры, вольнонаемные лица, рабочие и служащие граждане бывшего Советского Союза разбежались в поисках удачи по городам и весям разных царств-государств. Покинутый ими поселок Горный возлежал в окружении крымских степей на плоской, как блин, земле, чем полностью дискредитировал свое название. Никто уже не мог сказать, кто, когда и по какому поводу дал поселению такое имя, поскольку это было слишком давно — то ли при княжестве Феодоро, то ли при владычестве самого царя Гороха.

Каждую пятницу в прорве поселковых задворков школяры кучковались по самому, казалось бы, благому поводу — обмену книгами. Пробираясь в подвальные катакомбы, они топтались по раскрошенным ступеням и кошачьему дерьму. Вдыхая вонь, нескучная лит-банда опускалась на дно, подгоняемая страстью к печатному слову.

Это были чистенькие и с виду образцово-показательные детки, которых учителя так любят ставить в пример ненавистным двоечникам, тем, кто неуклонно портит цифры преподавательской деятельности, выраженной в денежном эквиваленте. Над головами снующих на переменках недорослей высились фотографические портреты преподовых любимчиков,

пришпиленные к стене учебного заведения под аршинными красными буквами ГОРДОСТЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ. То была целая картинная галерея детских смешливых рожиц.

Одна из них принадлежала отпрыску иудейского племени по имени Соня Гусман. Девочка была неумеренно красива и столь же сильна в математике. Каждое лето престарелые интеллигенты родители увозили свое драгоценно чадо в Киев к дряхлому профессору, который лепил из нее звезду физико-математического небосклона. За глаза малолетние завистницы называли ее Гусыней, но в глаза — никогда, потому что скатывали у нее домашнее задание по точным наукам почти ежедневно и совершенно безвозмездно. Лохнин был тайно влюблен в Соню, что, тем не менее, не было ни для кого секретом.

Второй портрет представлял луноликую кореянку Зину Ким, известную под псевдонимом Кима. Шустрая девчонка, обладала двумя толстыми канатами кос, парой тонких кривых ножек и фантастической прыгучестью. Последнее качество дало возможность ее показателям по прыжкам в длину приблизиться к мировым и, несмотря на средние оценки по основным предметам, «примазаться» к школьным гениям. Фото многократной чемпионки республиканского масштаба на фоне дюжины латунных триумфаторских кубков располагалось в разделе «Спортивные достижения».

Мальчик Гоша Азурашвили, среди однолеток называемый сокращенно Азур, относился к потомкам грузинских дворян. Черноглазый и чернокудрый подросток обожал русскую литературу и один из немногих знал по именам всех русских классиков. Но у него не было ни единого шанса стать филологом, так как с пеленок он был благословлен сколь многочисленными, столь и состоятельными родичами на почетный труд винодела. Он был сын не просто винодела, а директора целого винзавода, хоть и небольшого, но зато не потопляемого ни при каких перестроечных катаклизмах, и исправно развозившего вино и коньяк из Горного во все четыре стороны Крыма. Ввиду столь веского родственного обстоятельства педсоветом было решено поместить Гошину физиономию прямо в центре «галереи».

Макухин Стас по прозвищу Маг «висел» неподалеку от Азура среди отличников по русскому языку и литературе. Он на целых два года был старше своих друзей семиклашек и опережал их в развитии по всем показателям. Маг имел некоторые экстрасенсорные задатки, литературные способности, определенный опыт взрослой жизни и почти неограниченную свободу. И вся эта лафа ему досталась благодаря немощной бабушке, которая в молодости являлась уважаемой в пэгэтэ интеллектуалкой, красавицей, ведуньей, а сейчас была обычной старушонкой, передвигалась с помощью клюки и до безумия обожала своего ненаглядного внука. Мальчик лишь изредка виделся с родителями, когда они ненадолго приезжали в Горное из Лиссабона, где зарабатывали свои кровные строительным трудом. Они всегда были озабоченные, удрученные и почти чужие.

Маг был ведущим звеном пятерки, патронировал своих друзей, приобщая их к культурному чтению и защищая от шпаны. И была эта деятельность для него чем-то смахивающим на складывание пазлов. Он не

задумывался над тем, какая получится картинка, но его прикалывал процесс.

Леша Лохнин, музыкант в третьем поколении, поздний ребенок одинокой мамы, недолгое время откликался на обидную кличку Лох. После победы в минувшем году в республиканском конкурсе «Юный виртуоз» он стал именоваться Пианистом. Лешкин портрет красовался на школьной доске в самом верху, как бы предводительствуя над всеми. Это не клеилось с неуверенным в себе подростком. Но фотограф не догадывался о застенчивости музыкального мальчика, поэтому выхватил из обоймы снимков именно тот, где новоявленный маэстро представал в самом смелом ракурсе вдохновения с вихрами, торчащими над щекастым лицом, с безумным взором триумфатора под потными очками, с растопыренными пухлыми пальцами, жестоко утопленными в клавиатуре.

Родители, проходящие мимо доски почета, припадали умиленными взорами к этому капищу тщеславия, откуда на них смотрели, смеясь, лики их детищ.

Еще недавно юные читатели обменивались книгами на большой перемене в школьном коридоре, разложив художественную литературу на широком подоконнике, как на столе. Но благодаря одной сенсации, в их жизни, как вынужденная необходимость, появился подвал. Каждую пятницу окунаясь в клоаку своего подполья, они тонули в мутной субстанции неподцензурного чтива, от которого сносило крышу. И, как ни странно, в этом была заслуга … Пианиста. Алексей Лохнин, возлюбленный сын добропорядочной матери совершил для себя открытие, равнозначный взрыву атомной бомбы. И если тело малолетки не слишком преобразилось, то душа разлетелась в клочья.

***

Однажды, когда родительницы не было дома, побуждаемый детской пытливостью, пацан решил выяснить, что лежит на загадочных антресолях. Тото Кутуньо уже много лет строил ему из-под потолка глазки с листа глянцевого плаката, приклеенного к дверцам таинственного вместилища. Аккуратно, насколько это возможно, Лешка отклеил очаровательного исполнителя от крашеной поверхности и разъял фанерный заслон.

Перед юнцом распахнулся настоящий ящик Пандоры, под завязку напичканный книжными брусками разных калибров. Схватив первый попавшийся и кое-как прилепив плакат на место, он слетел сизым голубем с верхотуры и, едва не потеряв очки, кубарем покатился в свою комнатенку — глодать чтиво под названием «Я — Эдичка» Эдуарда Лимонова.

За пару присестов Лохнин проглотил «Эммануэль» пера Арсан, «Жюстину» маркиза де Сада, «Заводного апельсина» Берджеса, «Интердевочку» Кунина и «Камасутру». После этого у него испортился сон, аппетит и здоровый цвет щёк. К его застенчивости добавились недоумение и испуг. По ночам, словно духи неупокоенных, к подростку стали приходить герои романов и проделывать с ним разные штуки. Днем они уходили в свою параллель, забирая с собой часть отроческого сознания и заполняя освободившуюся пустоту послевкусием ночных

видений. От этого Леша ощущал в себе разобранность, хрупкую фрагментарность, которую он наблюдал у всех китайских легко ломающихся человекообразных игрушек. И сам он, каждый раз присосавшись к новому роману, видел себя куклой, участником театрализованно-садистской игры, придуманной для него звероподобным Карабасом — одновременно сценаристом, постановщиком и режиссером.

Найденный Пианистом в собственной квартире «клад» книгочеями был принят с восторгом. Незамедлительно пришло решение как можно скорей изучить Лешкину тайную библиотеку. А для того, чтобы никому не попасться с компроматом на глаза, место дислокации было найдено такое гиблое, что даже бомжи в него не заглядывали.

В тот фатальный вечер юные интеллектуалы с грехом пополам ощупью разместились в завалах заплесневевшего подвала и притихли. Сбившись в кучу над спаренными яблочными ящиками, ребятня замерла в напряженном, как дверная пружина, ожидании. И вот из разверстого Лешкиного ранца в свете фонариков показались ядреные корешки свежих ядовитых экземпляров экстремальной литературы. Юные читатели, отшвырнув чувство ложной деликатности, которую они старательно демонстрировали в присутственных местах, жадно набросились на ранец и вмиг расхватали книжки, как печеные пирожки.

Гоша ловко выудил «Тропик Рака» Генри Миллера; Кима зацепила «Парфюмера» Патрика Зюскинда; Соня медлительно, но с решимостью потянула томик с надписью В.Набоков «Лолита». Маг, ухмыльнувшись, наклонился к ранцу нехотя. Ему досталась «Пианистка» Эльфриды Елинек. Детские фигурки оживились.

Все принялись листать страницы, отыскивая в них картинки. На некоторое время полутьма наполнилась абразивным шорохом. Своды подвала зазмеились тенями. Пианисту показалось, что из недр вышли тролли, вурдалаки, инкубы и, полные жизни, запрыгали, вожделея запретной литературы.

Шуршание продолжалось минуты три, пока не выяснилось, что ни в одном шедевре нет ни единой иллюстрации. Фотографии авторов тоже отсутствовали.

— Во, блин! У меня нет картинок, — пискнула Кима.

— Аналогично, — отозвался Азур.

Соня и Маг промолчали. Все посмотрели на Пианиста. Пианист посмотрел на Соню. Он сказал, меняясь в голосе:

— Ведь я уже объяснял, что в данной печатной продукции не может быть картинок, потому что она предназначена для взрослых, — и вспотел сильно, но в темноте незаметно.

В ответ девочка поглядела на Пианиста так, словно перед нею сидел не малолетний толстун с запревшими очками на кнопочном носу, а настоящий мужчина — парашютист, дайвер, всадник на коне, альпинист, Бэтмен и Шварценеггер в одном лице. «Подумать только! Леша Лохнин читает взрослые книги! А ведь он и впрямь небезынтересный кадр, стоит на него обратить внимание. Честно говоря, все эти приглаженные хорошисты предсказуемы и одномастны, как клоны. То ли дело Алексей! Личность неординарная и развитая не по годам — виртуоз, эрудит, утонченный гуманитарий. И ко всему в придачу не выскочка и не хвастун».

Так думал Пианист, надеясь, что эти мысли принадлежат не ему вовсе, а Соне — лучшей девочке на свете. Он даже видел неким третьим глазом, как эти самые мысли стартуют с русой Сониной головы, устремляются прямиком к солнцу и разлетаются по всему свету в виде снежнобелых почтовых голубей с хвалебными панегириками ему — Алексею Лохнину.

Маг хмыкнул, едко скривив уголок рта. До недавнего времени, пока Лох не стал притаскивать свой чертов сидор, доверху набитый самым пресамым нерекомендованным чтивом, эта малышня слушала только его и буквально заглядывала ему в рот. Он снабжал их книгами, которые представляли для букинистов немалую ценность, поскольку были изданы более полувека назад. Для Мага же они были бесценны.

Эти труды читал и он, и его родители, и многие хорошие люди еще в те времена, когда бабушка была молодою и жила со своей семьей в коммунальной квартире. Многие книги были подарены ко дню ее рождения. Старая женщина рассказывала внучку, кто и когда презентовал ее тем или иным экземпляром, ни разу ничего не перепутав. Она открывала древний, но всегда подклеенный и подремонтированный том, любовно гладила сухонькой ручкой матерчатую корочку со стертыми уголками и улыбалась, вспоминая друзей, многих из которых уже не было в живых. Потом ведунья брала огромную, размером с добрую сковороду, лупу в резной костяной оправе и, разглядывая фронтиспис, говаривала: «Ну-ка, давай поглядим, какого ты года рождения. Может мы с тобой ровесники? Хе-хе-хе!..»

Маг любил аромат архаики с размытым свинцовым тоном, сочащийся из потертых кремовых страниц. Любил алые вензели заглавных букв, питающие смыслом текст, как вены питают кровью сердце. Любил льняные и кожаные облачения книг, мускусную отдушку переплетов, золотые клейма тиснений. Но больше всего его влекли картинки. Как только он доставал с полки очередное издание для прочтения, то первым делом просматривал рисунки. Иногда, если изображения не нравились, то парнишка отправлял том на место, извлекая другой.

Иллюстрации точно предсказывали Магу, насколько чтение будет для него интересным. Одни — яркие до пестроты, как крестьянский лубок. Другие — настоящие живописные полотна, вернее, их уменьшенные копии на первоклассных глянцевых листах, перемеженных прозрачными перепонками кальки. Третьи — графика — черные силуэты на белом, но тоже красиво.

Потрагивая художественные оттиски нежными, как соски кормилицы, подушечками пальцев, Маг ощущал тончайшую их фактуру. Ему казалось, что от поглаживания краски вспыхивают ярче, исполняясь новыми оттенками и молочной теплотой. От этих касаний в мальчика вливалась особенная сила не равнозначная ни физической, ни умственной, а лишь подобная волшебному сну. И тогда он принимался за чтение.

Он, Стас Макухин, зазывая в удивительный мир литературы своих друзей, приносил им самые лучшие, художественно оформленные экземпляры домашней библиотеки. Так добрый хозяин приглашает путника в собственный дом — теплый, уютный, полный света, красивых старинных вещей и умных книг.

Маг перетаскал им с добрую сотню томов, среди которых — самые любимые: «Старая крепость», «Хижина дяди Тома», «Принц и нищий», «Остров сокровищ», «Два капитана», «Пионеры», «Любовь к жизни», «Всадник без головы», «Человек-амфибия», «Ундина», «Маугли» и «Педагогическая поэма» Макаренко. Он давал им читать сказки — русские, украинские, белорусские, узбекские, индийские, скандинавские и, конечно, сказки Пушкина. После школы, Стас водил семиклашек в одичавший каштановый парк. Там, в ветхозаветной беседке, он делился с ними, как государевой тайной, смыслом прочитанного. Он… теперь он стал им не нужен, потому, что у них появилось нечто такое… такое… какое даже показывать нельзя.

Маг встал. Он, как сложенный вдвое походный нож, пружинисто развернулся в немалую свою длину и проткнул остриями плеч и локтей тугой сумрак подвала. Его тень упала на потолок и нависла над четырьмя скученными вокруг фонариков живыми комочками, безобразно и пугающе корчась.

— Ну, ладно, пойду я. Бабушка меня ждет, — сказал Маг, нацеливаясь на выход.

Комочки вспыхнули оживлением, обнаруживая готовность вскочить и разбежаться по домам, как то и надлежит благовоспитанным детям.

Неожиданно Пианист громко воскликнул:

–Тормознитесь! Еще не все. Я не показал вам самое классное.

От неожиданности все замерли и немо уставились на Пианиста. Еще бы! Впервые они услышали настоящий голос этого тюфяка, в котором гнусная свистулька выдавала мутацию связок. При этом Соня смотрела на Лохнина, как ему показалось, выразительнее всех.

Леха быстро погрузил в ранец руки по самые локти и принялся тащить нечто такое, что не желало вытряхиваться по-добру и поскуливало при каждом движении. Азур, схватив лямки, резко их дернул. Котомка, взвизгнув, свалилась под ноги и сдулась. В руках у Лешки оказался вековой пудовый фолиант, весь упакованный в темный лоснящийся сафьян. Под лучами фонариков переплет вспыхивал позолотой орнаментов, петроглифов и рун. На обложке зеленела патиной чеканная медь окантовки и шлевок, которые и издавали щенячьи звуки.

— Секите, какая цацка! Пацы, я такой офигенной хреновины никогда в жизни не видел! — возопил в полной тишине Азур.

— Мы с Соней — не пацы! — возмутилась Кима.

— Пардон… Пацы и… барышни, — соксюморонил будущий винодел и протянул руку к диковине, — А ну, давай, Пианист, позырим, что это за книжонка, — пошутил Гоша вполне неудачно.

— Ой! Какие у нее козырные примочки! — восторгнулась Кима, тыча обгрызенным ногтем в чеканку.

Последовавшая реакция Лохнина была замечена всеми, в особенности, Магом. Под испытующими взглядами товарищей Леха подскочил и стал, вцепившись в предмет восхищения, готовый на все, словно держал гранату с выдернутой чекой.

Лишь бросив взгляд на раритет, Стас сразу догадался, с чем они имеют дело. Он различил на корочке символы классической магии, те самые, которые видел в трактатах, хранящихся в бабушкиных шкафах. Чуть ли не

ежедневно он втихомолку штудировал старославянский шрифт, впитывая тайные знания с жадностью алкоголика. Познав о несанкционированных деяниях внука, многомудрая чернокнижница даже не пыталась прятать ведовские письмена, зная, что запретный плод особенно сладок. Она лишь постоянно повторяла внуку одно и то же, как заклинание.

— Станислав, ты уже большой мальчик, поэтому должен хорошо понимать, что магия — это не детская забава. В руках дилетанта она может стать оружием самоуничтожения. Твердо помни это и никогда не совершай магических обрядов. По крайней мере… пока не дорастешь до мастера.

И Стас твердо следовал бабушкиным наставлениям. Некоторые мантры он все-таки читал, когда предстояла встреча со сворой одичавших собак или требовалось отсидеть целый час под самым носом учителя незамеченным. Иногда с помощью бабушкиного хрустального шара он заглядывал на пару дней в будущее. Но и только. Маг до чертиков боялся хоть на сантиметр глубже погрузиться в непредсказуемую бездну параллельного мира…

— Маг, зацени! — ошалевал Азур,— Эта фиговина может, как ты выражаешься, доставить нам большое эстетическое удовольствие!

— Кончай понты колоть. Это тебе не журнал «Крымуша». Тут черная магия, куда ни кинь. А я с нею не дружбанюсь и вам не советую. Врубаетесь?

— Маг, хорош выёживаться! Твои закидоны — беспонтовые, — встряла Кима, — Будь проще, и к тебе потянутся люди, — добавила она, съязвив.

— Не-а. Уже не потянутся, — отбрил ее Маг.

— Та шо ты гонишь?! Типа, ты козырный перец, а мы все — лохи. Все будет чики-пуки,— выразился Азур беззлобно. Он по-скоморошьи лыбился и корчил морды, пытаясь смягчить Мага. Но тот был неуклонен.

Пианист, осклабившись и не мигая, как зомби, протянул книгу Стасу. Тот инстинктивно отшатнулся, сделав вид, что не заметил Лешкиного жеста, коротко крикнул «пока» и тут же испарился. Вынырнув на поверхность, Маг притопил по бездорожью прочь от треклятого подвала, обжигаясь мокрым ветром. Всю дорогу он испытывал острое желание вернуться и отнять у этих малолетних недоумков опасную книгу…

***

…Болтаясь где-то между полом и потолком реанимационной палаты, Лохнин мучительно пытался отхронометрировать воспоминания трагедийного финала того злосчастного вечера, когда он осмелился самолично исполнить чернокнижный обряд. Отрывки происшествия, словно игральные карты, перетасовывались, мелькали, сами выпадали из колоды и укладывались в цепочку отдельно взятых картинок.

Картинка первая. Лешка открывает книгу и читает текст, напечатанный империалом: «Тот, кто хочет получить храбрость, силу, мудрость, защиту от злых сил и неограниченную власть должен сделать следующее; начертать пентаграмму, заключить ее в окружность и произнести заклинание…

Картинка вторая. Пианист стоит на возвышении, выстроенном из хлипкой фанерной тары. В его высоко поднятой руке зажат лист 4-А с

толсто начерченной рогатой звездой. Он, как заевшая виниловая пластинка, талдычит абракадабру: «Эм-пе-хе ар-зел га-и-ол!..» Семиклашки, замерев, тупо смотрят на Леху. Через минуту Кима с круглыми глазами истошно вопит: «Эй, покимоны, что в штаны наложили!? Или вы не экстрималы?! Приветствуйте вашего лидера!» Она начинает бить в ладоши и приплясывать, выкрикивая заклинание. Азур хватает камень и одурело лупит им по какой-то железяке, вторя Киме. Соня стоит с открытым ртом и просветленно смотрит на Пианиста.

Картинки надолго застряли в колоде, не желая показываться. Потом медленно легла третья по счету. На ней Лохнин видит Соню. Совершенно неожиданно для него, она смотрит ему в глаза взглядом призывным и почти вожделеющим. Почти как в той передачке с красным квадратиком в правом нижнем углу, которую в последнее время стали показывать вместо обязательных мультиков в шестнадцать тридцать. Там голая телка стоит на четвереньках задом вперед и, оттягивая указательным пальцем стринги, двигает вверх-вниз тазом, томно косится на зрителя и по-коровьи облизывает клубничный рот…

…От этой картинки Лохнин, зависнувший прямо над головой толстой медсестры, вштыривающей ему в руку иглу, ощутил знакомую тягучую сладость внизу живота и привычно потянулся к мошонке, забыв об отсутствии оной. Его подростковую забаву неожиданно прервала очередная картинка такая яркая, словно включили люстру в сто ламп. Сознание Лохнина помутилось…

…Вот он, Пианист, стоит на высоченной горе в лучах заходящего солнца. Где-то внизу удивительно стройно и проникновенно звучит «Аве Мария» Каччини в совместном исполнении Краснознаменного ансамбля имени Александрова и большого хора мальчиков. В небе гремит триумфальный салют и опадает на землю розовыми бутонами. У подножия горы скачут три камлающие фигурки. Они гремят тамбуринами и скандируют осипшими голосами магическое заклинание. Ото всюду к горе движутся и перемешиваются между собой огни. Это — глаза диких зверей и факелы в руках людей. Львы, тигры, слоны, олени, обезьяны, анаконды приближаются и замирают, подобострастно распластываясь под взором своего властелина — Алексея Лохнина. За ними следуют одноклассники, их родители, училка по фо-но, пьяный дворник Кузьмич, класснуха Маруська в офигенном декольте и юбке, слегка прикрывающей зад.

Директриса размягченно, как гнилой арбуз, катится самая последняя. Утонув в толпе, она пролазит вперед и взмахивает факелом. Все валятся на колени и, блестя в свете огней марионеточными, словно навощенными, лицами, вопят: «Алексей Лохнин, ты — наш повелитель! Делай с нами все, что тебе угодно!»

Пианист в упоении взирает на окрестности, погруженные в зелень трав и дерев. Река широкая, как небо, и длинная, как вечность, течет неведомо куда. Птицы нимбом кружатся над Лехиной головой, под его ногами — море из плоти и крови. Он истошно орет, скрежеща зубами и потрясая кулаками:

— Вот вы где у меня! Вот я вам!

— О, господин! Пощади нас! — рыдает человеческое стадо, заглушаемое воем зверей.

Возвышаясь над всем миром в лучах заходящего солнца, Лохнин с наслаждением рисует себе кровавые сцены расправы со своими обидчиками, всеми, кто обзывался, деньги отнимал, кто отметки ставил несправедливо, кто заставлял Шостаковича учить, кто метлой замахивался, кто у мамы деньги вымогал на ремонт школы… Все, что он прочел в газетах, журналах и книгах, что видел в американских боевиках, в Новостях и в жуткой передаче про криминал с ведущим Стогнием — все это он быстро сгребает в кучу и поджигает, как инквизиторский костер.

Заходящее солнце, вздрогнув последним лучом, меркнет. Факелы гаснут, голоса смолкают, и становится совершенно темно и тихо. Вдруг, у подножья горы раздается звериный рев и человеческий вой. При слабом отсвете Млечного Пути не на шутку струхнувший Лохнин с трясущейся брыжейкой и расходившимися коленками вперивается во тьму. Он пытается рассмотреть, что делается у основания его пьедестала. Взгляд сам собою падает вниз, и он видит, что стоит не на величественной горе, а на гигантской куче человеческий черепов. В ужасе он орет, срывая голос, и летит головой вниз в какую-то шахту без дна. Следом за ним скачут черепа, щелкая челюстями и впиваясь ему в мягкие части тела. А где-то рядом раздается сатанинский хохот бафомета и свист его черного плаща. Когда кажется, что сердце разорвалось в клочья и смерть уже наступила, Пианист слышит в голове щелчок некоего тумблера, после чего мгновенно оказывается вне всякой опасности в живописном тоннеле с ярким светом в конце него…

***

…После первого потрясения и обнаружения себя в больничной палате Лешка Лохнин открыл новые свойства своего существа. С радужным чувством он колесил вдоль и поперек стерильного больничного пространства. Словно предполагаемый персонаж перевернутых картин Яцека Йерки, он истоптал по стенам и потолку все диагонали и параллели. В состояние абсолютной эйфории он впал, когда понял, что умеет парить в воздухе и попадать куда угодно через какие угодно препятствия совершенно безо всяких усилий. Но вскоре его радость вытеснилась смертной тоской.

С недоумением взглянув в белое, как у гейши, лицо своего второго, вернее, первого Я, Лохнин для начала отправился прогуляться по больнице. Проходя сквозь стены, предметы и людей, он проник в палаты, приемную, больничную столовую, отделение скорой помощи, реанимацию и даже операционную. Повсюду его преследовал занозистый запах хлороформа и саднящие душу картины людских мучений. Он видел не вполне живые тела с мертвыми лицами. Страдальцы валялись по пять-шесть человек в одной палате, как колоды. У одних была ампутирована нога. У других из голых животов торчали трубки для отвода мочи, желчи или кала. Третьи без видимых повреждений лежали трупами на провисших панцирных кроватях. Изредка кое-кто поднимался со своих одр и самнамбулически полз по коридору.

Лохнин видел людей в белом, деловито снующих повсюду и ловко производящих разнообразные манипуляции над болящими, словно то были не люди, а предметы производства, подлежащие вытачиванию, починке,

компоновке и крепежу при помощи болтов, сварки и кувалд по технологическим стандартам и чертежам.

Проникнув за стены реанимации и операционной, Лешка не смог ни на шаг продвинуться вперед. Небесная сила очертила пятачок ойкумены для беспомощных тел, временно покинутых душей, и самолично защищала их от вторжения извне чего бы то ни было. В морг Пианист не пошел — страшновато. Но он видел, как четверо здоровенных медбратков в халатах подвезли к «парадному» крыльцу мертвецкой каталку, укрытую белой простыней, из-под которой торчали голые зеленоватые ступни. А в это же время с противоположной стороны морга, от черного его входа четверка таких же накачанных ребят, но уже в джинсе и берцах понесла к катафалку увесистый нарядный гроб с белыми кружавчиками. Пианисту это напомнило телесюжет о производстве полуфабрикатов. На входе — неприглядное сырье, на выходе — упакованный продукт.

Леша — тепличный цветок, музыкально одаренный ребенок с тонкой нервной организацией — угрюмо бродил больничными коридорами никем не замечаемый. Его преследовали видения человеческих ран. Впервые он столкнулся лицом к лицу с болью, страданием и смертью. Сам он находился между небом и землей и не совсем понимал, что с ним происходит. Парнишка надеялся, что это всего лишь кошмарный сон, что проснувшись утром, он помчится в школу, на ходу чмокая в щеку маму и прихватывая со стола пару учебников. Он, как обычно, отправится туда, где его ждут друзья, увлечения, книги. А потом сон забудется, и его подростковая реальность обретет прежние прочные очертания. Но внутренний голос сказал ему совсем другое: «Леха, ты изрядно набедокурил, и теперь только одному Богу известно, что с тобой будет дальше, — помолчав, голос жалобно добавил, — Бедная-бедная твоя мама…» Мальчонка горько заплакал, не имея шанса ни заявить о себе, ни хотя бы утереть слезу.

Лешка не успел отойти в сторону, когда вынырнувшая из-за угла бригада скорой помощи, облепив каталку с окровавленным мужчиной, пронеслась сквозь него. Истерично крича и гремя, все скрылись в операционной. Проводив их задумчивым взглядом, Лохнин услышал рядом, за дверью сортира, тихие стоны. Минуя перегородку, он увидел на унитазе всем телом дрожащего от слабости старика, совершающего безуспешные попытки подняться на тонкие журавлиные ноги. Леша потянулся к страдальцу, чтобы помочь. Тут он выяснил для себя, что ровным счетом ничего не может, так как является бестелесным духом, призраком и более ничем. Скорбно вздохнув, он отвернулся от бедняги, бесшумно отделился от пола и, с надеждой глядя в небо, полетел прочь от этого смрадного вместилища человеческих трагедий…

***

…Трансцендентный полет Пианиста в пэгэтэ Горном не был встречен ни восхищением прохожих, ни ликованием природы. В округе не наблюдалось ни солнца, ни снега, ни чего-либо радостного. Слякотный, мерзкий, как чесотка, зимний крымский день медленно полз к полудню. По городским маршрутам без энтузиазма катили чумазые авто, беспардонно брызгая дорожной грязью в пассажиров, пригвожденных холодом к остановке.

Темные фигурки, что стояли у обочины дороги, сливались с моросью и горбили от холода спины. Многие, понукаемые желанием отделаться от дождя, неслись стремглав. Зонты, как летучие мыши расправляли крылья и садились на головы торопыг.

За неделю до конца двадцатого века человечество металось в ожидании апокалипсиса. Тысячелетние предсказания пророков были свежи, как никогда. Прогноз надвигающихся катаклизмов при всем том не умалил традиционной предновогодней суеты. Напротив, Горный заранее принципиально ощетинился небывалым количеством искусственных елей, из-за отсутствия средств украшенных силами патриотов — скромно. Рядом с малочисленными стеклянными шарами красовались самодельные гирлянды из лампочек Ильича, бумажные фонарики, пластмассовые цветы и пучки медицинской ваты, от чего новогодние красавицы имели буквально «мокрый» вид.

Люди в ажитации сновал без цели и без денег, запутавшись в сетях постперестроечного хаоса. Ноги несли их куда бы то ни было, так — на что-нибудь поглазеть. Дурацкие плакаты с начертанием «С Новым Годом! С новым счастьем!» были теперь вовсе не такими уж дурацкими. Они, словно советские транспаранты, лезли ото всюду в глаза и оседали золотыми крупицами стабильности в сознании обывателей. Автобусные остановки и сами автобусы, окна и фасады домов, доски объявлений и столбы бодрили этими традиционными новогодними лозунгами всевозможных форматов и цветов. Группа малолетних хулиганов присовокупляла к плакатам красной акварельной краской АМИНЬ! Старушки, наблюдая это безобразие, пускали в платочки слезу и тихим шепотом благословляли малышню.

…Алеша реял где-то выше вальяжного дымного хвоста кочегарки, доедающей скудный лимит угля на декабрь месяц. Восторгаясь своей невесомостью, семиклассник оглядывал городок, топорщивший из уютной ложбинки наперсточного скверика кипарисы, как иглы бдящий о своей безопасности дикобраз. С зоркостью стрижа мальчик созерцал залатанные крыши промокших зданий, островки щербатого асфальта, эллипсы голых клумб, пестроряденные от разноцветья машин автостоянки и прочую топографию, угнездившуюся в черной метелочной гуще деревьев и кустов. Лохнина забавлял муравьиный бег граждан по ниточкам тротуаров мимо гнойных прыщиков урн, матрешечного нутра витрин, лысых платанов, кишок водоотводов с выползающими из них дождевыми червями струй. Двери казенных домов, разнокалиберных забегаловок, парикмахерских, магазинов клацали, как хлеборезки, и отсекали ломтики мгновений, то проглатывая, то выплевывая посетителей.

Пофланировав над поликлиникой, копящей болячки пациентов в старинном здании с колоннами, когда-то принадлежавшем неким мелкотравчатым буржуям, Пианист миновал рыночное стойло с многочисленным поголовьем торговых палаток, навесов, лотков и бутиков. Потом он пролетел над одичалым каштановым парком с подшерстком поросли, единственной трухлявой беседкой и множеством пней в окружении белых вылупков грибов.

Дальше его путь пролегал мимо устрашающих конструкций высоковольтной подстанции, гудящей, как взбешенный пчелиный рой.

Проплывая над отдаленным пустырем, где летом мальчишки гоняют мяч, Алеша увидел великолепного, лоснящегося под дождем черного аписа. Хозяин выгнал бычка на ядреную отаву, подросшую, как это обычно бывает в Крыму, к Новому году. Безо всякого интереса Лохнин проскользнул над игрушечным винзаводом, приземистой аптекой в два окна, солидным отделением связи, оцинкованным куполом наперсточной церквушки, казематами профтехучилища, грандиозными по масштабам и столь же грандиозно пустыми двухэтажными стеклянно-бетонными строениями Дома Культуры и Дома быта.

Неожиданно вниманием Пианиста завладел полуразрушенный летний кинотеатр. Под крышей сцены прижился целый рассадник временно пустующих ласточкиных гнезд, напоминающих пещерные мини-рынды. В обсыпавшемся дырчатом ракушечнике стен пролегли дромосы. Пара несущих опор, сохранившихся от рухнувшего задника, высилась, словно менгиры, в память о цивилизации, в прошлом известной как Советский союз.

Вдруг Лешка заметил скачущего по лужам знакомого мальчика со скрипкой. По всему было видно, что юный скрипач торопится в музыкальную школу, и настроение у него мажорное, невзирая на непогоду. Компактный футлярчик весело приплясывал в его руке, и скрипочка легонько погромыхивала. Энерджайзер Пианиста заработал в авральном режиме. Пианисту до смерти захотелось прикоснуться к немым костяшкам своего фортепиано, оживить их силой мышечного напряжения рук, услышать звуки, синтезированные из немыслимого смешения нот, эмоций и нетленного таланта композитора.

В этот миг он не обижался на свою толстозадую, толстопалую и толстошкурую училку по фо-но, которая заставляла его разучивать какофонические шедевры Шостаковича, насилуя тем самым абсолютный слух юного дарования во благо своей карьеры препода. Ведь были и красивые вещи в его ученической программе, например, багатель «К Элизе» Бетховена, которую Пианист всегда посвящал только одной девочке на свете — милой Соне. Образы любимых композиторов — Моцарта, Бетховена, Баха, Вивальди, Чайковского, Листа, Рахманинова, Паганини, Сен-Санса, Скрябина — на время завладели его мыслями. Это их произведения он с наслаждением разбирал, заучивал и исполнял. Невероятные истории их жизней он многократно перечитывал, пристально вглядываясь в высокородные лики гениев на фотографиях и литографиях. Теперь они были от него далеко, а их волшебная музыка молчала. Леша тяжко вздохнул…

…Левитируя в заоблачной выси над городком, то поднимаясь, то опускаясь, как на морских волнах, Пианист на гребне своего взлета зацепил взглядом мертвечину степи, размежеванную вдоль и поперек пунктиром лесополос. В степной шири, словно прочерченная под линейку, пролегла автомобильная дорога, связывающая Горный с центром цивилизации. Параллельно ей наперегонки с редкими жучками авто семенила сороконожка вагонного состава. Она, словно от боли, одиноко взвизгивала зурной, взывая неизвестно к кому. Лешке стало жаль «сороконожку». Но, не успев хорошенько ей посочувствовать, он, подчиняясь инерционному закону, опустился в нижнюю точку траектории,

как раз напротив девственно-белого здания библиотеки с черными кружевами кованых лестничных перил, балконов и лоджий.

Это было любимое место пребывания семиклассника. Когда-то здесь жила некая особа из купеческого рода. Теперь здесь работала мама Леши Лохнина. Мальчишка догадывался, как сильно он огорчил свою мать. Он, словно наяву, увидел ее со стопками книг передвигающуюся узкими лабиринтам стеллажей. Вот она разбирает поступления новых изданий, заполняет читательские формуляры, отвечает на вопросы посетителей. А по лицу ее текут слезы. Лохнин снова заплакал сухим беззвучным плачем.

В своей памяти он любовно, будто драгоценные камни в пальцах перебирал эпизоды о своих посещениях библиотеки, где его принимали, как родного. Эти воспоминания согрели и успокоили его, точно теплое молоко на ночь.

Он обожал этот основательный двухэтажный дом с мягкими ковровыми дорожками, царственными люстрами, книжными полками до небес, беломраморными колоннами, которые так любили подпирать студенты. Ему нравилась особая тишина просторных комнат, где не было слышно ни шагов, ни разговоров, а только разреженный шорох страниц. Когда сумерки за окном постепенно загустевали, как черничное варенье, он вглядывался в читательские лица. В электрическом свете они становились загадочными и, словно портреты фламандских художников, манили прозрачным фарфоровым величием.

Леша с удовольствием помогал маме расставлять книги по шифру ББК. Ему нравилось отправляться с исключительными заказами в книгохранилище и там наблюдать, как сотрудница библиотеки, включая свою блистательную память, быстро отыскивает редкий экземпляр. Он любил извлекать информацию о том или ином сочинении, перебирая каталожные карточки, нанизанные для сохранности на железные анкеры и расположенные в длинных узких деревянных ящичках, пахнущих почему-то прошлогодней соломой. Он обожал рыться в книгах, неимоверно увлекаясь чтением, оторваться от которого не представлялось для него возможным. Чего здесь только не было! И фантастика, и приключения вместе с путешествиями, и история, и наука. Лохнин проглатывал все подряд, не утруждаясь перевариванием.

Когда его просили, он беспрекословно заполнял читательские формуляры в детской библиотеке, расположенной в этом же здании на втором этаже. В листки песочного цвета, внутрь которых медицинским почерком, не поддающемся расшифровке, были внесены записи о выдаче и возвращении книг, следовало вставить дополнительный листок с оглавлением «Рекомендованное чтение». Леше, как семикласснику, поручали заполнять такие листки своим однолеткам. Стараясь красиво писать, он, закусив нижнюю губу, усердно выводил по пунктам: 1.Героический эпос народов.2. М.Ломоносов «Восшествие на престол императрицы Елизаветы Петровны». 3. Р.Бернс «Честная бедность».4. Байрон «Стихи».5. А. Пушкин «Станционный смотритель», «Метель», «Узник», «Кавказ».6. М. Лермонтов «Песня про купца Калашникова», стихи.7. Т.Шевченко «Тарас Бульба».8. И.Тургенев «Бирюк».9. Н.Некрасов «Русские женщины»10. А.Чехов «Хамелеон».11. Э. По «Лягушонок».12. О.Генри «Дары Волхвов».13. Конан Дойл «Пестрая лента».14. И.Бунин

«Цифры».15. А.Платонов «Юшка», «Корова», «Песчаная учительница», «Неизвестный цветок».16. К.Симонов стихи.17. А.Алексин «В тылу, как в тылу».18.Ф.Абрамов «О чем плачут лошади?».19. А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».20. Д.Олридж «Последний дюйм».21. В.Распутин «В ту же землю».

Все рекомендованное чтение Алексей Лохнин давно прочел. Ему всегда было мало книг и времени для чтения. Он читал днем и ночью. Чтобы не волновать маму Пианист, сидя за письменным столом над учебником прикидывался, что делает уроки. На самом деле мальчишка проглатывал очередную книгу, которую держал в приоткрытой шухлядке. Ночью же, накрывшись одеялом, Лешка включал фонарик, и чтение продолжалось…

***

…Впервые за последние несколько лет Лохнину захотелось в школу. Ее трехэтажное здание, скроенное по казенному образцу, располагалось в самом центре поселковой цивилизации. Каждые сорок пять минут краснокаменное строение взрывалось гвалтом и вскипало бешеным потоком учащихся. Выскакивая на переменке за пирожками и сигаретками в близлежащие забегаловки, малышня и те, кто постарше, сыпались прыгучими ртутными шариками в аккурат под автомобильные колеса частников, чьи дворцеподобные «хатынки» кольцом окружили детское учебное заведение.

Время было послеобеденное. Последний во второй учебной четверти, замечательный во всех отношениях пятничный день приближался к концу. Проникнув сквозь стены, Лешка не встретил никого, кроме зевающего патлатого старшеклассника с красной повязкой на рукаве, который от скуки раскачивался на ножках скрипучего стула. Пролетев хорошо освещенный и изукрашенный потешными новогодними плакатами предел младшеклассников, он юркнул на второй этаж, туда, где размещались средние классы.

Лохнин преодолел тюремную темень коридора с плазмоидами лампочек под потолком и выплыл в огромный, как футбольное поле, холл, наводненный серым, по погоде, светом, хлеставшим из саженных окон. Из дальнего угла зала, по периметру которого казенным фисташковым колером была замалевана нижняя половина стен с множеством равноотстоящих друг от друга двустворчатых дверей, доносился писк и рык ломких подростковых голосов. Не в силах справиться с мутирующими связками ученики нестройно, но зато громко и старательно выводили: «Ще нэ вмэрла Украйина, ни слава, ни воля, ще нам браття молодийи, усьмихнэться доля! Душу й тило мы положым за нашу свободу и — покажем, що мы, браття, козацького роду». Шел урок пения.

Крайне недовольный исполнением гимна Украины, Лохнин в раздражении взмыл на третий этаж и направился в класс русской лит-ры. Русиня Анна Петровна, прозванная школьными русофилами Анкой-пулеметчицей или просто Анкой, имела со стрелковым орудием несомненное сходство. Речь ее была чрезвычайно скорой, чем напоминала пулеметную очередь. Училка не пыталась пресечь наглую возню старшеклассников. Это не имело никакого смысла.

В аудитории стоял громкий шорох или, другими словами, тихий грохот. Ученики извелись, ожидая звонка. В преддверии новогодних каникул они дергались, как собачонки на поводках, с трудом удерживая свои пятые точки на сиденьях. Вертясь, переговариваясь, шурша обертками конфет, перескакивая с места на место, мальчишки и девчонки Анку не замечали в упор. Лешка с трудом прислушивался к ответу ученика, стоящего у доски. Отповедь вопрошаемого на фоне назойливого шума показалась Лохнину бездарной и, в то же время, гармонирующей с беспорядком в классе, с невыразительной речью Анки и с ожидаемым концом света. Это был своеобразный гимн хаосу.

Старшеклассник старался поразить препода в самое сердце: «С футурологическим предопределением возникающие отдельные эманации в пределах имагинаций фаталиста и бретера Печорина можно предположить, что эклектические его планы относительно Бэлы были релевантны игре с огнем. Учитывая интервенционную политику Казбича, касающуюся морганатических внебрачных отношений вышеназванных особ, жизнедеятельность героини была прервана насильственным методом».

Молитвенно сложив маленькие ладошки с розовыми коготками и закатив небесные глазки, Анка неожиданно медленно, словно в ней сломался пулемет, отчеканила: «От-мет-ка-от-лич-но!» С той же твердостью Галилео Галилей, пройдя допросы святой инквизицией, сказал: «И все-таки она вертится!». Русиня была до мозга костей напоена уверенностью в том, что великий и могучий русский язык был, есть и будет… будет развиваться и продвигаться вперед, в необозримые дали своего прекрасного будущего на модернизированных американских ходулях.

Звонок, которого все так ждали, раздался, по обыкновению, внезапно. Как Лешка ненавидел этот отвратный до судорог в кишках звук! В его голову встрял колом неописуемый визг. Его Пианист воспринимал, как средоточие цунами, землетрясения, падения астероида — всех бед мира одновременно. Мальчишке хотелось провалиться сквозь землю, зарыться поглубже от того ужаса, который порождался ничтожной кнопкой, притаившейся, как мерзкий клоп, в куче подсобного мотлоха.

Лохнин, родившись с абсолютным слухом, на всю жизнь попал в рабство звуков. Некоторые из них, такие как школьный звонок, вызывали в нем страх, панику и тошноту. Их было не так уж много, но Пианист ненавидел их всей душей — все сразу и каждый в отдельности. В их числе — диссонирующая мерзость, относящаяся к бензопиле, самолетам, электричкам, военному оружию, собакам, мартовским котам, директрисе и, конечно же, композитору Шостаковичу, которого он ставил на первое место в списке перечисленных.

Но были звуки другие, те, что дарили радость. Эти были для Пианиста родными братьями, он их любил бесконечно и хотел, чтобы они царили всегда и везде. Шепелявое цыканье часов в торжественной тиши полнолуния; чириканье свечка в складках ночной тьмы; тонкое, как паутинка, ми-бемоль в медном раструбе крохотного колокольца на козьей выe; шум дождя, как приглушенные аплодисменты умной публики; долгожданный всплеск открывающейся двери, за которой — мама; птичий грай в каштановых дебрях, что прямо напротив балкона; зов моря,

угнездившийся в розовой воронке валютиды; торопливый клекот Сониных туфелек…

Наступила тишина. Она длилась секунд пять, после чего все двери одновременно затрепыхались и захлопали, как белье на ветру. По коридорам с резонирующим ором и топотом понеслась дикая распатланная орда, заливаясь кричалками и крутя по ходу дела финты. Все были одеты демократично, то есть во что попало — в спортивные штаны, кроссовки и безразмерные свитера до колен. Охваченный всеобщей неуемной радостью по поводу предстоящих зимних каникул, Лохнин ринулся к своим друзьям, которых нашел подпирающими излюбленный подоконник. Еще не так давно они деловито ерзали по крашеной поверхности локтями, суетились, обмениваясь книгами, и были счастливы.

Но сейчас Соня, Кима и Азур уныло стояли столбами, а Маг нависал над ними коршуном, сверкал глазами и остервенело размахивал кулаками. Лохнин приблизился, распираемый любопытством. В ужасающем реве до него долетали лишь отдельные слова: «…книга… магия… Лох… обряд… табу… пентаграмма… ошибка… трындец… дебилоиды… директриса… педсовет…» В конце маговой речи прозвучало матерное слово. Злобно взвизгнув протекторами ботинок, девятиклассник развернулся на сто восемьдесят градусов и понесся семимильными шагами к выходу. Крючковатая фигура Стаса быстро удалялась в лавине вопящей детворы, а его голова на длинной шее неслась над живым потоком, размахивая темным платом волос.

Онемевшая троица еще минуту не двигалась с места. Затем, не глядя друг на друга, все побрели в разные стороны медленно, точно опутанные кандалами. Пианист последовал за Соней. Он вертелся вокруг нее волчком, пытаясь заглянуть в опущенные глаза, и когда она простерла перед собою полный слез фиалковый взгляд, он, испугавшись ее страдания, подпрыгнул на месте так, что инерционная сила тут же подбросила его к потолку. Мальчишечье сознание распорола обоюдоострая мысль, и двойственное чувство разделило его сущность надвое.

Одна половина ликовала и млела от счастья, что Соня — самая красивая, самая умная и самая, как теперь выяснилось, добрая девочка в мире — плачет за ним, Алексеем Лохниным, который лежит трупом на больничной койке с пластмассовой кишкой во рту. О том, что он жив, бодр и более чем транспортабелен Соня, конечно, не догадывалась, поэтому и плакала так горько.

Он сожалел о том, что Сонины слезы нельзя было собрать и положить в ту картонную коробочку из-под будильника, где хранились его драгоценности: черные морские камушки с красными прожилками, увеличительное стекло от бинокля, обломок коралловой веточки, четыре пули и медный пятак царских времен зеленого цвета.

Вторая Лешкина половина сама готова была рыдать — так было ему девочку жаль. Приземлившись рядом с обожаемой одноклассницей, он мечтал высушить ее глазоньки, согреть ее тонкие холодные пальчики, погладить золотистую головку, шепнуть в прозрачное ушко: «Я здесь, милая Соня. Не плачь…» Но… на данный момент желания Лохнина не совпадали с его возможностями.

На пороге школы Соню ждали родители. Любовно обнимая дочь с двух сторон за плечи, они склонили над нею головы, словно пингвины над своим единственным птенцом, и сказали:

— Мы все узнали, Сонечка. Пока к нему никого не пускают. Даже маму.

— Ничего страшного не случилось. Просто ребенок утомился и решил отдохнуть. А самый лучший отдых, Сонечка, — это сон.

— Скоро будет дано разрешение его навестить. Моисей Давидович делает все невозможное, чтобы мальчик вернулся в строй еще раньше, чем мы думаем.

При этих словах девичьи очи прояснились, а счастливый Лохнин снова взмыл в небо.

Лешка последовал за семейством Гусманов, словно воздушный шар на ниточке. Он смотрел, как природа на глазах меняла гнев на милость. Дождь прекратился, откуда-то примчался шустрый южный ветерок и принялся прогонять хмарь и просушивать хлябь. Он, как-бы фланелькой, живо вытер досуха дома, столбы, деревья, телефонные будки, авто, прохожих, собак. Остовы абрикосов, вишен, орехов, напоминая гигантских доисторических членистоногих, под ветром вдруг ожили и зашевелили коленчатыми лапами. Высасывая последние осенние соки из жилистых кореньев, змеились лозы кустов. Ажурные шары китайских акаций прядали от птичьих перебранок и хлопанья крыльев. Цвир-р-р-р-р – рассыпалась пригоршня воробьев. Кух-кух-кух — расщеперилась ворона. Юф-юф-юф-юф — затрепыхалась пара горлинок.

Быстро теплело, только небо оставалось еще холодным и страшным. Оно пугало синюшными и распухшими, как утопленники, облаками, которые медленно плыли к какому-то далекому пристанищу на север… И тут Пианист увидел свою маму Ольгу Ивановну.

***

Леша бросился к матери и проследовал за нею до самого директорского кабинета, прыгая вокруг нее козликом. Когда она постучала и приоткрыла дверь, из щели донеслось: «Подождите, пожалуйста. Идет совещание». Он обнял матушку и чмокнул ее в щеку, не надеясь на ответную взаимность и даже не мечтая быть обнаруженным.

Алексей вдруг увидел, как изменилась его мать. Вопреки ожиданию, она не выглядела убитой горем. Напротив, ее лицо выражало ожесточенную твердость. Под грозовым сумраком бровей, в остром, как лезвие, взгляде метались стальные отблески. Следы бессонной ночи были с ювелирным тщанием затонированы. Губы язвились пунцом.

Резкими движениями мать сбросила капюшон, встряхнув темное глянцевое каре свежеподстриженных волос, сдернула красные лайковые перчатки, швырнула сумочку в коротколапое тощее с обвислым брюхом кресло. Упав в него, она забросила ногу на ногу и принялась качать носком бордового сапожка с высоким каблуком, барабаня при этом ноготками по подлокотникам.

Лешка таращился на свою мать, словно видел ее впервые. Это была не та вечно озабоченная неприглядная женщина в сером, которую он привык видеть ежедневно. Перед ним предстала элегантная, изысканно пахнущая пришелица из другого мира с воинственным лицом прекрасной амазонки, с

точеными ногами под короткой юбкой, с идеальной фигурой в черном облегающем пальто.

Глядя сейчас на нее, парнишка не мог себе представить, что это именно к ней вечно приставали бомжи, бродячие псы и полудохлые котята, выпрашивая милостей. Это ее вечно обдуривали торгаши, нагло обвешивая и подсовывая дрянь. С нею, нынешней, никак не ассоциировались субботние посиделки на кухне в обществе не очень привлекательной, но зато очень умной подруги Клары, когда ковыряя пальцем дыру в чулке и ежась под убогим халатом, мама с фальшивой вывеской оптимизма на лице отчаянно шутила: «Поездка в театр, дорогая, предполагает соответствующий для этого вид. Мое «несносное» пальто и «несношаемые» туфли не предназначены для культпоходов».

Сейчас, когда Лохнин увидел свою матушку в образе светской львицы, он никак не мог взять в толк, как удавалось ей маскировать хорошее телосложение под мешками, называемыми одеждой? По дому она ходила в белесом пузырчатом халате, который придавал ей сходство с пол-литровой банкой. На работу она одевала всегда один и тот же костюм прямого силуэта мутно-бутылочного цвета с оттенком безнадеги. Блузки в количестве пяти, чередующиеся под костюмом по дням недели, были тусклы и уныло скроены. Из своих блестящих, как мебельная лакировка, каштановых волос маменька ежедневно скручивала на затылке крепкую дулю, в которую втыкала целую жменю шпилек. Юбка стояла колом, имела длину «ни два, ни полтора» и так уродовала красивые женские ножки, что они казались гусиными лапами, торчащими из птичьего брюшка. У Ольги Ивановны были маленькие ступни, которые она и зимой и летом запихивала в надежные башмаки со шнурками, на низком ходу и на широкой платформе. Такую обувь в народе называют «гавнодавами».

Подросток озадачился вопросом: «На какие деньги матушка купила такой классный наряд? Неужели на те неприкосновенные гривны, которые она держала в шкафу придавленными стопкой белья?» Лохнин прекрасно знал, где лежат сбережения. Это знание было для него неким испытанием, которое ему устроила Ольга Ивановна.

Ее отпрыск однажды обнаружил лежащую на столе ветхую бумажонку номиналом в две гривны. Обрадованный, он стремглав скатился по лестничным пролетам и помчал в близлежащий ларек за сникерсом. Но насладиться покупкой ему не удалось, так как бдящее материнское око обнаружило пропажу. Во-первых, Ольга Ивановна сникерс отняла, во-вторых, целый час читала обиднейшую нотацию, а в-третьих, перестала прятать от сына деньги. Каждый раз, отправляя в шкаф то немногое, что оставалось от месячного заработка после платежей по счетам и раздачи долгов, она напоминала своему птенцу: «Вот, Лешенька, здесь у нас с тобой лежат денежки на черный день — все наши миллионы».

Для особо крупных трат на лечение сына от частых болячек с последующим его оздоровлением в евпаторийском санатории имелась особая статья. Но для ежегодной покупки двух жизненно необходимых тонн угля с кубом дров денег, заранее припасенных «на черный день», все равно не хватало и приходилось занимать.

«По-видимому, черный день настал», — подумал Леша. Но эта мысль его нисколько не огорчила, поскольку обновленная мамуля ему понравилась

чрезвычайно. Потрясенный фантастическими переменами в имидже матери, юнец почти в состоянии аффекта принялся от радости парить, словно воздушный змей на семейном празднике. Потом он приземлился, прильнул к кормилице с одного и с другого бока, обнял за шею и клюнул в темя без малейшей реакции с ее стороны.

Неожиданно в жидком освещении коридора возникла гремящая каблуками класснуха Маруська. Она несла на локте левой руки журнал успеваемости, точно сеятель сито с зерном. Наблюдая, как вихляется несколько укороченная нижняя часть ее тела, обтянутая лосинами так, словно была голая, Лохнину закортило прознать, что делается в директорском кабинете…

***

…Просочившись сквозь стену, как вода сквозь песок, Пианист развалился в свободном кресле напротив директрисы Людмилы Константиновны, которую школьная братия окрестила коротко Л.К., что в транскрипции звучит как ЭлКа. Она возвышалась черным валуном над столом, убеленным ворохом бумаг. На стене чуть выше ее головы висел беспристрастный лик Кучмы, спирохетовым взором призывающий к государственному порядку. Справа, под стеной, как куры на насесте, разместились преподы. Все, включая класснуху Маруську, сидели на краешке сидений, точно загипнотизированные. Картина «Группа кроликов перед удавом».

Разнос был в самом разгаре. ЭлКа метала громы и молнии. Она грохотала, как отбойный молоток:

— Жду вашего отчета об успеваемости Лохнина, уважаемые! — директриса называла уважаемыми тех, кому хотела напомнить, что они не достойны ее уважения.

— Людмила Константиновна, — затарахтела русиня на одной жалобной ноте, — по русскому языку у Алексея твердая четверка, а по литературе — высший балл.

Директриса сморщилась, как от вида таракана.

— Меня интересуют отметки Лохнина по точным предметам! А вы, милочка, — (весь персонал женского пола ЭлКа величала милочками) она выдержала ехидную паузу, — будете отвечать, когда вас спросят.

Анка пристыжено съежилась и сгребла под стулом ноги, точно они были у нее парализованные, крестообразно. Рядом завозилась крепкая, как молодой груздь, физиня.

— За вторую четверть Леша проявил слабую успеваемость и, если он не перепишет последнюю контрольную, то не дотянет и до трех баллов.

— Очень хорошо! Переписывание не состоится. Если в нашей школе переписывать контрольные станут все ученики, то…

Директриса не успела придумать продолжения, как физиня встряла.

— Но Леша Лохнин — не все. Он одаренный ребенок. Его портрет висит на школьной Доске почета.

— Кто повесил Лохнина на Доску почета?!! — взревела ЭлКа.

–Я… — тихо ответствовал трудовик, втянув ушастую тыковку в мешковатые телеса.

— Убрать!!! — взвизгнула глава школы.

Трудовик черкнул ручкой в ежедневнике, положил на брусчатые колени кувалды кулаков, и вытянулся на стуле по струнке, ожидая новых распоряжений.

— От вас, уважаемая, — она ткнула пальцем в физиню, — жду докладную записку о неуспеваемости Лохнина! Все понятно?!

Физиня потухла. Математичка, прочистив кашлем горло, продолжила:

— Что ж, Алексей, несомненно, ребенок способный, но в последнее время сильно скатился. Часто я застаю его на своих уроках за чтением художественной литературы э-э-э… эротического содержания.

Лохнин при этих словах подскочил на месте и чуть не улетел в потолок. Он припомнил, что был застукан на математике с Лолитой. Теперь ему было не отвертеться, ЭлКа узнает обо всем, тень может упасть на друзей, на милую Соню, и всем тогда кранты. Пианист испытал желание уничтожить весь этот пед-ический совет сию секунду. Он взлетел и принялся топтаться по головам учителей, пиная их прически и плюя на их лбы, не причиняя тем не менее никому никакого ущерба. При этом он ощутил уже знакомое наслаждение, сравнимое с игрой в Контр-Страйк, когда можно абсолютно безнаказанно «мочить» своего виртуального противника. Лохнин увидел, как головы ненавистных преподов разлетаются кровавыми клочьями, трупы их валятся прямо под гусеничные лапы Лешкиного танка и лопаются с полновесным жирным хлопком, точно мадагаскарские тараканы…

…Слова математички, пролетевшие по перепуганным учителям обжигающим самумом, выдули из них выхолощенный шепоток. ЭлКа положила на стол ведерный бюст и с усилием вытянула вперед идеально причесанную голову, от чего у нее обнаружилось подобие шеи. Вперив в математичку круглые в черных ободах глаза, внезапно выкатившиеся из-за бугристых щек, директриса завизжала:

— Что-о-о-о?!! Почему, вы, милочка, молчали раньше?! Это надо немедленно взять на заметку и приобщить к делу! Что у вас? — она кивнула в сторону англичанки.

Та, спотыкаясь, с видом провинившейся первоклашки принялась докладывать об отличных успехах в изучении иностранного языка бедным, всеми заочно распинаемым, пребывающим где-то между небом и землей, совершенно чужим и лишним для всех этих теток и дядек, подростком. Директриса заткнула англичанку на полуслове:

— Достаточно. Это не потребуется.

Тут все сразу догадались, от кого чего требуется. Леша с удивлением наблюдал, как те самые учителя, которым он никогда не отказывал в их мелких просьбах, в какие-то десять минут завели на него целое «дело». Ему не вменилось в заслуги, что он мыл в их аудиториях полы, бегал для них в булочную за пирожками, носился с дурацкими цветочными горшками, возбуждая к жизни дохлую растительность. Он рисовал стенгазеты, добывал из подсобки мел, развешивал плакаты, таскал классные журналы, стопки тетрадей, учебников и т.д. Теперь он был виновен по всем статьям. Даже мужчины из преподавательского состава, наличествующие во всей школе в количестве двух, постарались произвести на ЭлКу впечатление.

Физрук, которому Лешка помогал после занятий сволакивать в кучу спортивный инвентарь, вскапывать яму с опилками для прыгунов в длину, красить спортивные снаряды и разлинеивать меловым порошком школьное футбольное поле озвучил событие прошлой четверти, когда подросток сидел в углу на уроках физ-ры потухший и обессиленный после гриппа. Справку из поликлиники он где-то по дороге посеял и на понукания препода не реагировал, а тот в ответ старательно ставил ему колы. Их набралось с добрую дюжину, и этот факт был сформулирован педсоветом, как злостное нарушение школьной дисциплины и порчу показателей успеваемости.

Трудовик, порывшись в памяти, тоже нашел, что рассказать. Он поведал историю о том, как в ноябре месяце Лохнин отправился с его предмета, не спросясь, на академконцерт. В этом неблаговидном поступке препод усмотрел пренебрежение к воспитательному труду, к школьным товарищам и лично к своей особе.

Биологичка припомнила факт годичной давности, когда Лохнин притащил в класс воробьиного подранка, и весь 6-ой «А» бросился искать для раненой птицы пропитание. С этой целью на перемене в биологическом кабинете были открыты заклеенные на зиму оконные рамы. Мухи, спавшие мирным сном до весны в просторных оконных щелях, при этом посыпались, как семечки, в большом количестве. Весь урок ученики ползал по полу, собирая в литровую банку птичий корм, который в тепле оживал и принимался летать, издавая рев бомбовозов.

Преподы негодующе закачали головами, а Лешка улыбнулся воробьишке, вспорхнувшему в его памяти. Всю зиму он жил у них дома в благоустроенной клетке для хомячков, а весной покинул решетчатый домик и угнездился под балконной стрехой, то и дело залетая в распахнутую дверь зала — пообщаться.

Класснуха, которая совмещала уроки химии и классное руководство, особенно выслуживалась. Все Лешкины промахи она возвела в энную степень, благодаря чему они приобрели космические размеры. Маруська слила все в одну помойную яму — опоздания, незавязанные шнурки, рваный ранец, вечное отсутствие дневника, отвращение к предмету химии и цыпки на руках.

Преподы уже изрядно расхрабрились и лили на Лохнина компромат с превеликим усердием. Но, когда ЭлКа, отдышавшись, снова зарычала, переходя на рев, они прижухли и, казалось, впали в ступор.

— Скажите мне, уважаемые, почему в нашей школе происходят столь безобразные ЧП?! Почему на школьной площадке валяются пьяные ученики; пятиклассники избивают друг друга до полусмерти; восьмиклассник на неделю запирает в чулане без воды и еды бабушку; старшеклассник, господи прости, совершает над пятиклассником акт насилия и привязывает его к железнодорожным рельсам, а медалист — гордость школы — вешается накануне выпускного бала?!

В нависшей гробовой тишине Лохнину пришло беспокойное чувство, что он как-то причастен ко всем этим ужасам. Но как? Вскочив, он стал нервно передвигаться по директорскому кабинету, всем заглядывая в глаза и отыскивая в них ответ. Но под марионеточными личинами он видел лишь страх. Пианисту захотелось понять природу этого страха. Ведь куклы

ничего не боятся, они лежат, замерев, в пыльных коробах или забавно движутся, когда их оживляет кукловод, что-то говорят механическими голосами. А эти люди-марионетки робеют что-то сказать невпопад, сделать неправильный жест. Лешкино понимание жизни вдруг перевернулось с ног на голову. Оказывается, преподаватели, к которым он всегда был равнодушен и даже просьбы их выполнял без малейших эмоций, которых он считал ходячими роботами, неломающимися бездушными механизмами — были уязвимы и трусливы…

ЭлКа уже охрипла от ора. В ярости она стучала миниатюрными, не соответствующими циклопической фигуре, кулачками по столу, трясла головой и притопывала ногой. От нее в разные стороны разлетались бумаги, ручки, скрепки, шпильки, слюна. Сегодня директриса жучила своих подчиненных с особым остервенением. Она метала оскорбительные слова, и те, как томагавки, врубались в головы преподов. Неожиданно она закашлялась, поперхнувшись собственным криком, и замолкла на минуту.

В траурной тишине раздался робкий голос. Завдир по внеклассной работе, дама неустановленных лет, невнятного вида и незаметная, как невидимка, тихо заскрипела:

— Людмила Константиновна, позвольте доложить, что не только в нашей школе происходят ЧП. Беда у нас у всех одна. Наши дети практически не получают основ морали. На классных часах предметники, совмещающие классное руководство, вместо понятий о добре и зле дают дополнительные уроки, стараясь хотя бы чуточку подтянуть отстающих. Ведь теперь обязательное время, отведенное для занятий с двоечниками, отменено. А от нас требуют успеваемость, конкретные баллы. Добиться от детей хороших результатов очень тяжело.

— М-м-м? — воззрилась на подчиненных ЭлКа, покашливая и давясь припертой к горлу бранью. Видя ее заминку, преподов взорвало. Они все разом загоготали, как гуси.

— Детей контролировать некому, родители поразъехались на заработки!

— Раньше воспитывала партия и правительство, а теперь!..

— У них все тормоза развинчены, делают, что хотят безнаказанно!

— Пропадают в подвалах, заброшенных домах, там пью, наркоманят!

— Не ночуют дома!

— Общешкольные линейки, классные советы, товарищеские суды в среде учащихся упразднены!

— За спиной учителя безобразничают, ходят по классу, переговариваются, ржут!

— Все свободное время сидят в интернетцентре — играют в Контр-Страйк, смотрят порно!

— В их портфелях можно найти все, что угодно, начиная от нерекомендованной литературы до презервативов!

— Они ходят все поголовно в спортивных штанах. А если кто из старшеклассниц надевает юбку, то такую, что весь срам наружу!

— Не стригутся, не моют обувь!

— Они курят прямо на ступеньках школы сигареты!

— И не только сигареты!..

— И не только курят, но и…

— Хватит, — просипела директриса, хлопнув розовой ладошкой по столу. Она вся как-то сдулась, от ее внушительного вида ничего не осталось. Покопавшись в сумочке, кинув в рот таблетку и хлебнув из пластмассового стаканчика, она выдавила устало и растерянно:

— Все внеклассные уроки провести и отчитаться. Ах, да… поздно уж…

Она немного поразмыслила и просипела:

— Отчеты о внеклассной работе предоставить мне сегодня же!... Сейчас же! Все свободны. Идите, пишите… сочинение на вольную тему. И не забывайте, по последнему ЧП к нам в понедельник приезжает комиссия. Чтоб все были в восемь часов на месте, как штык… А вы, милочка, задержитесь.

Все молча вытаращились на ЭлКу. Она ткнула пальцем в Маруську, и пока учителя по-кошачьи тихо уносили ноги, класснуха прилипла к краю стола по стойке «смирно», словно шпагу проглотила.

— Вы вызвали Лохнину в школу?

— Да. Она ожидает в коридоре.

— Все ли сдали деньги на новогодние подарки учителям?

— Нет. Лохнина не сдала.

— Как так? Безобразие!

— Она никогда ни на что не сдает. Вместо денег она приносит справку.

— Какую такую справку?

— Справку из ЗАГСа о том, что она одинокая мать.

— И что же вы предприняли?

— Я рассчитывала нажать на нее через сына. Но в данный момент он лежит в больнице. И если уж Лохнин будет переведен, то…

— Никаких то… Лишние деньги не помешают. Плохо работаете… И вот еще что.

Директриса сделала зверское лицо.

— Вы бы, милочка, приоделись, как следует. Осмелюсь напомнить, что вы находитесь на службе в школьном учебном заведении. Я не намерена отвечать еще и за молодых специалистов. Этот ваш э-э-э… имидж соответствует разве что ночным кабакам. Кого вы, дорогуша, хотите впечатлить своим декольте и голыми ногами? Лохнина?.. Ступайте и сделайте выводы.

Маруська проковыляла иноходью до дверей, спотыкаясь и стараясь греметь каблуками потише, а Пианист весь встрепенулся, как молодой петушок. То, что сказала ЭлКа, лежало за пределами его понимания. Конечно, он слышал, и не раз, как толпа старшеклассников с гаерским хохотом кидала вслед класснухе реплики, типа «я бы ей вдул…» или «эй, кобыла, возьми у меня…». Но он сам… Пианист любил Соню Гусман и мечтал поцеловать подол ее платья.

ЭлКа, оставшись (как она полагала) одна, порылась в пустотах своего стола, вытащила укушенную булку, всхлипнула, как маленькая девочка, что-то жалобно пролепетала себе под нос, икнула, пустила ветры, ойкнула и впилась в сдобу.

Пианиста это пробило на «хи-хи». Потом накатило омерзение. Потом ему стало жаль эту грузную, немолодую, нездоровую даму. Увязнув в паутине ощущений, он вдруг почувствовал, как устоявшийся страх, который каждый раз окатывал его помоями при виде директрисы, будь то наяву

или во сне, улетучился. Теперь Лохнин не боялся себе признаться, что та самая здоровенная бесстыжая баба, которая приходила к нему в бредовых сновидениях, поднимала юбку и, хватая себя за причинное место, устрашающе шипела: «Лохнин, немедленно подойди ко мне…» — была ЭлКа.

***

Счастливый пятничный день, последний день первого учебного семестра быстро устремлялся к рубежу второго тысячелетия. Вместе с ним по синей тарелке неба улыбчивым яблочком катилось и резво закатывалось за окоем непредсказуемое крымское солнце. Погодка окончательно просветлела и явно не хотела по-зимнему суроветь. Коты и собаки увеселено шныряли; тетки с кошелками бодро топали; школьники, словно сорвавшись с цепи, скакали и вопили, недвусмысленно демонстрируя психопатию, отягощенную учебой.

Лохнин, зараженный всеобщей первобытной лихорадкой, ошалев от абсолютной своей свободы, бесцельно носился над Горным. Попутно он обозревал округу и совал свой отсутствующий нос куда ни попадя. Он потусовался на распродаже сосен, которые почему-то испокон века называются елками. Потом целых полчаса отирался в булочном цеху возле здоровенных кубических печей. Из любопытства заглянул в аптеку — царство коробочек и пузырьков, а также в железнодорожные кассы, в которых не обнаружил ничего занимательного.

За закрытыми дверями ДК, в пустом фойе он столкнулся с пышнотелой и вычурной, как купеческая дочь, сосной, поигрывающей своими фальшивыми бриллиантами. Очаг культуры уже приготовился к проведению детских утренников. На целых три дня он был запечатан и тих, как смиренная монашка на повечерие.

Тут Лохнину загорелось посетить кухню ресторана, где в развалах всевозможной снеди он чуть не потерялся. Здесь тщательно готовились к ночному разгулу местной крутизны и уже в четыре часа пополудни принимались за кулинарное дело. Сырный, колбасный, фруктовый, пряный дух мог довести до обморока кого угодно, но только не Лохнина.

Леша не чувствовал ни голода, ни холода, ни усталости, ни естественных позывов. Он не был обременен своим повседневным шмотьем, поэтому не боялся наступить на вечно развязанные шнурки и растянуться под хохот одноклассников. Ему незачем было переживать, что дневник снова потеряется. Он забыл, что на пятнадцать ему назначен урок по фо-но, а в четырнадцать в школьном актовом зале без него прошла генеральная репетиция новогоднего карнавала, где он, одаренный ролью звездочета, должен был тренироваться в зажигании гранатовой звезды на елочной маковке. К нему теперь не относился ритуальный вынос мусора и отмывание обуви от грязи, которая в Горном после дождя была обильна и прилипуча. Сейчас он был, как нелестно выразилась бы матушка, «пустоголовый жуир». Это злокозненное словосочетание мальчика всегда больно жалило и сеяло в глубине его души подлое семя сомнения относительно материнских чувств родительницы.

Порой Ольга Ивановна поступала со своим ребенком самым безжалостным образом. Она вырывала изо рта сына чипсы, мивину, пепси-

колу, жвачку и прочие вкусности, купленные им на его личные карманные сбережения. Не единожды Ольге Ивановне приходилось отправлять свое нерадивое чадо в больничный стационар, чтобы лечить от отравления. Там ребенок получал капельницу с физраствором в совокупности с родительским нагоняем. Сидя на краю железной койки и следя за висящей на штативе вверх тормашками стеклянной бутылью, пускающей рыбьи пузыри, Лохнина язвительно говаривала.

— Ну, погоди-и-и ж ты у меня, спиногрыз. Как только выйдешь из больницы, получишь отме-е-енных тумаков. Будешь знать, как жрать всякую гадость.

Мать, старательно воспитывая сына, приобщала его к полезному физическому труду. В библиотеке, где она помимо основной должности еще имела полставки уборщицы, у мальчонки был свой фронт работы. В то время как Лешка орудовал шваброй, мечтая лишь о том, чтобы скорее от нее избавиться и ухватиться за книгу, матушка его подстегивала: «Чаще полощи тряпку, не оставляй разводов на полу. Да про углы не забывай. И поживей поворачивайся, что ты, как спящая царевна?.. Вот, сынок, будешь знать, откуда что берется. А со временем узнаешь, куда что девается».

Ольга Ивановна неукоснительно заставляла свое сокровище выполнять уроки, играть ненавистные гаммы, делать зарядку, убирать в детской, менять ежедневно носки, мыть руки перед едой и еще множество самых разных, безусловно, полезных, но таких нелюбимых и потому трудных вещей. И она таки достигала результата. Одного только ей не удавалось добиться от детища — чтобы он не терял дневника.

Ни просьбы, ни стращания, ни тычки не помогали. Поэтому Лешкина школьная жизнь представлялась Ольге Ивановне довольно туманной. А ввиду того, что телефон в их квартире установили только две недели назад, то предупредительных звонков от классной домой не поступало. Их не поступало и на работу Ольге Ивановне. Когда же она звонила в школу, то на все свои вопросы получала от секретарши один из трех ответов: «Идут уроки», «Людмила Константиновна на совещании» и «Я занята».

С появлением в квартире телефонного аппарата Лохнин хорошо прочувствовал, куда что девается. Ежедневная выдача карманных денег прекратилась. Ассортимент продуктов питания резко ограничился горохом, гречкой и капустой. Из кухонного шкафчика исчезли звонкие хрустальные рюмочки — двенадцать штук. Зато в доме появилась Кларина печатная машинка Ятрань, и матушка стала по выходным и по ночам строчить километровые тексты за копеечную мзду.

Пианист считал, что у него неправильная мать. Она никогда не бегала в школу с подношениями для наведения «мостов», как это делали на глазах у всех мамашки его одноклассников. Она никогда не заступалась за Лешку и не устраивала из-за него ни с кем разборок. Она, как ему казалось, нисколько не сочувствовала его мальчишеским ранам — разбитым коленкам и локтям. Она ни разу не согласилась отмазать его от школы.

Иногда, выбравшись из «ночного читального зала под одеялом» с самоощущением, сравнимым с разбитым старушечьим корытом, Лох принимался скулить.

— Ма, я, кажется, заболел. Можно я останусь дома? А завтра ты напишешь записку, что у меня была температура.

Мать, догадавшись о злом умысле сына, расставляла ноги шире плеч и упирала «руки в боки». Издевательски улыбаясь, она ответствовала:

— Знаю я твою температуру. Вот она!

Быстро подскочив к кровати отпрыска, она хватала край матраца, переворачивала его и выуживала из постельной кучи безобидную книжонку для подростков. Лох, шваркнувшись о пол всей своей мякотью, радовался, что мать не добралась до Камасутры. Поэтому, парочку безболезненных оплеух от строгой родительницы принимал, словно пряники.

Запойное чтение, как и обжираловку неполезной едой Ольга Ивановна пресекала непедагогическим методом. Она бесшумно подкрадывалась к пианисту из-за спины и выдирала книгу из рук, в то время как тот был глух, аки тетерев.

Мать у Пианиста была настолько неправильной, что когда ему однажды цыганчата рассекли бровь, она и тогда не ударилась в разборки. Утерев сопли и промыв ранку своему ненаглядному детенышу, она усадила его за столом напротив себя и сказала.

— Сын, в твоей жизни будут такие ситуации, когда никто не сможет тебе помочь. Ты должен научиться сам себя защищать. Она положила на стол скалку.

— Возьми это и носи всегда с собой. Если начнут приставать — бей изо всех сил куда попало…

…Сегодня Пианист навсегда распрощался с сомнениями в материнских чувствах Ольги Ивановны. Он думал о своей маман с обожанием. Как она была великолепна в роли женщины-вамп! Ее выступление было не что иное, как гениальная игра величайшей актрисы. Ее выход, вернее вход в ЭлКин кабинет, поступь, взгляды, мимика, жесты, голос!.. А текст каков!

*Директорский кабинет. За столом ЭлКа. Дверь открывается, входит Ольга Ивановна. Она стремительно подходит к столу. Одной рукой оперевшись о него, а другой подбоченившись, она перегибается через край и приближает лицо к директрисе. Громко, с вызовом, не поздоровавшись.*

*Ольга Ивановна.* Вы *(подчеркнуто издевательски)* слишком много на себя берете, любез-з-зная Людмила Константиновна, если думаете, что можете беспрепятственно вышвырнуть моего сына их школы. Ваш поступок не имеет оправдания *(возвышается над ЭлКиной головой).* В то время как мой мальчик лежит на больничной койке, вы… *(делает лицо, отображающее крайнюю степень омерзения).*

*ЭлКа.* Шо-хо-фу-бу-бу… *(отодвигает подальше голову с застрявшим во рту куском булки)*

*Ольга Ивановна.* Вам до пенсии сколько осталось? Год, полтора*?..*

*Пауза. Лохнина нависает корпусом над столом и приближает к ЭлКе впритык свое лицо. Она говорит, разделяя и подчеркивая слова.*

*Ольга Ивановна*. Вам не удастся перевести моего ребенка в сельскую школу, как это вы проделали с другими детьми. *(Громко)* Мне ничего не стоит вас-с-с-с *(кривит при этом слове рот)* прихлопнуть, как муху! *(Кричит)* Я подниму на уши весь Симферополь! Телерадиовещание и

пресса будут неустанно трепать ваш-ш-ш-ше имя! Комиссии проутюжат дорогу к школе до блеска! И до самого Киева понесется весть о взятках, кумовстве, поборах, шантаже, приписывании баллов, несчастных случаях и… и еще много о чем! Вот!!!

*Ольга Ивановна выдергивает из рукава, как сказочная Василиса Прекрасная, свернутые в трубу листы и ударяет ими по столу. Листы разворачиваются с тараканьим шорохом. ЭлКа цепляет на нос очки и наваливается на стол, хватая бумаги. Пауза. Приоткрывается дверь, в щель просовывается кошачья мордочка испуганной секретарши.*

*Секретарша.* Людмила Константиновна, с вами все в порядке?

*ЭлКа.* Жакойте твехь! *(проговаривает директриса через забитый булкой рот, кошачья мордочка исчезает).*

*ЭлКа, наконец, проглатывает булку. Она сидит с пришибленным видом и морщится, как от нашатыря. Затем, вдруг, залоснившись лицом и улыбаясь до неприличия подобострастно и широко, обнажает во рту золотую коронку на восьмом коренном.*

*ЭлКа.* Ольга Ивановна, голубушка, произошло некоторое недоразумение. Мария Петровна несколько исказила информацию о положении вещей. Вас вызвали лишь для того, чтобы сообщить о снижении успеваемости Лешеньки по отдельным предметам. Ведь это входит в обязанности классного руководителя.

*Ольга Ивановна. (более спокойно, но безапелляционно)* Вот именно. Эти обязанности, как я понимаю, являются ежедневными, а не разовыми. Деньги за классное руководство Мария Петровна получает ежемесячно или раз в году? Кстати, ей в статье уделена целая страница.

*ЭлКа энергично листает статью.*

*Ольга Ивановна. (Прихватывает сумочку-кошелек одной рукой. Указательный палец второй руки устремляет ЭлКе в лоб).* Дубликат рукописи оставляю для ознакомления. Ж-желаю здравствовать.

*Лохнина направляется к выходу. Директриса с фальшиво-приветливой интонацией изрекает ей вдогонку.*

*ЭлКа.* Не беспокойтесь Ольга Ивановна. Можете считать инцидент исчерпанным. Надеюсь после каникул увидеть Лешеньку в полном здравии и готовым к учебе.

Пианист просмотрел сцену с превеликим удовольствием. Из своего наблюдения он сделал три умозаключения. Первое — его мать за него, Лешку Лохнина, любому горло перегрызет. Второе — листы, свернутые в трубу, были определены в рукав пальто, поскольку в сумочку не поместились. Третье — компромат, которым матушка стращала директрису, сочинен не кем иным, как ее подругой Кларой, которая была вхожа во все информационные круги.

Клара не только писала статьи для всевозможных крымских газет, но еще частенько выступала на телевидение и радио. Еще она сочиняла песенки, которые пела медовым голосом под гитару всем подряд. Недавно она увлеклась рисованием. В результате, стены и потолок ее холостяцкой маленькой квартиры были сплошь размалеваны пастелью, гуашью и акрилом. Когда мама отправлялась в гости к Кларе, Лешка увязывался за нею следом. Пока две подруги были заняты разговором, Пианист, задрав голову, кружил вокруг расписных квадратных метров.

Его охватывало волшебство летающих домов и деревьев с человеческими лицами, в окнах и ветвях которых распевали вуалехвостые птицы. Он слышал их свирельные голоса, перебиваемые детским смехом. Девочки и мальчики, мерцая прозрачными крылышками, улыбались Лешке с потолочного неба. Собаки и коты лихо играли на лютнях и волынках. Хрустальные рыбы танцевали и, хлопая веерными ладошами, распространяли чарующий звон. Дождь изливался горошинами монпансье, а леденцы испарялись бабочками лимонницами. Вместо облаков по золотистому небу брели мандариновые овечки, и лиловое солнце запускало в кудрявое руно тонкие руки. Все белые пятна, какие оставались на стенах, были заполнены изумрудными, рубиновыми и сапфировыми жуками...

…Пианист забыл и о школе, и о директрисе, и обо всем на свете. В своих фантазиях — единственно надежном месте, где мальчик чувствовал себя по-настоящему дома — он обнаружил себя эльфом. Дрожа сетчатыми крылышками и всей своей хрупкой душей, он устремился из воронки одиночества в фантасмагорию нарисованного рая, где играли и смеялись крылатые дети…

***

…Доживая свой предпоследний день перед концом света, поселок городского типа с загадочным названием Горный по своему ровнехонькому, куда глаз ни кинь, основанию распространял странное безлюдье.

Впрочем, странного в этом было не больше, чем в тушке кота, с утра до ночи валяющейся под батареей центрального отопления. Поселковый народец, закончив работу (которая от слова раб), по закону природы устремлялся к ужину, телеку и дивану. Так что в пять часов вечера все порядочные люди сидели по домам, и прохожие на улицах становились редкими и, даже как-бы неуместными.

Декабрьские часы дня и ночи разделялись тонкой полоской безвременья, которая пролегала строго по отметке семнадцать. Движение жизни замедлялось. Казалось, сумрак имел вес, и зимний крымский день, набираясь им, как губка водой, делался тяжелым и вялым.

На отшибе поселка скромно и с достоинством, точно тонкостанная кыз, высилась, глядя в небо, белокаменная мечеть. Репродуктор голосом муэдзина возвещал азан. За ту недолгую минуту, пока звучала дивная, сложенная не по музыкальным, а по каким-то небесным законам мелодия, Горный успел увязнут в потемках, как муравей в смоле. Постепенно замедляя свои шевеления, он замер.

Одновременно с этим, в центре городка возле злачного рынка, скованного по всему периметру сталью ворот, засовов и замков, на церковной колокольне занялся и потух всполох колокольцев. Весь мир притих то ли перед покаянием, то ли перед грехопадением.

В пять часов вечера, как обычно, у «заднего прохода» всех злачных мест стояли на стреме бомжи. Они стерегли вынос продуктовых отходов. На черное крыльцо кухни то и дело выскакивала одна из поварих и швыряла наземь то, что требовалось отправить в мусорный контейнер. Это были вываренные до бильярдного блеска кости, красивейшая спиральная

стружка апельсиновой и овощной кожуры, колбасные шворки, рыбьи остовы, куриные клоаки, труха от фрэша. Бомжи набрасывались на отбросы, как псы на блевотину. Они грызлись, выдирая друг у друга добычу, выгавкивали проклятья и туберкулезную тину.

Короткий зимний день закончился. Скороспелые сумерки забили серой мякотью все выемки и щели. Поднебесье по-хамелеоновски меняло тона — сирень, фиолет, ультрамарин, индиго. Очень скоро на черной сковороде неба начали выстреливать белым попкорновым мяском светила. Бесфонарная ночь упала на Горный сырым чернильным телом. Дома во все стороны вытаращили угловатые гляделки. Рестораны, бары, ночные магазины воссияли, как храмы Бенариса. Лингам водокачки вздыбился над поселковой тьмой и, упершись в лунный глазок, обрел в звездном флёре монументальные очертания.

Хмельная лорелея с вороньим скрипом голосила с балкона: «…А ты такой холодный, как айсберг в океане…» — Она протягивала руки со своего постамента вниз, к пробегавшему мимо конторскому служащему в шляпе и с папкой подмышкой, который прошмыгнув в темный угол, стал исподтишка разглядывать откровенную фигуру распалившейся горлопанки под прозрачной на свету рубашонкой.

Распанахав тишину поселкового захолустья, проскакал по дорожным выбоинам черный бумер. Глотки его динамиков прогремели «владимирским централом», как сатанинским набатом. Из окон торчали визжащие головы бухих марух. Бумер мотался из стороны в сторону, точно чертов хвост и злобно сигналил.

До десяти вечера на улицах, освещенных лишь луной, то там, то сям, подобно одиночным взрывам бомб, раздавались: рев моторов, короткие потасовки крутизны, припадочный хохот обдолбанных подлетков, блеяние потасканных шмар. После десяти бесовская мистерия разворачивалась исключительно в центре Горного, в средоточие питейных заведений. Накаченные алкоголем и дурью люди-зомби по мере достижения кондиции превращались в свирепых, прожорливых, вонючих, ползающих и тупо совокупляющихся тварей.

Уже шестую ночь подряд перед Пианистом помимо его воли раскрывалась страшная книга жизни. Была ли то жизнь или множество еженощных смертей, уготованных дьяволом человечеству, мальчику не дано было понять. Он видел некую омерзительную медузью субстанцию, которая шевелилась и ползла по улицам Горного. Она росла, пухла, выдавливала из себя пузыри с мутными нечистотами и с головой накрывала одуревших приматов. Из этой гадости выползали червячные щупы и с чавканьем присасывались к грудным клеткам, после чего жертвам предстояло только одно — стать размягченной пищей для гнусного чудовища и расщепиться в его требухе на миазмы и гуано.

От жутких видений в мыслях и чувствах мальчонки сначала образовалась страшная фаршмачная мешанина. На шее у него повис реальный утопленнический камень, который душил так по-настоящему, что становилось дурно. Но потом явилась избавительная пустота, благодаря которой Лешка постоянно пребывал в надежном туманном безразличии, как личинка в коконе. Он ощущал себя небесным спутником, нарезающего днем и ночью круги не ада, но вояжа вокруг Горного.

Помимо воли наблюдая оргии, он видел юные и зрелые двуногие особи внутри своих аур. У подавляющего большинства светящиеся оболочки были ливерного цвета и обтерханы, как бэушные молярные кисти. Часто Пианист замечал в толпах стекловидные скелеты без малейшего намека на ауру. Человеческие мощи пили, ели, танцевали, посещали сортир, отсчитывали деньги, крутили руль автомобиля, но были при этом совершенно мертвы.

Шестые сутки Лешка Лохнин пребывал в безделии между небом и землей родного поселка, где прошла вся его малосознательная жизнь. До сих пор он частенько мечтал о дне абсолютного покоя, чтобы целые сутки валяться в кровати и наслаждаться ничегонеделанием и ничегонедуманием. И вот мечта сбылась. Но уже на второй день праздности Лохнин понял, как это трудно — не иметь возможности даже ударить пальцем о палец или мозгой о мозгу. Вместе с обязанностями он утратил возможность общения. И не было в его распоряжении книг.

Из удовольствий Пианисту осталось одно — шариться по поселку, где можно и где нельзя. Он позволял себе кататься в любом понравившемся автомобиле. По своей прихоти он беспрепятственно прогуливался в разных гос. учреждениях, РЭСе, ЖЭКе, сберкассе. Никто не запрещал семикласснику захаживать в бары, рестораны, магазины, склады, кочегарки, отделение милиции. В зону его доступа входили вентиляционные, канализационные, телефонные люки, а также трансформаторные будки, дымоходы, высоковольтные провода и даже почтовые ящики. Без зазрения совести пацан подслушивал чужие разговоры, наблюдал семейные разборки и постельные сцены. В интернет-центре он усаживался прямо на стол, и хотя мышь не в силах был даже с места сдвинуть, но зато мог наблюдать за манипуляциями игрока, сидящего за его спиной. Однако жизнь такая ему быстро надоела, и он захандрил, испытывая настоящие танталовы муки.

С друзьями, как и со всем остальным обществом, отношения не складывались. Все попытки обратить на себя внимание членов лит-банды не принесли плодов. Как Лохнин ни скакал, ни елозил перед ними, никто ни разу даже не заподозрил о его присутствии. Настроение у всех было ниже плинтуса, и Лешка догадывался отчего.

Соня, придя домой, ложилась на кровать и отворачивалась лицом к стене, заслонившись от быта светлым облаком волос. За дверью топтались и лопотали родители. Они просовывали свои пингвиньи шнобели в детскую, лупали пуговичными гляделками и жалобно попискивали: «Соня, деточка, идем кушать».

Киму Пианист просто не узнавал. Еще недавно она соблазнительно смеялась, когда кто-то из пацанов делал ей закидон, дергая за прекрасные косы. Теперь же бойкая девчонка лупцевала вертопрахов чохом, стоило им лишь подвернуться ей под руку.

Азура Лешка застал в обнимку с пузатым, как лохань, монитором. Семейство Азурашвили находилось в числе немногих граждан городка, кто обладал персональным компом с пренастоящим безлимитным интернетом. Вместо того чтобы резвиться в инете или рубиться в Контр-Страйк Гоша с мученическим лицом малолетнего узника Саласпилса листал

парализованным взором закладки. Их внутренности были полны черной магии.

Заглянув к Макухину, Лохнин нашел того в оцепенении на полу своей келейной комнатенки. Как Иов на пепелище, Стас торчал пнем среди кучи разноперых книг, шаров, пирамид, вееров, свечных огарков. По куцым хвостам фитилей можно было определить, как долго он сидит. Его богомазый фейс был худ, блед, словно мертв. За порогом слышалось жалкое старушечье шамканье, немощное шебуршание тапками и журавлиное постукивание клюшкой.

В послеобеденное время друзья созванивались, тяжело выползали из своих конур и молча брели в больницу. По дороге заходили за Кимой. В ее доме не водилось телефона, и пока Маг, отбиваясь от собаки, выуживал чемпионку из частного владения, трое остальных сидели под забором на лавочке, по-стариковски подперев ладонями осунувшиеся мордашки.

Переступив порог реанимации, друзья останавливались у дверей. Дальше им продвигаться не разрешалось. Выстроившись в шеренгу, они глядели в гипсовое лицо Пианиста, хлопали мокрыми глазами, шмыгали красными носами и терли лица рукавами. Примерно через пять минут санитарка выдворяла их вон.

Ольга Ивановна в дезабилье и с флакончиком валерьянки металась в четырех стенах, как пантера в клетке. Потом хватала трубку телефона и крутила диск. Созвонившись с Кларой, уходила к ней на всю ночь. Утром, совершив над собой насилие, подрисовывала лицо, надевала бардовые сапожки и короткое черное пальто, так понравившиеся Лешке. Потом отправлялась к сыну в больницу, где встретившись с Моисеем Давидовичем, выслушивала его наставления.

— Ольга Ивановна, душенька, куда Вы подевали ваше хорошенькое личико? Наденьте улыбку… вот так. Мама моего пациента должны быть очаровательной и веселой. Я дико извиняюсь, но это входит в программу лечения.

Присаживаясь в палате у больничной лежанки, она осматривала выбеленное лицо своей кровинушки, из последних сил растягивала резиновую улыбку и гнала слезу. Лохнин не мог переносить ее страдания, потухал и убирался прочь…

…Общение у Лешки получалось только с кошками, которые, завидев его, подбегали приласкаться, да еще с Металлистом. Тем самым медалистом, который за десять лет учебы получил целый пуд презреннейшего металла в виде медалей от преподов, грызущихся за его личное время и за свои личные премиальные. Свой недолгий век он посвятил беззаветному учению и участию в бесчисленных олимпиадах, конкурсах и состязаниях по всем, какие имелись в школе, предметам, кроме математики. Всегда он выходил победителем, и при этом каждый раз ему на шею вешали круглую железную бляху с дырой для шнурка. За это его и окрестили Металлистом. На доске почета он «висел» особняком в мещанском ворохе цветочков, благодарностей, отзывов, похвал и прочего плюмажа.

Главная награда Металлиста — золотая медаль — маячила перед его светлыми очами, как морковка перед носом осла. Но что-то не срослось, и прошлым летом перед самым выпускным он угодил в петлю так же нечаянно, как муха влипает в паутину…

Они стАкнулись в кондовом свете Млечного Пути в пик садомической вакханалии козлищ. Где-то внизу пузырился и смердел распад, их не могущий коснуться. Форсунки двух тонких тел выпалили радостными гейзерами. Два странствующих бедуина, исчадивших на жаровне Сахары, свалилась без сил в песок прямиком на водопроводные трубы. О, чудо спасительной влаги общения! О, святость случая, чья закономерность неисповедима!

Под недреманным взором Создателя в просторном садке плавала пара человечьих мальков. Медалист с Пианистом обнимались, как родные братья, хлопали друг друга по плечам, не замечая, что их ладони, рассекая несуществующую плоть, месили воздух. Они забыли, что сами есть лишь воздух, морок, пых.

Иногда их взгляды и улыбки, прорываясь из-за кордона эфемерности в каменную действительность, обретали ощутимые очертания. Друзья говорили, дивясь, собственному голосу и оглушая друг друга сладкой реальностью слов.

— Пианист!

— Металлист!

— Как дела?!

— Ништяк!

Невзирая на разницу в возрасте (аж четыре с лишним года!), мальчишки приятельствовали, так как частенько участвовали в общешкольных мероприятиях. Теперь, лишенные всего школьного и чего бы то ни было общего, предоставленные своему гордому одиночеству они были чертовски счастливы встрече. Лешка возбужденно завопил фальцетом:

— Брателло! А я зырю, кто это?! По ходу, ты тут припух конкретно! Узнаю бобрик на твоей умной черепушке!

Металлист на волне драйва загудел баском:

— Ты гонишь! Это не бобрик, прическа называется площадка, шоб ты знал. Теперь классно — не отрастает. И у тебя прикид все тот же. Как был патлач, так и остался. Красава! Почему здесь? Надолго?

— Фиг его знает. Говорят, летаргический сон. Прикинь.

— Та ну? Паханина задавила или шо?

— Типа того. Читал… Дофига.

— И стопудово — под одеялом. Тяже-о-о-лый случай!

Металлист взорвался внезапным хохотом. Пианист, заразившись от него, затрясся мелким писклявым смешком. Вскоре они ржали в покатушку, хватаясь за животы.

— Как ты врубился с первого раза?

— Та нефиг делать. Я и сам этой хренью страдал. Читать мне было в кайф. Читал днем и ночью. Когда родак эту тему пробил, то долбал меня так, что мама не горюй.

— Слышь, айда в нашу лит-банду! — выпалил Пианист и осекся, как от щелчка по носу, — Ах, да-а-а… Извини, братан…

Помолчали…

— Слышь, Металлист, а чё ты слинял?

— Да как-то достало все.

— Шо — все?

— Да всё — уроки, олимпиады, факультативы, вся эта байда. Полный напряг, врубаешься? Эти чалдоны загрузили по самые не хочу. Но больше всего задалбывали их рев и визг. Меня от них колбасило конкретно. Куда ни кинь — все носятся, грызутся, орут. В магазине орет очередь, в школе — училка, в кафе — магнитофон, дома — родак. Ящик включишь — по всем каналам жесть. Во дворе бабки друг друга не по-детски мутузят. Пойдешь к врачу — мудаки, что под дверью стоят, придушат тебя и скажут «так и було». А тут еще, блин, как назло, математичка впаяла мне итоговую четверку. Математику-то мне всегда было в лом учить. Золотая медаль не проконала. Батон так орал, что децибелы мне весь мозг вынесли. Абзац.

— Дубасил?

— Не-а.

— А меня мамуля лупит, когда я накосячу — хохотнул Пианист, — Но мне пофиг. Малёхо, правда, обломно, а так — ничё.

— Тебе везуха. Лучше бы меня лупили, чем гнобили. Ругательства больнее всякой боли.

Задумались…

— Слышь, Пианист, ты о чем мечтаешь?

— Прикинь, хочу путешествовать и книжки читать.

— Ну, ты гонишь! Красиво жить не запретишь… А когда все книжки прочтешь, всю Землю вдоль и поперек прочешешь, тогда чё делать будешь?

— Тогда сам начну писать — о морях и горах, о джунглях и прериях, о пещерах и городах. Всю живность, какая в них водится, опишу самыми прикольными красками, чтобы читатели обалдели. А ты? Шо бы ты хотел?

— Рисовать, забуриться на необитаемый остров посреди океана. Видел такую тему на картинках — пупыр земли с пальмой в самом его центре?

— Прикольно! Только здесь какая-то непонятка. Все тащатся от сотового телефона и компа с интернетом, а мы…

— А мы с тобой, выходит, не все…Тупаки, одним словом…

Помолчали.

— Ты обломался из-за той четверки?

— Та мне фиолетово. А вот предок… Вопил, за сердце хватался, когда я сказал, что в художку пойду. Мама плакала. Они-то хотели меня на банкира сдать. Только это совсем беспонтово. Вот я и…

Лохнину тут же нарисовалась картинка. Сидит на цепи лохматый барбос. Лицо у него Металлистово, а все остальное — пёсье. Перед ним навалена цвета детской неожиданности внушительная куча монет, которую он охраняет. Собака, то бишь, Металлист, грустит, скулит и порывается удрать, но цепь не пускает. Семиклассник возмутился.

— Пусть бы сам попробовал всю жизнь чужое бабло считать. От скуки сдохнуть можно. Надо было тебе отморозиться. Малёхо пошланговал бы, аттестат получил и — адью! Эх ты-и-и…

— Хорошо, что у тебя нет такого отца.

— Не знаю, хорошо ли…

При этих словах Лохнин живо вспомнил фотографию девять на шестнадцать в черепаховой рамке, которая, сколько он себя помнил, стояла на фо-но. На ней — отец, такой же взъерошенный и конопатый, как

и Лешка. Родитель пропал без вести в то время, когда мальчик находился на первом семестре своего эмбрионального развития. Поездка перед самой свадьбой в Москву за длинным рублем оказалась для талантливого пианиста последней гастролью в жизни. В результате невеста обрела унизительный статус матери-одиночки, а младенец родился в неполной семье со всеми вытекающими отсюда последствиями. Алексея посетила мысль, что такой вредный отец, как у Металлиста, лучше, чем отсутствие отца вообще. Чтобы подбодрить друга, он сказал.

— Зато теперь тебе — лафа. Летай себе, как птица в небе.

— Ага… Как фанера над Парижем. Дальше своего двора я не могу никуда слинять. Ведь я теперь — призрак, полтергейст. И как там еще?

— Домовой.

— Во-во, именно так. От дома — ни на шаг. Да мы-то и встретились с тобой только потому, что ты мимо валил. Хорошо, что у нас собственный дом. Могу шариться, где хочу. А то соседи…

Время подкрадывалось к концу пятого часа. Герои ночного разгула забились в норы. Горный притих, как оттемпературивший гриппозник. И тут со всех сторон нестройно и глухо, под сурдинку запертых курятников, заверещали петухи…

***

Лешку будоражили разрозненные мысли, рисующие в его воображении разнообразные картинки. Те в свою очередь оживали и приходили в движение. Наблюдая собственный параллакс, юный гуманитарий как бы сидел в зрительном зале и смотрел на экран, где он представал столетним карагачом, в необъятной кроне которого клубилась лесная жизнь. Потом кадр менялся, и вот он — голый дюймовый червь, в морщинке того самого карагача, нагло грызущий плоть великана. Он и палый лист, и новорожденный побег одновременно. Он — мощные корневые насосы, беспрерывно закачивающие сок в торс гиганта, и он же его крошечное семя — невесомая прозрачная крылатка с геномом. Пианист понимал, что противоположности являются обязательной программой его естества, и вкупе они составляют наполнение того, чем является он — Алексей Лохнин.

Он — гипотеза, бездоказательная теорема, и он же — лемма, аксиома аксиом всего земного и неземного. В один и тот же миг он находил себя в блистающем зените и провальном надире. Солнце и луна, вода и огонь, день и ночь, небо и земля явились вдруг для него понятиями и антагонистическими, и безраздельно родственными, основополагающими.

Внутри подростка горным кряжем росла самость. Пианист, словно фрукт, неторопливо зрел. Как в любом музыкальном произведении, в нем шла подготовка к движению во времени. Все знаки акупунктуры уже были расставлены, все точки над «и» начертаны. Еще немного и звуки брызнут из-под пальцев дирижера. Здоровый питательный сок, переполненный животворными энзимами, потечет по кровеносным каналам, мозжечку, клеткам отчужденного организма, который Пианист не переставал ощущать ни на миг.

Он предчувствовал, что его история с летаргическим сном и круглосуточными метаниями по поселку не просто так свалилась ему на

голову. Он знал также, что неуклонно приближается к рубежу, за которым рано или поздно, вступив в прежнее физическое существование, уже никогда не будет прежним. Совершенно необоснованно, вопреки всеобщему ожиданию апокалипсиса к Алексею пришла уверенность в завтрашнем дне.

Минуя кишащие нечистью пандемониумы, что локализовались в сточных ямах, подворотнях, заброшенных домах, подвальных провалах и зияющих канализационных дырах, Пианист замечал рядом с собою мелькание белесой тени. Он догадался, что это не кто иной, как его ангел-хранитель. Но чаще он обнаруживал своего хранителя в собственном уме, где уже давно прижился бес.

Эти двое время от времени спорили из-за Пианиста. Спор их был вполне миролюбивым и подчеркнуто уважительным. Хранитель доказывал губителю, что Леша — хороший мальчик, любящий сын, одаренный ребенок. В том, что с ним произошла ужасная история, — вина взрослых, успевших за период перестройки морально упасть ниже плинтуса. Губитель же с ядовитым смешком ему возражал, заявляя, что на пацане клейма негде ставить. Он утверждал, будто Лохнин строптивец, лентяй, обжора и практикующий онанист.

— Послушайте, — кипятился хранитель,— неужели Вы всерьез считаете мальчугана сложившейся и не поддающейся изменению личностью? Ведь ему всего ничего, тринадцать лет. Формирование его мировоззрения подвержено множественным внешним факторам. Наряду с домашним развитием ребенка существует превалирующее общественное влияние, которое, собственно, и взращивает человеческую личность. Любой предмет или явление выдается в произвольной трактовке кого угодно — родителей, воспитателей, правительственных лиц и прочих умников. Так как познать суть вещей, согласно выведенному Кантом термину «вещь в себе», не дано никому, кроме Отца, разумеется, то взрослые истолковывают все, что им вздумается и как заблагорассудится. Их измышления преподносятся воспитанникам в виде неоспоримой истины. Зачастую черное выдается за белое, и наоборот. В результате духовное начало людей, продиктованное практицизмом, эгоизмом, извращенными догмами и лживыми идеалами, имеет темную основу. Истиной же является то, что подрастающее поколение воспитывают не базис и надстройка, как вы утверждаете, а любовь. Да-да, любовь! В последнее время ее стало так мало. Душа, особенно детская, хрупка, она страдает от грубых вторжений. Тут еще Вы со своими рогами и копытами без малейшего смущения вламываетесь в нее, как в хлев.

— Коллега, — с кошачьим мурлыканьем возражал губитель, — и я рассуждал подобным образом до своего отречения. Тогда, помнится мне, мы были с Вами братьями. Хотя, почему были? Кровное родство еще никто не отменял. Поэтому, хотите или нет, в Вас есть часть меня, а во мне — часть Вас. Как бы Ваши подопечные обретали прочность, которую Отец так от них ждет, если б не было меня? Я и только я не позволяю человеческим экземплярам закиснуть без движения и работы над собой. Иначе их души завоняли бы, как стоячее болото. Если бы я, перекрасившись, не стал тем, что есть, то Отцу пришлось бы меня создать. Признайтесь, что Он при своем молчаливом согласии допустил мое

противостояние. А что до Канта, так разве не он утверждает в «Критике чистого разума», что человек уже при рождении обладает моральным кодексом? Почему же очень немногие спешат им воспользоваться и поступать правильно?..

Пианист припомнил, как однажды ему в руки попала «Критика чистого разума» философа Иммануила Канта. Ее он из любопытства полистал и понял только то, что ничегошеньки не понял. Теперь же он слушал собственные мысли, как радиоспектакль, с твердым убеждением, что его ум существует сам по себе и в нем, Лешке Лохнине, нуждается так же, как собака в пятой ноге…

Внизу, словно из темного сусла, выступала невзрачная архитектура Горного. Вдруг, где-то, предположительно в районе старых двухэтажек, вспыхнуло зарево, весело осветив окружающие дома. Сперва оно было едва приметно, но уже через минуту пышно разрослось и принялось брызгать в небо искрами. Иногда в Горном по ночам занимались костерки. Бомжи зачем-то поджигали мусорники — то ли грелись, то ли воевали за сферы влияния. Лохнин включил третью скорость и поспешил к источнику возгорания.

Удивлению его не было предела, когда в собственном дворе в свете огня возле горки кирпичей он увидел мать. Она была в бардовых сапожках и коротком черном пальто, в которых теперь ходила постоянно. Схватив самый верхний шамот, она принялась с остервенением кромсать его в клочья. Тогда Лешка догадался, что в куче лежат книги. Лохнина шмонала их, вся напрягшись и сжав губы с такой силой, что они завернулись внутрь, обезобразив лицо жабьей ротовой щелью.

Высококачественные твердые переплеты не хотели сдаваться. Особо упорствующих Ольга Ивановна придавливала сапожком, хватала за обе половинки обложки, точно крылья голубя, и безжалостно их отдирала. Ей приходилось прикладывать изрядные усилия, чтобы расчленить плотные бумажные бруски. Книги умирали с треском картона и визгом коленкора. Печатное их нутро вываливалось наружу. Его тут же ловили цепкие женские руки, потрошили и швыряли в костер. Огонь возбуждался, требовал пищи все больше и больше, полнел, набирался объема, ярости и богоподобной мощи.

К кострищу подползали вездесущие бомжи, бродячие псы и любопытные кошки. Они рассаживались кружком, поближе к теплу и, не обращая внимания на бесчинствующую весталку, зачарованно глядели в огонь. Из тьмы несколько раз выныривала, как призрак, верная Клара с книжными стопками в руках. Она молча сбрасывала их в общую кучу и заныривала обратно в темноту…

…Когда на голову Ольге Ивановне внезапно свалился Тото Кутуньо, многократно потревоженный Лешкой и оттого висевшего на одной сопле, она заподозрила неладное. И точно. Ее тайная библиотека оказалась не просто тронутой, а перевернутой сверху до низу. Дикими глазами смотрела Ольга Ивановна на свою литературную кладовую, и ужас кладбищенской плитой расплющивал ее внезапно прояснившееся сознание. Одной рукой схватившись за сердце, другой — за стремянку, она стояла так несколько минут, как пригвожденная к кресту. Спустившись на твердый пол и

напившись валерьянки, несчастная мать принялась звонить подруге. Сообща было принято твердое решение книгохранилище уничтожить.

Лохнина получила образование библиотекаря, наисвятейшая обязанность которого заключается в хранении книг. Казалось, бережное отношение к печатному слову было воспитано в ней еще в зародыше. Загнутые углы или жирные пятна на страницах она воспринимала, как преступный вандализм, не говоря уже о более серьезных повреждениях. Книжные травмы Ольга Ивановна, преданная библиотечному делу, переносила болезненно, словно то были ее собственные раны. Пострадавшие от нерадивых читателей тома она сразу же бросалась лечить — подклеивать, разглаживать, чистить теркой, обновлять обложку и пр. Все это она проделывала с тщанием и усердием, как будто дело касалось не паршивых женских романчиков, зачитанных невзыскательными абонентами в прах, а мастодонтов, заслуживающих восхищения, таких как «Война и мир» или «Тихий Дон». Хотя последние в починке не нуждались. На них никто даже не смотрел.

Лешка, который привык к трепету Ольги Ивановны перед книгами, никак не мог поверить собственным глазам. И хотя зрение его с момента телесного преображения оставалось прежним, и даже лучше, чем в очках, он думал, что эта нервная особа только похожа на его мать, но ею на самом деле не является. Не могла она так безжалостно рвать новенькие тома, а тем более жечь их в огне.

Разглядывая даму и так и эдак, Пианист убедился, что перед ним его дрожайшая родительница, и она совершает то, что в ее же понятии является преступлением — уничтожением литературного наследия. Вместе с узнаванием родного лица пришло внезапное озарение. Леша понял, насколько матушка ценит его, своего сына, превыше всякого литературного наследия, если решила покончить с тем, что портит ее ребенку жизнь. Он подумал: «Может это вовсе никакое не наследие, раз она так безжалостно с ним расправляется?»

Пианиста осенило: для матери он — самая важная часть ее жизни. Хотя раньше он считал, что произведения великих писателей, как ни крути, важней. Перед ними почитательница литературы преклонялась, словно жрица перед стопами Осириса. Она так прямо и говорила, указуя рукой на сервант, забитый классиками: «Вот они — божественные творения гениев, истина и сердцевина жизни».

Сейчас Лохнин понял, что сердцевина его родительницы — он сам. Было очевидно, насколько она несчастна без своей сердцевины. За какие-то шесть дней в ее внешности произошли печальные изменения. Из ворота, ставшего не по размеру широким, торчала тонкая шейка. Личико истаяло и выглядело до предела изможденным. Глаза были потеряны, скулы натянуты, нос заострен и прозрачен, как восковая свеча. Юркие ямочки на щеках исчезли, их место заняли два коротких статичных морщинистых шрама. На исхудалой фигуре короткое черное пальто неэстетично обвисло, под ним топорщились коленки, в голенищах бардовых сапожек образовались пустоты.

Леша ощутил абсолютно физически, как сжалось у него сердце. Он в который раз заплакал, бросился к маме, надеясь, что если она его не видит, то, возможно, почувствует сыновнее присутствие. Ольга Ивановна

на минуту замерла с макулатурой в руках, оглянулась по сторонам, вздохнула и продолжила свой антисозидательный труд.

Прибыла Клара с последней порцией жратвы для костра и с кухонным ножом. Работа заспорилась, все зашевелились, заерзали. С оперативностью секьюрити девушка раскраивала толстые тома и подбрасывала половинки бомжам. Те, не задавая вопросов, с удовольствием общипывали их, как резаных кур. Огонь мгновенно проглатывал наполовину пережеванную пищу.

Пианист вознесся и смотрел на совершаемое кощунство сверху и немного со стороны, заняв позицию где-то на уровне каштановых верхушек. Все копошащиеся внизу в совокупности — вонючие бродяги, умная Клара, бедная мать, шныряющие собаки, внимательные коты — походили на клан умалишенных нибелунгов, уничтожающих в огне свои сокровища…

С литературным наследием было покончено. Без подпитки костер быстро потух, и бесновавшееся вокруг него сходбище разбрелось во все четыре стороны. Коты отошли ко сну, собаки помчали к воротам рынка и дверям ресторанов, бомжи уползли в щели, Клара отправилась в свою живописную квартиру — строчить очередную статью, Лохнина с портфелем в руках побрела в больницу.

Рассвет наступил в семь тридцать. На сепии неба, засвеченной по линии горизонта, четко пропечатались дымчатые горы, восстающие из умбры земли. Пианист, озираясь, засвидетельствовал вокруг сыромятную синель бесхозных полей, строго выдержанную в коричневых тонах. Выше гор весь купол неба был заволочен непрозрачной жижей, в которой плавал белесый балут луны. Час спустя скобяное солнце, пошевеливая ржавым лучом, стало со скрипом выбираться из темного чулана ночи в чахлый зимний денек. До конца света оставалось пятнадцать с половиной часов…

***

…Сидя у больничной кровати, Ольга Ивановна держала пухлую, совсем не музыкальную пятерню сына в своих холодных ладонях. Электрический свет беспристрастно освещал женскую неприглядность. Помада была съедена, тушь с ресниц осыпалась, тонак и румяна облиняли. Теперь, когда лица сына и матери стали одинаково бледны, в них появилось сходство.

Ольга Ивановна что-то лепетала, прикладываясь скорбными губами к обездвиженным пальцам. Лешка прислушался. Он различил слова молитвы и покаяния. Мать говорила, вглядываясь в зажмуренные буркалы толстяка, который в некоторой степени имел отношение к нему, Пианисту. Этот мучной червь, налившийся белым цветом и оттого, казалось, еще больше раздувшийся, и ухом не ведет. Как будто к пустому месту обращаются. Родительница распинается перед ним, говорит, как сильно его любит, просит прощения за то, что ругала, наказывала, лупила иногда. Не со зла, конечно, а для воспитания сознательности. А этому чурбану хоть бы что. Дрыхнет себе спокойно без задних ног. Лешка ненавидел и готов был придушить сам себя. Раз уж плачут по нему, так пусть хоть не напрасно.

Он увидел, как мать оставила в покое безжизненную конечность и, наклонясь к стоящему на полу портфелю, вынула здоровенную книжищу, экстерьером смахивающую на ту… ту самую. Он почувствовал как сердце упало, а волосы на голове встали. Он смотрел во все свои стопроцентно зрячие глаза на подозрительную книгу, и все его нутро противилось ей. «Нет! Только не это! Мама, не надо!..» — захлебывалось воплем его сознание. Неописуемый страх отшвырнул его прочь, в дальний угол потолка.

Ольга Ивановна провела ладонью по шагрени, словно стирая пыль, и раскрыв книгу на закладке, стала негромко читать вслух подвывихнутым, выпадающим из интонационных пазов, больным голосом. С первых же слов Пианист понял, что в руках у нее библия. Он быстро успокоился и опустился вниз.

— Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…

Лохнин не отрывал взгляда от молитвенницы. Она, не поднимая глаз от писания, обращалась сквозь слезы к Богу, как будто Он был величайший профессор медицины и семейный психолог по совместительству.

— Господи, исцели моего мальчика. Спаси его, а вместе с ним и меня, потому что без него нет мне жизни. Разве зря я его растила в вечной нужде, не доедала, не досыпала, лечила, учила, воспитывала изо всех сил? Больше всего на свете я люблю своего сыночка, и вся жизнь моя — ради него.

Лешка глазел на плачущую матушку, слушал тихие причитания и всхлипы. И вдруг ему показалось, что ее слезы и жалобный болезненный голос — это вовсе не тяжкие вериги страдания. Что это — расчудесные краски верховного художника, живописующего все сущее; что в этой картине есть и для него местечко.

Неожиданно он обнаружил себя светящейся каплей звездной млечности. Потом — виноградной улиткой, прилепившейся к молодому кусту. Из куста картечью выстрелило семейство воробьишек, и один из них — это Лешка видел отчетливо — был его точной копией. Он находил себя повсюду — в ослепляющем солнечном блике, во взболтанной дождевой луже, в струйке парного ветерка, в цветочной пыльце на лапках пчелы…

Картина жила, каждое мгновение меняя цвета и сюжеты. Любая мелочь была напоена таинственным смыслом. Так горькие травы, заговоренные ведуньей, бродят соком целебной силы, чтобы просочиться в назначенный срок.

Все было важным и крайне необходимым для взращивания мира. Фортепианная партия, падающая с пюпитра; подснежник, поднимающий голову от проталины; строительный кран, набычившийся на свой груз; невесомый парашютик, покидающий лысину перезрелого одувана; клубы желтых полозов в одичавших крымских степях; водопады, реки и речушки по всему свету перешептывающиеся между собой, как заговорщики; выпуклые линзы морей и океанов, глядящие внутрь себя; каменная короста на теле планеты, называемая городами; трубы водопроводов и

доменных печей; лабиринты пещер и подземок; атмосфера земного шара и его магма; горы в шубах лесов и шапках льда; все книги, наработанные умом человечества; мозг шимпанзе как экспонат для изучения происхождения людей; погребенные в слоях веков осколки цивилизаций; разоренные гробницы божественных фараонов; ядро первородного зерна; монада человека; ответственный бениciарный служащий с папкой; безответственный подросток с сигаретой в зубах; священный дух Сиона в молитвенных домах; угарный дух похмельного синдрома; сытые стада молочных буренок; стройные стада оловянных солдатиков, марширующих на войну; пеленки трехкилограммового младенца; дождевая пелена, укрывающая ненасытную пустошь; вожди слепцов; слепой музыкант; сады и виноградники; пшеничные поля и цветочные луга; мудрый болид, огибающий Землю; земельный кодекс; гнезда галактик в божественной безмерности; гнезда пернатых в хлорофилловом раю…

Картина жизни была для Лешки столь ощутима, словно она брала художественный материал из нейронного электричества и клеточного гидролиза его собственной плоти. Теперь он не считал себя гражданином пустоты. Вся внутренность была переполнена божественной влагой мироощущения. Муки последних дней выпарились из него и незримым облачком полетели в вышние сферы, в личную Лешкину ячейку космической матрицы. Оттуда же, сверху, ему помахал крылом хранитель. Пианист тоже помахал в ответ радостно, изо всех сил, и, споткнувшись о камень у входа в тоннель, шагнул внутрь.

За его спиной в круглом проеме серел будничный свет. Под ногами желтела дорожка из спрессованного ракушечника. От свода щедро отсвечивала зеленью майолика. Заросли вдоль стен ударили в голову можжевеловым дурманом. Навстречу с мельканием, жужжанием и хлопаньем крыльев летели, бабочки, жуки, птицы. В конце коридора крошечной светящейся лампочкой манил некий объект. Он, по мере приближения к нему, постепенно рос и приобретал смутные очертания. Что это такое, Лешка не знал. Но что без этого самого, неизвестно чего, его существование будет невозможно — знал точно. Это убеждение пришло к Пианисту, как удар грома среди ясного неба. Крышу у него снесло, сердце запрыгало, со всех ног он рванул вперед.

Несмотря на лишний вес, семиклассник бежал изо всех сил. Пот заливал ему глаза так, что светящийся объект виделся расплывчато. Лешка мчал к нему безостановочно, но было еще достаточно далеко до финиша. Коридор казался бесконечным, а цель недостижимой. Уже задыхаясь, выбившись из сил, всем телом трясясь от усталости, парнишка продолжал бежать. Ноги заплетались, сердце трепыхалось, как воробей, в голове гремел бой наковальни, что-то булькало в горле. Еще немного. Пятьдесят метров… Сорок… Тридцать… Двадцать… Десять. Мысль прошила пулеметной очередью: «Все… конец… умираю… Ма-а-а-ма-а-а!..» Пианист закрыл глаза и рухнул за пару метров до цели. В эту секунду в его мозге раздался щелчок тумблера…

… — Он открыл глаза-а-а! Он просну-у-улся-а-а! — кричала Ольга Ивановна не своим голосом, летя по больничному коридору со скоростью торпеды. Уже через три секунды весь медперсонал во главе с Моисеем Давидовичем несся в реанимационную.

Пианист увидел людей в белом, обступивших его со всех сторон в тревожном молчании, плачущую мамулю у изголовья, бегло ощупал и осмотрел себя, прислушался к урчащему животу и вспомнил, что давненько ничего не едал. И хотя он отлично знал, что мама категорически против неправильного питания, сказал:

— Ма, можно мне немного чипсов?

Реанимационная взорвалась счастливыми воплями, смехом и рыданиями. Разносчица метнулась на кухню. Ольга Ивановна схватила в охапку свое чадо, поливая его усилившимся потоком слез. Все бросились друг друга обнимать, целовать, и поздравлять с победой над недугом, не обращая на Лешку, задавленного объятиями матери, никакого внимания. Громче всех шумел Моисей Давидович:

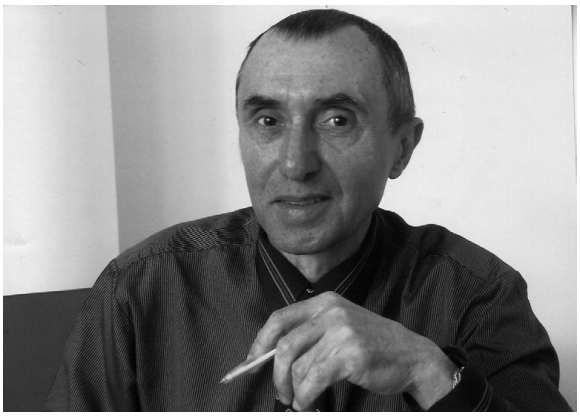
— Сейчас же, сию секунду всех приглашаю ко мне в кабинет! Такое событие необходимо отметить!

«Какое такое событие? — думал Пианист, сидя на кровати. С удовольствием еще большим, чем от чипсов, он глотал куриный бульон из сиротской больничной чашки и болтал ногами, — Конец света, я так понимаю, отменяется».

Все совпадения — случайность.

1 июня 2016г.

## Анатолий Николин. *Олений замок*. Из древнегерманского эпоса



Николин Анатолий Игнатьевич — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1946г. Окончил факультет русской филологии Донецкого государственного университета. Автор девяти книг стихов и прозы, выходивших в издательствах Украины, России, Германии. Публикации в журналах и альманахах «Брега Тавриды» и «Манускрипт» (Крым), «Ренессанс» (Киев), «Москва», «Белый ворон» (Екатеринбург), «Семь искусств» (Ганновер), «Зарубежные задворки» (Дюссельдорф). В 2015 году стал лауреатом премии Марка Алданова (Первое место). Член-корреспондент Крымской литературной академии. Живет в г. Мариуполе.

*Перед нами не перевод и даже не пересказ — это стилизация эпоса дохристианской эпохи. Поэт Анатолий Николин заимствовал из древнегерманского эпоса лишь имена, а сюжет и даже название поэмы — плод авторской фантазии.*
*Эпиграф к ней взят из "Беовульфа", единственного полностью сохранившегося литературного памятника той поры.*
*"Тот, кто жизнью не рискует,*
*Тот не знает цену жизни" — пишет Николин.*
*А мне вспоминается ранний М.Горький с его "Безумству храбрых поём мы песню!"*

*Инна Иохвидович*

*«Истинно! исстари*
*слово мы слышим*
*о доблести данов,*
*о конунгах датских,*
*чья слава в битвах*
*мечами добыта!»*
Беовульф

Раз ненастною порою
В свете факелов коптящих
Собрались в Оленьем замке
Люди Скильдинга на праздник.

До утра стучали чаши,
Как мечи в бою неравном,
Доблесть Скильда прославляя,
Славя день его рожденья.

Встал тогда бесстрашный Хродгар,
Воин, в битвах поседелый,
Он, мечом взмахнув двуострым,
Сотни латников сражает.

«Братья-витязи! — сурово
Сдвинув брови, молвит Хродгар. —
Вас за пиршественной чашей
Огорчить хочу я словом.

Уж давным-давно ржавеет
По стенам в Оленьем замке
Наше тяжкое оружье —
Мощь и слава гордых данов.

Как при Хервинге ходили
Мы в последний раз за море —
Кровью полнили там чаши
И слезами жен враждебных.

Вспять пришли тропой китовой
Мы с добычею богатой;
Было женщинам не стыдно
Нам смотреть в глаза, могучим.

А теперь, ладьи оставив,
Жрем и пьем, тупея с жиру,
За столом в Оленьем замке,
Как хозяйские собаки!»

И тогда поднялся Хальфдан,
Вождь из рода древних свевов, —
Витязь силы необычной,
Фьорды скалами прудивший.

Был он строен и прекрасен,
Словно лиственница в пору,
Когда солнце днем и ночью
Над хрустальным блещет лесом.

«Братья-витязи! — промолвил
Юный Хальфдан горделиво, —
Прав великий воин Хродгар,
Попрекая нас бездельем.

Тот, кто жизнью не рискует,
Тот не знает цену жизни;
Так томящийся безбрачьем
Ненасытен в бурных ласках.

Порождает слабость силу,
Тяжкий меч к щиту стремится;
Не найдешь в добре отрады,
Злобу кротостью питая.

Не в природе человека
Постоянство; утомляет
Нас оно чредой унылой,

Поглощая жизни влагу.
Не пора ль тропой китовой
Нам достичь пределов моря,
Утолить сраженья похоть
И ладьи смирить добычей?»

Так промолвил славный Хальфдан,
Хоть и юн он был годами.
Звон мечей ему ответом
Был, взметнувшихся из ножен.

И велел великий Скильдинг
В путь ладьи свои готовить, —
В окрыляющую бездну,
В черноблещущее море.

1984 г.

# Виталий Щигельский. Шлагбаум. Рассказ

Виталий Щигельский — петербуржский прозаик и публицист. «Автор года 2009» по версии литературного портала «Литсовет». Рассказы, очерки и статьи автора опубликованы в печатных и электронных СМИ, в частности таких как «Мой район», «Час пик» (г. Санкт-Петербург); «Эхо Москвы»; «Королевская панорама», «Одинцово-Инфо» (Московская обл.); еженедельник «Обзор» (Чикаго, США) и др. В 2010 г. в журнале «Сибирские огни» (г. Новосибирск) опубликован роман «Время воды», в журнале «Edita-club» (Германия) — роман «Наночеловек. Политические технологии сновидения». Отдельной книгой в Петербурге издан роман «Обратное уравнение».

*Вопросы пятилетнего сына оживляют мозг недалекого отца. Заржавевший механизм приходит в движение, и жизнь, казавшаяся раньше такой простой и обыденной, предстает во всей своей неприкрытой "красе".*

*Олеся Янгол*

— Ну что, брат, вдвоем нам с тобой выходной проводить, — сказал Смирнов-старший пятилетнему сыну Сережке. — Мать на дежурстве.

Они сидели за кухонным столом, накрытым пестрой клеенкой с изображением морепродуктов, и с одинаковым неудовольствием ковырялись в тарелках, наполненных манной кашей, заботливо приготовленной матерью перед уходом на службу.

— А где она дежурит? — спросил Сережа.

Он дорос до стадии задавания всевозможных вопросов, когда знаний об окружающем мире накопилось достаточно, но лежат они в голове кое-как, словно это не голова, а чемодан жены Люды, где есть все, но между этим всем нет никакой логической связи.

— Заступила на вахту.

— Она, значит, вахтер?

— Да.

— А что вахтер делает?

— Как что? Несет вахту.

— А почему она вахтер?

— Профессий сейчас, знаешь, не много. Особенно важных.

— Сколько?

— Ну ты даешь! Я что тебе, математик?

— Но все-таки.

— Ну, хорошо. — Отец убрал со стола тарелки и принялся наливать в чашки чай. — Их восемь. Военный, полицейский, следователь, охранник, вахтер и сек… секьюрити.

— Шесть.

— Чего «шесть»? — Смирнов-старший почесал бритое темя.

— Я насчитал шесть профессий.

— Я округлил, — нашелся отец.

— А воспитатель в детском саду и учитель, а дворник? — Сережа насупился.

— Это не профессии, так — ремесло, чтобы выжить.

— Что такое «ремесло»?

— Типа промысел. — Смирнов-старший посмотрел на часы и решил положить конец беседе, потому что подбирать правильные для маленького ребенка слова стало трудно, например, отец с трудом удержался, чтобы вместо «промысла» не использовать более подходящее слово «терпила». — Одевайся.

Сережа стянул с вешалки на пол пятнистый водонепроницаемый комбинезон и принялся натягивать его прямо на колготки цвета грушевого джема.

Внимательный папа сразу заметил ошибку:

— Ну что, опять две ноги в одну штанину засунул?

— Ага, — согласился сын.

— Сережа, я говорил тебе, что нас в учебке за такую провинность отправляли в наряд на хоздвор свинарники чистить?

— Говорил, — прокряхтел сын, выпутываясь из комбеза. — Хочу посмотреть на свинок.

— Не получится. Хоздвор наряду с пищеблоком находится в списке секретных объектов. Зная солдатский рацион и поголовье свиней, можно рассчитать численность комсостава и их семей, до тещи включительно. Понял?

— Нет, — замотал головой Сережа.

«Это хорошо. Некоторые вещи лучше не знать совсем», — подумал Смирнов-отец.

— Папа, я не хочу надевать эти вещи.

Сережа справился с комбинезоном, но от напряжения вспотел, и ему было неприятно ощущать липкий горячий пот на спине.

— Особенно сапоги, — добавил он, не дождавшись ответа. — Они очень тяжелые.

— Это не сапоги, сынок, это берцы. Ты мой сын, и ты должен носить то, что и я, а я ношу берцы и камуфляж.

— Почему?

— Потому что камуфляж в лесу укрывает, а в городе — предупреждает.

— Кого?

— Людей.

— О чем?

— О том, что со мной лучше не связываться. — Смирнов-старший всегда чувствовал себя неуютно в общении с сыном, когда жена Люда была на дежурстве. Он затянул портупею и вложил в кобуру именной газовый пистолет. — Так что обувайся и терпи. Я вот терплю.

— Почему?

— Чтобы работы не лишиться.

— А ты кто?

— Я охранник.

— А я думал — секьюрити.

— Секьюрити ходят в костюмах. Они и охраняют костюмы. Я же хожу в камуфляже.

— А что ты охраняешь?

— Шлагбаум. — Это слово отец произнес с особой гордостью.

— А что это?

— Шлагбаум — это делитель. Людей сейчас очень много, больше, чем нужно.

— Нужно для чего?

— Для дела. Для счастья. Для общего блага. Но главное — они беспорядочны. Шлагбаум — это такая штука, которая упорядочивает людей. Отделяет. Важное от второстепенного. Нужное от ненужного. Как сельхозкомбайн. Бери выше. В каком-то смысле шлагбаум — это механический бог. Ты веришь в бога, Сережа?

— Не знаю.

— Вот и я не знал, а точнее, не верил, пока не увидел, как шлагбаум функционирует. Это словами не описать, надо видеть, — объяснил Смирнов-старший, взъерошив короткопалой, заросшей рыжим мхом пятерней пшеничные волосы сына. — Давай полезай в машину.

Когда оба оказались внутри шестиколесного «Ура-Патриота», сын задал очередной вопрос:

— Па, а почему ты охранник?

Мотор завелся не сразу, дав Смирнову-старшему время подумать.

— Это одна из самых древних профессий, — ответил отец; если разговор заходил о работе старший Смирнов воодушевлялся, к изумлению слушателей обнаруживая емкий, компактный словарный запас. — Когда на земле появились люди — миллион лет назад — они были дикие, ходили почти без одежды, говорить толком между собой не умели, вот и возникла потребность друг от друга их охранять. А если посмотреть шире, то все, что ты видишь вокруг: машины, телеграфные столбы, лопух на обочине, — все нуждается в охранении. Каждой вещи, тем более человеку положено быть в строго определенном, специально отведенном для него месте. Иначе все перемешивается, и наступает бардак.

— Значит, и шлагбаумы всегда были?

Смирнов-старший объехал дыру в покрытии шоссе и с гордостью подумал, что отдаст сына в следователи.

— Всегда, Сережа, всегда. Поначалу делали их из дерева и поднимали руками. Теперь — из железа, а поднимают их умные механизмы.

— А кто опускает?

— Я.

— Значит, пап, ты важнее президента?

— Ну скажешь тоже, — Смирнов-страшний обрадовался и испугался одновременно. — В общем-то, да, но никому больше не говори так, запомнил?

— Запомнил.

— Этого недостаточно. Зуб давай.

— Прямо сейчас?

— Да нет. Это так говорят. Потом. Если проболтаешься, я тебе его выбью.

Сережа прикрыл рукой челюсть.

— Да ты не переживай, — отец хлопнул его по плечу. — У тебя зубы еще молочные — на их месте новые вырастут. И ты тоже станешь охранником, когда вырастешь.

— А я не хочу.

— А кто тебя будет спрашивать?

«Ура-Патриот» миновал знак с перечеркнутым словами «Жилмасс Годзиллово» и вышли на прямую дорогу, ведущую в город.

— А что такое «Годзиллово? — спросил сын.

— Наш элитный жилой массив.

— А что такое «Годзиллово», что такое «элитный» и что «жилмассив»?

— Ну ты, блин, много знать хочешь, — ударил по рулю Смирнов-старший. — Один вопрос — один ответ, это еще понятно. Но если три зараз, тут нужно к мамке.

— Не знаешь, пап. С тебя, значит, саечка, — широко улыбнулся Сережа. — А я вот знаю.

— Чего ты знаешь? Чего? Про мамку, что ли? — занервничал старший.

— Да нет. Про грибы. Поселок «Жилмасс Годзиллово» назвали из-за грибов. Богатый наш край грибами. Всю родину кормит.

В самом деле. По обе стороны грунтовой дороги росли гигантские подберезовики. Их гигантские шляпки раскачивались над тремя элитными корпусами, поднимаясь много выше самых высоких берез.

— А когда они появились, ты знаешь? — хитро прищурился Смирнов-старший — вот, наконец, и он смог задать свой вопрос.

— Не-а…

— Так и знал, что не знаешь… А я тебе расскажу, — отец вырулил на дорогу, ведущую в город. — Когда-то, когда тебя еще не было в планах, здесь размещались угодья патриарха: дворец, дворня, свечной заводик, ульи. Ходить тут не разрешали. В муравейниках прятались снайперы. Особисты сидели на соснах, как дятлы. Но шесть лет назад на ближайшей железнодорожной станции цистерна немецкая протекла. Тогда все и началось: железную дорогу закрыли, дворец по кирпичикам разобрали и увезли на новое место, свечной завод сдали в аренду, ульи сожгли. А на освободившейся территории наш жилой комплекс начали строить. И тут грибы как пошли! Одни говорят, на цистерне череп с костями был нарисован. Я знаю, конечно, немчура нам всегда гадости пыталась устроить, но в этот раз, думаю, все дело в месте. Место намоленное. Недавно следователь Степанов видел пчелу размером с боевой вертолет…

Сережа спрятал глаза за ладонями.

— Ну ты чего, брат, пчелы испугался, что ли? Ты о хорошем думай. О том, сколько с нее меду будет.

— Да нет, — уточнил Сережа. — Не нравится мне, что Степанов часто к мамке заходит, когда ты на дежурстве, все зовет за Третье кольцо Малый театр показать…

Смирнов-старший ничего не ответил, но крепко, до хруста в пальцах сжал руль.

Какое-то время они ехали молча. Каждый был готов разрыдаться. И старший Смирнов не выдержал:

— Ну все! Или ты вопросы свои почемучестые задаешь, или мы едем домой.

— Хорошо, — кивнул Сережа. — Пап, а как ты понимаешь, кому открывать шлагбаум, а кому нельзя?

— Это просто, — Смирнов-старший облегченно вздохнул. — Через шлагбаум разрешается проезжать двум категориям лиц. У одних есть спецпропуска. У других двести рублей. Лучше без сдачи.

— А остальным?

— А остальным нельзя.

— Прямо всем, всем и всем?

Старший Смирнов задумался, говорить ли сыну всю правду. И решил промолчать о том, о чем ребенку было знать еще рано: он всегда поднимал шлагбаум, если в щель между ветровиком и тонированным стеклом просовывалось дуло короткоствольного автомата.

— Пап, а у тебя пропуск или ты платишь?

— У меня пропуск до шестого кольца, — сказал Смирнов-старший с нескрываемой гордостью. — Я ж работаю на шестом.

— А если тебе надо дальше в город поехать, то едешь за двести рублей?

— Нет, — отец нахмурился. — Дальше не еду.

— Почему?

— А зачем мне туда? — снова соврал Смирнов-старший: за пятое кольцо его уже не пускали. Не было допуска.

«Почему у меня нет допуска? — подумал он. — Я, может, в Малый театр хочу, в буфет?»

И в тот же момент ему сделалось душно и потемнело в глазах, словно грозовая туча опустилась на его бритую голову.

— Па, а как называется тот человек, который работает на пятом кольце? — не унимался Сережа.

— Тоже охранник.

— Охранник охраняет шлагбаум от другого охранника?

— Что-то ты сегодня задаешь очень много вопросов. Поехали лучше назад. Корзины возьмем, бензопилу — и за грибами. Давно мы супа не ели грибного, что скажешь, Сережа?

— Давно.

Следующую ночь Смирнов-старший не сомкнул глаз. Вероятно, впервые в жизни он мучился. Старшему охраннику Смирнову не давали покоя вопросы пятилетнего сына Сережи… Его сын, сын его жены вдруг стал задавать вопросы, и не какие попало, а именно те, которыми никогда не задавался старший Смирнов. Никогда… сколько он себя помнил. А помнил он себя хорошо. Смирнов-старший всегда был одинаков. Он всегда был высок, длиннорук и брит наголо. Всегда носил синие рубашки с короткими рукавами, черные штаны и крепкие берцы. И будучи несовершеннолетним дружинником, и ефрейтором в армии, и теперь вот в охране. И никогда в его голове не крутилось вопросов. Нет, ну какие-то определенно влезали в черепную коробку. Например, к жене: Люда, когда суп готов будет? Или же по работе: мужик, включи голову, ты какой стороной купюру в банкнотоприемник суешь? А теперь они кружили над ним, как рой насекомых над абажуром или как стая ворон из народной песни…

Смирнов-старший чувствовал острую непреодолимую потребность поделиться ими хоть с кем-то. Но с кем попало делиться было нельзя. Он вглядывался в зеленые и глубокие, словно омуты, глаза Люды, в прозрачные зрачки сменщика Иванова, он пытался поймать и зафиксировать на себе вечно бегающий взгляд следователя Степанова и понимал, что среди жителей элитного жилого массива «Годзиллово» он не может доверять никому. Оставался прямой начальник. Это был рискованный ход: чтобы ты ни сказал, ты не мог возвыситься до его уровня и стать его другом, но зато мог быть растерт в порошок и развеян с вертолета, похожего на большую пчелу.

Так случилось, что начальник Михаил Георгиевич Свиридов, по прозвищу «Танк», нашел его сам. Разговор состоялся в тесном кабинете, заставленном коробками с тушняком, водкой и увешанном зимним обмундированием, — в кабинете, похожем на общевойсковую каптерку.

— Хорошо тут у вас, Георгич, — заходя внутрь, произнес Смирнов-старший. — К войне готовитесь?

— Война никогда не заканчивалась, сынок, — хмуро ответил Танк.

— Зачем вызывали?

— Мы готовимся к прямой линии с президентом. Нужен один человек от подразделения. Не обосрешься? Справишься?

— Никак нет, — Смирнов понял, что настал его час.

— Ты садись — разговор будет важный.

Смирнов сел на ящик с тушенкой, на острый засаленный край — свободного места вокруг больше не было.

— Георгич, я как чувствовал важность момента, даже набросал пул вопросов.

— Че за пул? Зачем пул? Это не бильярд. Один вопрос от имени всего подразделения. Он с охраной ни разу в жизни не разговаривал и, помяни мое слово, больше не будет.

— Но у меня эти вопросы один с другим увязаны. Ответ на один ничего не решит.

— А ты чего решать-то собрался?

— Вопросы.

— Ты это серьезно? Без нас есть кому решать. Твое дело открыть и закрыть шлагбаум.

— Георгич, здесь вопросы глобальные. Шлагбаум жизненного масштаба. Понимаешь?

— С трудом.

— Понимаешь, у меня один вопрос за другой зацепляется, как товарный состав. Потому если один вагон под откос, то и весь состав под откос.

— Ну давай, начинай, — Свиридов на всякий случай проверил наличие электрошокера в заднем кармане.

Чтобы показаться умнее, Смирнов-старший подпер подбородок кистью и спросил:

— Почему после того, как немецкая цистерна дала течь, землю эту, промоченную немецкой заразой, дали под стройку? И нам там квартиры выделили за ипотеку. А святой угодник сразу уехал. Почему мы живем там наравне с грибами без какого-либо намека на малый театр, не говоря о большом? У нас есть развлекательный центр с искусственным катком на десять персон и гамбургерами с грибами, от которых у меня пучит живот и жена выгоняет меня с постели на крышу. У нас кинотеатр, в котором показывают американские блокбастеры и американские сиськи, в то время как сисек своей жены я годами не вижу. А тут еще сын спрашивает меня, почему я обычный охранник, а не секьюрити, и почему меня не пускают за пятое кольцо, а мою жену со следователем Степановым пропускают и дальше… Георгич… как я это все сыну объясню, если я сам не знаю? Георгич…

— Хватит! — Свиридов еще раз проверил электрошокер и медленно произнес: — Ты можешь не верить, но у меня нет ответов. Даже для себя самого. И у президента нет. Иначе бы мы все жили совсем по-другому. Я не знаю, зачем я терплю все это, но я терплю. А когда не смогу терпеть — пущу себе пулю в лоб. У тебя есть пистолет, Смирнов?

— Газовый именной.

— Ну это для газовщиков. Будь у тебя пистолет, я посоветовал бы застрелиться. А нет пистолета — живи. Сам в свое время помрешь, если политики не помогут ускорить процесс. В общем, живи, найди работу полезную.

— Типа чего?

— Сантехника, например. Это ведь то же самое, что и шлагбаум, только он не мешает, а помогает. Надо ведь кому-то регулировать говноток, чтоб он не накрыл нас, как когда-то Везувий. Мы же не просто в землю, в реки, в озера срем, мы же постоянно срем друг другу в душу.

— Дык, чего, мне это у президента спросить? — уточнил Смирнов-старший.

— У него-то как раз бесполезно, — скривился Свиридов. — Ты у себя спроси. Спросишь?

— Спрошу.

— Ну теперь давай выпьем, — Георгич убрал руку с шокера. — Представляешь, я уже неделю не пил.

## **Роман Михеенков. *Торжество толерантности.* Новая пьеса**

Роман Михеенков — человек эпохи Возрождения. Писатель, драматург, режиссёр, журналист, композитор, продюсер. Обо всех ипостасях этого удивительного творца вы можете найти полную информацию в нашем журнале № 14. Здесь же мы предлагаем вам к прочтению последнюю пьесу Михеенкова, поэтому считаем целесообразным сделать акцент на его театральной деятельности. Музыкант, выпускник Гнесинки; телевизионщик — сценарист, режиссер-постановщик, продюсер и автор саундтрека — становится студентом режиссерского факультета Щукинского училища. Дальше — спектакли «Дочь Альбиона» по Чехову, поставленный в Щукинском училище, «Портрет Дориана Грея» по Уайлду — в театре Намина, «Час Прометея» по собственной пьесе, «Фунт Правосудия» по «Венецианскому купцу» Шекспира в декабре 2014 г. номинирован на премию Московской Хельсинкской группы. Одновременно с этим сразу несколько постановок другими режиссерами пьесы Романа Михеенкова «Лунные зайчики», принесшей автору диплом международного конкурса драматургов «ЛитоДрама».

*О, великий Зевс! Ты растерялся и потерял власть над смертными. Твоя великая божественность попрана, и ты сложил полномочия. Ты "умываешь руки" и бросаешь свой народ на растерзание чуждым богам. Богам? О, нет! Они всего лишь смертные людишки, homo sapiens XXI века. Наш сегодняшний мир смущает даже древний Олимп.*
*Великолепная трагикомедия, поражающая своей современностью.*

*Олеся Янгол*

Действующие лица:

Зевс — отец богов
Гера — его жена, богиня
Гестия — богиня домашнего очага
Гермес — бог воровства и торговли
Дионис — бог вина
Аполлон — бог, покровитель искусства и наук
Хадуд — угаритский бог переселений

Балет: сатиры, нимфы.

Картина 1

*Предгорье Олимпа. Гермес, Аполлон и Дионис, пошатываясь, выходят с амфорами в руках.*

Дионис (отхлёбывая из амфоры): Что за гадостью ты нас поишь, Гермес?

Гермес: Это шнапс, Дионис, меня готские боги угостили.
Дионис (отхлёбывая ещё глоток и морщась): Варвары. (Аполлону) Аполлон, как тебе?

Аполлон (делает глоток, морщится): А они точно боги?

Гермес: Сами вы варвары. Пьёте, и всё вам до фигового листка.

Дионис (Аполлону): Гермес у нас продвинутый, он три колесницы фиговых листков скандинавскому богу Одину продал.

Аполлон: В Скандинавии же холодно, там в шкурах ходят. Бррр. Зачем им фиговые листки?

Дионис: Ключевое слово — «продал».

Гермес: Я, между прочим, о благополучии Олимпа забочусь. Представляю эллинских богов в едином европейском пантеоне.

Дионис: Интригация, Аполлон! Интригация!

Гермес: Интеграция, пьянь.

Аполлон: Парни, не ссорьтесь, вы же боги.

Гермес (протягивает амфору Дионису): Мир?

Дионис (делает глоток): Если дать этот напиток людям, Аид будет без выходных работать.

Аполлон (поднимая амфору): За мир и…

Гермес: … и интеграцию!

Дионис: Тьфу.

Гермес: Не тьфу! Не тьфу! Мы — часть европантеона, хочешь ты этого или нет.

Дионис: Что ты говорил о фиговых листках? Там было очень точно об интеграции.

Аполлон: А я вижу в этом только прекрасное. Мы создали колыбель культуры и науки. Будем просвещать варваров. Когда-нибудь и они станут цивилизованными.

Дионис: Как бы нас не просветили. Я позавчера пил с Вакхом. Он мне порассказал, что там творится.

Гермес: Всё в рамках божественного. Просто мир стремительно меняется, а вы этого не хотите замечать.

Дионис: Представляешь, Аполлон, римляне назначили бога торе…торле… Тьфу.

Гермес: Толерантности.

Аполлон: Римляне могут. И что за обязанности у этого бога?

Гермес: Это очень важный бог! Он отвечает за терпимость в отношении инакомыслящих, инакомолящихся, геев.
Аполлон: У них там столько богов, что я не со всеми знаком, и они в свой пантеон постоянно новых привлекают. Какие там могут быть инакомолящиеся?

Дионис: А геи — это кто?

Гермес: Сексуальные меньшинства.

Дионис: Кто?

Гермес: Это когда мужчина любит мужчину или женщина женщину.

Дионис: Странно… И у них, и у нас это уже несколько тысяч лет происходит само собой. И никто не обращает внимания. Зачем для этого отдельный бог?

Гермес: Ты не понимаешь.

Аполлон: Я тоже не понимаю.

Гермес: Это божественный корпоративный уклад. Так надо.

Аполлон: И у нас на Олимпе появится бог толе…

Гермес: Толерантности. Да, и на Олимпе.

Дионис: Вина на всех не напасёшься.

Гермес: Не переживай. Поскольку бога у нас такого пока нет, а необходимость есть, я хочу предложить Зевсу свою кандидатуру.

Аполлон: А торговля?

Гермес: Что торговля?

Аполлон: Ты же бог воровства и торговли.

Гермес: Одно другому не мешает. Буду богом воровства, торговли и толерантности.

Аполлон: А что. Вполне сочетается.

Дионис: Не надорвёшься?

Гермес: Справлюсь. Поддержите мою кандидатуру? Все остальные уже поддержали.

Дионис: Запросто. Только бы на меня это не повесили.

Аполлон: Если ты так к этому стремишься…

Гермес: Отлично! Пошли к Зевсу?

Дионис: Ничего, что мы пьяные?

Гермес: А ты трезвым бываешь?

*Уходят.*

Картина 2

*Сатиры и нимфы исполняют хореографическую композицию «Толерантность».*

*Либретто*

*На живописном лугу толерантные нимфы встречают двух юных пастушков. Нимфы принимают юношей за геев и начинают активно защищать их права. Пастушки благодарят, удивляются и утверждают, что нимфы ошибаются. Да, пастушки уважают геев, чтут их права, но не являются геями. Но толерантные нимфы уверяют пастушков, что их права попраны. Деликатные пастушки пытаются робко возражать, но нимфы объявляют их нетолерантными и жестоко убивают.*

Картина 3

*Олимп. Апартаменты Зевса. Зевс сосредоточенно смотрит с Олимпа вниз.*

Зевс: Нет, нет, нет, нет… Идиоты! Зачем вам этот конь?! Всё… Пропала Троя… А я проиграл Аресу три литра амброзии.

*В апартаменты с криками врывается Гера.*

Гера: Ах ты, похотливый сатир!

Зевс: И я тебе рад, Гера.

Гера: Ты же говорил, что отправляешься в Угарит на охоту!

Зевс: Какой Угарит, какая охота? Ты можешь объяснить, что случилось?

Гера: Почему на Олимпе постоянно появляются твои ублюдки?

Зевс: Они, как минимум, полубоги.

Гера: Ублюдки!

Зевс: Они дети Зевса! Кстати, про Угарит ничего такого не припомню.

Гера: Припёрся какой-то Хадуд. Утверждает, что он твой сын.

Зевс: Хадуд? Надо же, какое гадкое имя… Гера, не было у меня ничего в Угарите. Я бы признался, ты же знаешь.

Гера: Мне уже давно плевать на твою блудливость, но я не потерплю ублюдков в нашем доме!

Зевс: Ты решила, что пришёл мой сын, потому что он так сказал?

Гера: Если бы твои ублюдки не появлялись на Олимпе регулярно, я бы усомнилась, но ты же не знаешь меры в разврате.

Зевс: Почему ты называешь… э-э-э… божественное провидение развратом?

Гера: Так это «божественное провидение»? Как же я целую вечность не догадываюсь!?

Зевс: Где он?

Гера: Кто?

Зевс: Этот… Хадуд.

Гера: У ворот. Я велела не впускать. Мало ли, что.

Зевс: Пусть войдёт.

Гера: Ну, конечно! Ты будешь размахивать своим…

Зевс: Божественным жезлом!

Гера: А Олимп тем временем превратится в ночлежку для ублюдков.

Зевс: Не вынуждай меня метать молнии.

Гера: Ты мне ещё и угрожаешь?

Зевс: Пусть войдёт.

*Гера отворачивается, выходит.*

## Картина 4

*В двери появляется Гермес*.

Гермес: О, великий Зевс, к тебе можно?

Зевс: Чего тебе?

Гермес: Я с саммита.

Зевс: С чего?

Гермес: С саммита по божественной интеграции европейского пантеона.

Зевс: Что ты там лопочешь?

Гермес: Войти можно?

Зевс: Ты уже вошёл.

Гермес: Я не один.

Зевс: Входите все, только не надолго, я занят.

*Пошатываясь входят Дионис и Аполлон. Кланяются.*

Зевс: Чем от вас так воняет?

Дионис (икая): Толерантностью.

Зевс: Гадость какая.

Аполлон: Прости, великий Зевс.
Гермес (торжественно): О, великий Зевс! Я только что вернулся с саммита.

Зевс: По запаху понятно.

Гермес: Европейский пантеон выразил озабоченность ущемлением прав меньшинств.

Зевс: Ни одного слова не понял. Ты можешь проще выражать мысли?

Гермес: Наши коллеги волнуются. Просят назначить олимпийского бога толерантности, который будет защищать права национальных и сексуальных меньшинств.

Зевс: Чьи права?

Гермес: Финикийцев, Филистимлян, Амореев и мужчин, которые любят мужчин.

Зевс: На их права кто-то покушается?

Гермес: Это вполне возможный вариант развития событий.

Зевс: Можешь внятно изъясняться? Я в тебя сейчас молнией метну.

Гермес: Так не я же это придумал, а европантеон требует.

Зевс: И что?

Гермес: Предлагаю, чтобы тебе, великий Зевс, этим не заморачиваться, возложить эти обязанности на меня. Дионис и Аполлон меня поддержат. Остальные боги тоже.

Зевс: Это правда?

Аполлон: Правда, о, великий Зевс.

Дионис: Всё равно, кроме Гермеса, никто в этом ни хрена не понимает.

Зевс: За речью следи. Ты на Олимпе, алкаш.

Дионис: Прости, о, великий Зевс.

Зевс: Ладно. Быть тебе, Гермес, богом воровства, торговли и этой, как её…

Гермес: Толерантности!

Зевс: Именно, пошли прочь. Только дверь не закрывайте, путь проветрится.

*Дионис, Аполлон и Гермес направляются к выходу. В дверях сталкиваются с Хадудом.*

Картина 5

*Гермес прячется за пальмы, подглядывает. Хадуд подходит к Зевсу.*

Зевс: Ну?

Хадуд: Я Хадуд. Сын Зевса и Масафир — аморейской богини путешествий.

Зевс: О, как! То есть, ты бог?

Хадуд: Да. Бог переселения.

Зевс: А кто тебе сказал, что ты мой сын?

Хадуд: Все — боги и люди — дети великого Зевса.

Зевс: Лизнул до крови.

Хадуд: Прости, отец.

Зевс: Чего же ты хочешь, Хадуд?

Хадуд: Амореи, жители Угарита, молящиеся нам, испытывают крайнюю нужду. Война и голод гонят их с родных земель.

Зевс: Понимаю и сочувствую. У нас тоже неспокойно.

Хадуд: Я прошу у тебя разрешения привести моих людей в Элладу, пока у нас не закончится война.

Зевс: А почему ты у меня об этом спрашиваешь? Спроси эллинов, это их земля.

*Из укрытия выбегает Гермес.*

Гермес: Какие эллины? Кто их будет спрашивать?

Зевс: Ты откуда взялся?

Гермес: Хадуд, я правильно понял, ты пришёл попросить убежища для беженцев?

Хадуд: Да, а ты…

Гермес: Гермес. Бог толерантности. Рад знакомству.

Зевс: Мне может кто-нибудь что-нибудь объяснить?

Гермес: На саммите европантеона заключён договор о предоставлении убежища переселенцам, бегущим от войн и стихийных бедствий. Я, как бог толерантности, назначен тобой следить за соблюдением этого договора со стороны Олимпа.

Зевс: Это понятно, но Эллада же не резиновая. Я бы эллинов спросил.

Гермес: Они нам молятся? Молятся. Жертвы приносят? Приносят. Значит, верят в нас и нашу непогрешимость. Чего их спрашивать? Олимп всегда прав.

Зевс: Хочешь сказать, что мы обидим эллинов, чтобы угодить непонятным богам других людей?

Гермес (на ухо Зевсу): Они нам амброзии на десять лет вперёд отгрузили. Ты забыл, что мы её давно не производим?

Зевс: Так это же ты развалил производство.

*Хадуд отходит в сторону, справляет малую нужду в горшок с пальмой.*

Гермес: Сейчас не об этом. Хадуд! Мы с радостью примем твоих людей! Распорядись, чтобы Хадуду выделили апартаменты на Олимпе, о, великий Зевс.

Зевс (Хадуду): Что ты делаешь, сволочь?

Хадуд (не прерывая процесс): Я благодарю вас, боги Олимпа!

Зевс: Я спрашиваю, что ты делаешь?!

Гермес: Тише, о, великий Зевс. Это другая культура. У них так принято. Надо быть толерантными в отношении представителей других культур.

Зевс: Какие другие культуры?! Он ссыт у меня на Олимпе!

Гермес: Прости, Хадуд, это маленькое недоразумение. Пойдём выбирать тебе апартаменты.

Зевс: Пальму захватите.

*Гермес берёт кадку с пальмой, удаляется вместе с Хадудом. Зевс смотрит им вслед, делает жест рукой, порождая молнии и раскаты грома. Уходит.*

Картина 6

*Сатиры и нимфы исполняют хореографическую композицию «Мультикультурализм».*

*Либретто*

*Толерантные нимфы приглашают в свой сказочный лес бегущих от войны переселенцев. Нимфы заботятся о гостях, показывают им красоту природы, шедевры местных скульпторов. Благодарные беженцы любуются окружающим и от восхищения гадят в лесу и ломают скульптуры. Нимфы крайне удивлены такой реакцией, но стараются не выдать своего негодования. Появившийся Гермес объясняет это разницей культур. Все счастливы.*

Картина 7

*Апартаменты Геры на Олимпе. Гера закрывает окна. Входит Гестия.*

Гестия: А я уже окна и не открываю.

Гера: Я могу понять многое, но жарить на моём жертвеннике барана… Гестия, когда же это закончится?

Гестия: Гермес говорит, это новый божественный уклад Олимпа.

Гера: Меня старый вполне устраивал.

Гестия: Гера, это невыносимо. Ты не можешь поговорить с Зевсом?

Гера: Уже говорила. И не один раз. Он бессилен.

Гестия: Как громовержец может быть бессилен? Это же невозможно?

Гера: Ладно бы этот Хадуд был его сыном, так нет же, я проверила.

Гестия: И почему он до сих пор здесь? Почему Зевс его не выгонит?

Гера: Странная история. Зевс — верховный бог Олимпа, только Олимп теперь часть какого-то мутного пантеона с хитрыми правилами. Все друг другу что-то должны, все страдают, а виноватых нет.

Гестия: Как такое возможно?

Гера: Не могу понять, но это так. Страдают и кричат о толерантности, от неё страдают и снова кричат о толерантности.

Гестия: Это плохо кончится.

Гера: А ты зачем пришла?

Гестия: Я сегодня прислушалась к молитвам эллинов. Это что-то страшное. Меня, богиню домашнего очага, просят о возмездии. О мести и расправе над амореями. Эллины на грани.

Гера: Меня вчера один афинянин спросил, покараю ли я его, если он оторвёт голову беженцу, избившему его сына.

Гестия: Я думала, мы с тобой пойдём к Зевсу, расскажем ему…

Картина 8

*Входит Хадуд.*

Гера: Тебе кто разрешил войти?
Хадуд: Гермес сказал, что все двери Олимпа для меня открыты.

Гера: Только не моя дверь.

Хадуд: Ты кто такая?

Гера: Мать богов, если ты не в курсе.

Хадуд: И что?

Гера: Вон отсюда.

Хадуд: Будь осторожна… мать богов.

Гера: Гестия, позови Немезиду.

*Входит Гермес.*

Гермес: Не надо беспокоить Немезиду без необходимости. Сами прекрасно всё уладим.

Гера: Уведи отсюда это… И чтобы я его больше не видела!

Гермес: Гера, ты нетолерантна, сейчас это не в моде.

Гера: И ты убирайся со своей толерантностью. А то не посмотрю, что ты сын Зевса.

Гермес: Пойдём, Хадуд, нам здесь, кажется, не рады.

*Проходя мимо Гестии, Хадуд хватает её за грудь. Гестия с криком отпрыгивает. Гера вскидывает руку, готовая наслать на хадуда проклятие. Гермес встаёт между ними.*

Гермес: Тихо-тихо-тихо. Спокойно. Это другая культура. Мы просто пока не понимаем. Стоит уважать другие культуры.

*Гермес и Хадуд выходят.*

Гестия: Я, кажется, поняла. Толерантность — это когда мы уважаем другие культуры, а представители других культур вытирают об нас ноги.

Гера: Как-то так.

## Картина 9

*Предгорье Олимпа. Аполлон и Дионис пьют вино на живописной полянке. Шум праздника на вершине Олимпа.*

Дионис: Здесь спать будем или домой пойдём?

Аполлон: Лучше здесь, на Олимпе мне в последнее время как-то не по себе.

Дионис: Понимаю. Этот мигрант притащил на священную гору всю свою шайку. Про Элладу и сказать нечего. Греков лишили дома.

Аполлон: Что мы можем сделать.

Дионис: Плюнуть и выпить вина.

*К Аполлону и Дионису подходит Зевс. Одежда на нём разорвана, лицо в крови.*

Зевс: О, а вот и компания!

Дионис: Какими судьбами, о, великий Зевс?

Зевс: У аморейских богов сегодня большой праздник. На Олимпе шумно. И меня… это… попросили апартаменты предоставить.

Аполлон: Неожиданно, хотя…

Зевс: Ну, это только до утра.

Дионис: Я могу спросить, о, великий Зевс?

Зевс: Нет, Дионис. Я знаю твой вопрос, но не знаю ответ.

Аполлон: Отец богов всемогущ. Так не бывает.

Зевс: Бывает, Аполлон, бывает.

Аполлон: Я много думал. Если ты не можешь выгнать мигрантов, ты можешь устранить причину миграции — просто остановить войну, от которой они бегут. Беженцы вернутся домой, у нас снова наступит мир и покой.

Дионис: Отличная идея. Ни войны, ни беженцев, ни толерантности.

Зевс: Если бы всё было так просто. Войну и толерантность затеяли одни и те же боги.

Аполлон: Не лишай нас надежды, о, великий Зевс!

Зевс: Кто бы мне её дал… Надежду…

*В лесу раздаётся женский крик. Зевс, Дионис и Аполлон бросаются на помощь.*

Картина 10

*Сатиры и нимфы танцуют хореографическую композицию «Апогей интеграции».*

*Либретто*

*Толерантные нимфы пришли поздравить несчастных переселенцев с годовщиной обретения нового дома. В качестве подарка к празднику они отрепетировали танец «Интеграция». Нимфы исполняют танец. Беженцы радуются и от переполняющего их чувства благодарности насилуют нимф. Нимфы рыдают, но не сопротивляются. Они понимают, что это проявления другой культуры, которую толерантные нимфы обязаны уважать.*

Картина 11

*На поляну выбегает рыдающая Гестия в разорванной одежде, её настигает Гермес.*

Гермес: Гестия, стой!

Гестия: Не прикасайся ко мне!

Гермес: Подожди, мне надо сказать тебе что-то важное.

Гестия: Ты притащил на Олимп этого зверя. Теперь, когда он меня изнасиловал, что ты можешь мне сказать?

Гермес: Подожди. Давай не будем делать поспешных выводов!

Гестия: Что?! Этот урод надругался над богиней домашнего очага, а мы не будем делать выводов?!

*Гермес крепко сжимает Гестию в объятиях, пытается успокоить.*

Гермес: Ну, успокойся. Успокойся. Да, это ужасно. Это невозможно.

Гестия: Отпусти меня, мне больно.

Гермес: Сейчас всё пройдёт. Всё самое страшное позади. Ты успокоишься.

Гестия: Я не успокоюсь, пока Зевс не покарает этого подонка.

Гермес: Всё будет хорошо. Всё будет хорошо.

Гестия: Я прямо сейчас пойду к Зевсу.

Гермес: Вместе пойдём. Я этого так не оставлю.

Гестия: Я тебе не верю.

Гермес: Не оставлю.

Гестия: Я хочу умыться. Принесёшь воды?

Гермес: Сейчас. Только никуда не уходи и ни с кем не разговаривай.

Гестия: Это почему?

Гермес: Ты взволнована. Наговоришь лишнего.

Гестия: Гермес, ты в своём уме?

Гермес: Ты сейчас слишком возбуждена, чтобы адекватно оценивать ситуацию.
Гестия: Что?!

Гермес: А что ты хотела? У тебя выброс адреналина, ты неадекватна.

Гестия: Уходи и не возвращайся.

Гермес: А этого, боюсь, не получится.

Гестия: Это почему?

Гермес: Я должен проконтролировать, чтобы ты не распространяла искажённую информацию об инциденте.

Гестия: Гермес, он меня изнасиловал, что тут можно исказить?

Гермес: Не всё так просто.

Гестия: Что!?

Гермес: Он бог другой культуры, тебе не совсем понятной.

Гестия: Я уже слышала этот бред.

Гермес: Ты сама в чём-то виновата.

Гестия: В том, что меня изнасиловали?

Гермес: У них праздник. Ты взволновала разгорячённого вином Хадуда, он не устоял перед твоими чарами.

Гестия: Какие чары? Я ненавижу этого урода!

Гермес: Это твоя позиция. У него другая.

Гестия: Я попрошу Зевса тебя, гадину, заодно покарать.

Гермес (резко меняет тон): А теперь заткнись и слушай. Если ты пожалуешься Зевсу, он устроит скандал, начнёт бросаться молниями. Только на его молнии уже давно есть много других молний. И помощнее. От Эллады и Олимпа просто ничего не останется. Ты хочешь разрушить наше благополучие?

Гестия: Когда насилуют богиню домашнего очага, это благополучие?

Гермес: Представь себе.

Гестия: Убирайся.

Гермес: Надеюсь на твоё благоразумие.

*Гермес уходит.*

## Картина 12

*На поляне появляется Зевс.*

Гестия: О, великий Зевс…
Зевс: Не говори ничего, я всё слышал.

*Гестия прижимается к Зевсу, рыдает. На поляне появляются Дионис, Аполлон и Гера.*

Дионис: Я тут театр организовал при своём культе. Один драматург придумал замечательный приём. Когда всё плохо, и нет никаких шансов, появляется Зевс и всех спасает. Называется «Deus ex machina». Очень удобно. Может быть ты, великий Зевс?..

Зевс: Это только в театре бывает…

Гера: И что теперь?

Зевс: Когда боги начинают мешать людям — они больше не нужны.

Аполлон: Куда мы пойдём?

Зевс: Важно не куда. Важно уйти и не мешать.

Гера: А что будет с нами?

Зевс: Забвение. Лучшее, на что мы можем рассчитывать. Мы освободим людей от необходимости поклоняться Олимпу. Пусть они сами всё решают. Люди мудрее богов. В конце концов, это они нас выдумали.

Гестия: Ты оставишь на Олимпе этого отморозка?

Зевс: Уверяю тебя, завтра его уже там не будет. Греки не идиоты.

Дионис: А путь в забвение, это куда? Туда? Туда?

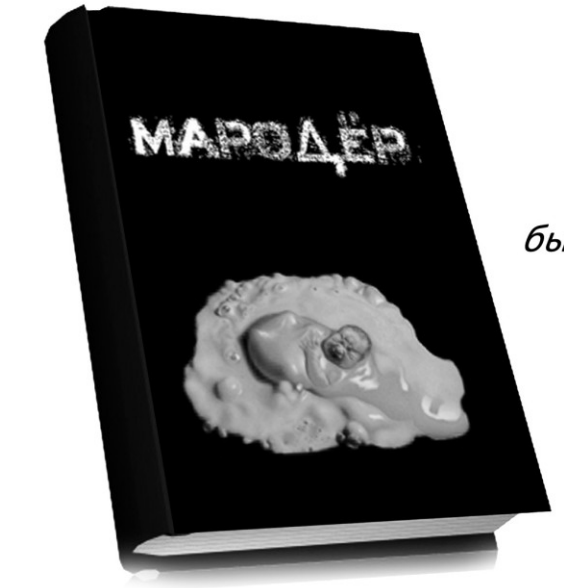
Зевс: Вы точно не заблудитесь.

Аполлон: О, великий Зевс…

Зевс: Без пышных прощаний, Аполлон. Уходите!

*Дионис, Аполлон, Гестия и Гера уходят. Зевс остаётся один.*
*На сцене появляются аморейские боги, обступают Зевса, постепенно сужая круг, набрасываются на него. Зевс выхватывает связку стрел, мечет молнии. Аморейские боги в испуге разбегаются. Зевс подходит к рампе, протягивает зрителям связку стрел, давая понять, что оружие теперь принадлежит им. Кладёт связку стрел на сцену. Уходит.*

*Занавес.*




Повесть
**Александра Гронского**
«Мародер»
была написана в начале 2011 года.
Автор глубоко сожалеет,
что ему удалось предугадать
многие **события**, которые стали
реальностью в России
четыре года спустя..

ЛИТЕРАТУРНОЕ za-za ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

## Надежда Малышкина. " Весна, лето, осень, зима... и снова весна" Стихи

Родилась в России. Образование получила в России. Жизни училась в Украине. Мудрость постигаю снова на Родине. Живу в Сибири. Надолго или нет — покажет время. А пока я пытаюсь идти с ним по одной улице. Берегу его. Запоминаю моменты и мгновения. Потому что время, как величина, внутри меня. О чем я и пишу.

*Всю мою жизнь можно разбить на периоды. как времена года. Каждый люблю по-особому. Но осень для меня — это очередная весна. Я вылезла из кокона обновленная, я стала снова замечать радугу после дождя. И в испытаниях я нахожу радость бытия, потому что пазлы сложились в картину Вера, Надежда, Любовь, как триединство жизни, без которых она просто невозможна.*
*Чтобы полюбить Север, надо научиться любви вообще. Пусть тот, кого я люблю, услышит это в моих стихах.*

ВЕСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА
прохожие весной похожи
как близнецы
ходят парами
целуются на ветру
губами тянутся друг к другу
как после зимы ростки
обмениваются энергией
встречаются на мосту
становятся невесомее
как без дождей облака
весной такие прохожие
умеют даже летать
они меняют одежду мысли
слова
выходят на улицу
примеряя солнце к лицу
полубоги с обнаженными душами
с крыльями за спиной
они похожи на ангелов
прилетевших на землю весной

БАБОЧКИ И РОК-Н-РОЛЛ
говорят если дождик в апреле
то будет цветущий май

бабочки разлетятся по клумбам
рассядутся на лепестки
будут пить пьянящий весенний нектар
а потом станут читать стихи
это будут слова о том как тревожен май
как ночами фонарь целуется с гордой луной
как сбегают сны на небо
поет трамвай
а потом будут
бабочки танцевать рок-н-рол

МОЙ АУСТЕРЛИЦ
штиль во мне и погода
кричи не кричи
парус белеет где-то
бинтом на груди
память стирает битву
мой аустерлиц
кто-то лежит в траве
и небо падает вниз
словно внутри война и снаружи тоже не мир
шепчешь истово
господи сбереги
хрупкие дни чьи-то плечи и чью-ту жизнь
смотришь на небо
и вот ты уже летишь
и отступает как враг побежденный
боль
парусом красным бинт на груди
пой
но тихо внутри так
что кричи не кричи
и небо тебя обнимает…
аустерлиц

ПАСАДОБЛЬ
Небо берет котомки-тучи наперевес
И уплывает за город в соседний лес
Город давно умыт
Калейдоскоп из луж
Подарен ему за выход из зимних стуж
Под каблучками звенит нотой «до» апрель
Сладкое слово и пахнет как карамель
И послевкусие долго еще потом
Город хранит танцуя с первым дождем

ОБЛАКА И ЛЬДИНЫ

"Как льдины, облака вверху застыли"
К.Бальмонт
И пускал кораблики ледяные Бог
Делал неумело их
Ну какой с них толк

И еще размахивал флагом на ветру
Гнал как стадо пленников
К берегу тому
А они отчаянно
Плыли как могли
Натыкались спинами
Успеть бы до зари
А другие чаяли камнем да на дно
Плыли льдины стаями
Стали серебром
Облаков вечерних
Тех что унеслись
К Богу вверх по лестнице
Чтобы небом быть

О ВЕЧНОСТИ, О БРЕННОСТИ
по дорогам весям трассам
вечность гонит время
глянь
в мяч играет чей-то мальчик
не успел
взял автомат
и упал в траву
седое
небо плачет звездно
дождь
или слезы на ладонях
вечность гонит время прочь
и большие птицы чаще прилетают на окно
мне бы с ними попрощаться
им лететь так далеко
гонит время
вечность в мячик с ним играет
а в траве
обнимает вечность мальчик
и летает в детском сне

БЕЛАЯ ВОРОНА  ИЛИ…
Север ко мне придирчив суров и строг
Осматривает так и этак со всех сторон
Примеряет пальто на вырост в пол рукава
Проверяет контрольным
Жива ли я
А я жива иду без зонта в ботинках река
Кутаюсь в шарф цветной — думаю радуга
Птиц рассаживаю на подоконник
Поливаю цветы
В голубых конвертах без марок живут мечты
Проплывают рядом с крышей снежные облака
Выпрошу завтра снежности для снеговика
Дам ему имя вручу незабудок букет
Он простоит во дворе до лета
А может сто лет

Может даже стоять там сто зим
Вечность кажется мигом
Когда ты любим

30 ГРАДУСОВ ПО ФАРЕНГЕЙТУ
весна говорит —
подожди, скоро наступит июнь,
ночи станут короче и жарче дни,
небо станет синее,
пойдут дожди
маршем парадным по облачному пути.
лето цветное, как одеяло из лоскутов,
в детстве укрыться таким и видеть цветные сны
скажи,
это
время бежит быстрее
или все же дожди
каплями измеряют жизнь.

МОЯ ВОЙНА
внутри меня объявлена война, там перестрелка, бой и рвутся мины, в атаку поднимается отряд и…. все затихло. Внутри меня такая тишина, умолкли птицы, грозы, шепот листьев. Внутри меня лишь Тихий океан, и волны к сердцу ближе, ближе, ближе… Внутри меня какой-то звездопад, все вниз и ниц, и прячется в ладони бездомный пес, как брошенный солдат еще тогда, на поле Куликовом. Внутри меня идет другая жизнь по новым правилам или совсем без правил, и голос чей-то шепчет — миру мир — и умирает медленно без славы. Внутри меня рождаются миры, похожие на те, что потерялись, пока велась внутри меня война до самого последнего солдата.

ОБЕРЕГ
Вот время кошкой подбирается в ночи
Целует в лоб и серебрит виски
И трется ласково волной у ног
А ты твердишь заученно урок
Где главной темой
Мама, дети, Бог
И просишь время
Тише не спеши
Побудь со мною
И луна в ночи ползет улиткой по небесному листу
А время кошкой замирает на мосту
И ты читаешь новый свой урок
Спаси Бо…

РЫБИЙ МИР
мир тесен так что тесно мне в себе
держать слова
мои смешные рыбы взлетают ввысь весной
и облака
танцуют на пуантах где-то с ними
мир тесен так что трудно не сказать

тебе
как трудно  мне не видеть
твои глаза
бездонные моря
и  громко как молчат
внутри  меня
мои смешные рыбы

ПОДРАЖАЯ КОБАЯСИ  ИССА
утро подходит на цыпочках
целует припухшими ото сна губами
запах кофе
как воздушное бумажное оригами
уплывает в окно и в лето
начинается день не лучше не хуже
просто один из немногих
дающих надежду на чудо...
вечер сбросил пуанты
на небе
следы от кровавых мозолей
трудно держать равновесие
когда за спиной нет крыльев
но улитка продолжает свой путь на Фудзи
и маршрут ее бесконечен

ДЕПРИВАЦИЯ
Когда появятся на небе две луны
И ночь обнимет крепко  тебя за плечи
Вспомни какого цвета и как глубоки
Бывают сны
И запиши в ответе
Подсказкой тихой
Шепотом
Как в немом кино
Где кадр сменяется кадром
И треск киноленты
 Похож на тревожный стук вагонных колес
Запиши
Кардиограмму  разбитого сердца

ИМЕНА И КОРАБЛИ
У нашей неслучившейся любви есть два билета
В выдуманный край
По небу проплывают корабли
У них по расписанью  скоро рай
А то что не случилось
Поутру  напишет  дождь
Сыграет океан прольется снова музыкой из туч
Ты рад?
Слова соткутся в прозу не стихи
И гимном  для несбывшихся надежд
Нам будет ливень  из вчерашних туч
Когда их называли корабли

ИЮНЬСКИЙ СИНДРОМ
видишь как небо  болеет
как цедит заваренный чай
как собирает внизу парад разноцветных зонтов
как пишутся письма  и лодки находят причал
 слышишь ли  музыку вновь убегающих снов
где-то внутри разрастается буйный волшебный сад
 птицу поймаю  в ладони  слова прошепчу  и в путь
в небо отправлю маршрут нарисую  из туч
окна открою и буду  наверное ждать
как вырастут птицы  как станет огромен мир
 где-то внутри меня в подреберье
  где солнце встает
и небо  станет  нежнее самого  самого сна
видишь
 как небо  болею сегодня
опять тобой

ВО ИМЯ…
Молиться всем придуманным богам, но в имени одном искать спасение
И плыть по небу,  оставляя берега, как невозможность,
как невозвращенье.
Считать минуты, дни считать, слова, отпущенные в космос ранним утром,
 И помнить лишь , как ночь была светла, вести отсчет мгновеньям и
 Молитвам…
Молиться  всем придуманным богам, но лишь в одном  найти свое спасение
И рассказать об этом небесам,
Чтоб небеса спасли тебя во имя

ЛОБОТОМИЯ
День по крупицам собран
Пора на лобное место
 Вынести птицам зерен
Вынести и оглядеться
Внутри  словно днем в колодце
Звезды  на дне танцуют
Выпить водицы  холодной
 Чтобы не ныло сердце
Чтоб застучали зубы
 Как барабанные дроби
Напиться  воды из колодца
И навсегда запомнить
Вкус  этих утренних зерен
На улице  лобном месте
 Когда ты еще был птицей
В прошлом своем поднебесье

## Алексей Зикмунд. Берлин — Москва. Повесть

**Алексей Зикмунд** — литературный псевдоним Алексея Константиновича Гаврилова. А. К. Гаврилов родился 09 июля 1959 года в городе Москве, окончил исторический факультет МГУ, ординатуру в Пражском университете, а также высшие сценарные курсы в Москве. Работал на радио и телевидении. Является автором нескольких художественных книг, в том числе, изданных в Москве, также имеет публикации в Вене, Зальцбурге, в Праге, в том числе:

— Журнал «Новый мир» №7 2001 г. повесть «Герберт»;

— Издательство «Авалон» 2005 г. «Трансформация»;

— Издательство «Авалон» 2009 г. «Лёд и пламя».

*Жизнь, судьба... Человек — маленькое, беспомощное существо, только воображающее себе, что может строить свою жизнь по собственному разумению — на самом деле, всего лишь щепка, брошенная в водоворот событий. Кого-то затягивает безжалостная воронка, кому-то чудесным образом удается выбраться на тихий берег. Юная советская школьница Лида. Могла ли она предполагать вначале, что так круто изменится ее судьба?*

*Олеся Янгол*

### Разведка – это вход в Зазеркалье, без дороги обратно

Шел 1906 год, недавно отгремела первая русская революция, был апрель месяц, и вода бежала по мостовые, словно хотела смыть все тревоги и беспорядки прошлого тяжелого года, на некоторых зданиях, еще оставались следы от пуль, Антон Вернер, главный инженер-путеец Казанской железной дороги переезжал в новый дом. До этого семья жила в Кривоколенном переулке, и, арендовала этаж у купца Башмачникова. Дом был старым, и совсем неудобным для приема гостей. Теперь же обрусевшая баронесса фон Мекк выстроила для своих сотрудников прекрасное здание, с парадными и грузовыми лифтами, и с большим двором. В квартире было очень тепло, и где-то наверху, под потолком за железными прямоугольными решетками, настойчиво, как в пульмановских вагонах тихонько стучали молоточки калорифера. Имущество их сгружали во дворе, оно приехало на шестнадцати подводах, и теперь, все это красное и черное дерево, в разобранном виде, поднимали по черной лестнице ражие грузчики, бородатые мужики с кожаными ремнями через плечо и в сапогах бутылками. Кухарки, бонны и сам хозяин суетились вокруг, давали советы и нескладно пытались помочь. У Антона Вернера было трое детей, десяти, восьми и семи лет. Младший Франц стоял рядом с отцом, был он в мягкой бархатной курточке, высоких

коричневых ботинках, а на голове тирольская шапочка с перепелиным пером. Лошадь на каучуковых колесах была для Франца почти что неинтересным предметом. Большие плетеные корзины с квадратными крышками, в которых помещались куклы и деревянные дворцы сестер, снимались с подвод и ставились на землю. В маленькой жизни Франца это был первый переезд, и он невольно впитывал в себя все детали и оттенки смысла этого значительного события. Глядя на последние черные шапки снега и медленно текущую воду, Франц зевнул и уронил голову на папин зеленый плащ. В квартире Вернеров было девять комнат, и одну из них, большую, выходящую во двор, решили приспособить под домашний театр. Как-то в свободные от службы дни отец Франца пригласил мастеров, и те оборудовали сцену, устроили помост, повесили маленький софит с прожекторами и несколько разноцветных фонарей по правую и левую сторону. За занавесом из мягкой фланели, который разъезжался в разные стороны, было расположено несколько штанкетов, к которым можно было привязывать декорации. Отец Франца в молодости хорошо рисовал, на правой стене он изобразил сценки из греческих трагедий, а на левой с большой тщательностью были нарисованы, Пьеро, Арлекин, и Коломбина. да еще рыцарь с мечом и с чашей в руке. Коломбина была в светло-салатовой шапочке, на которой была нарисована лежащая арабская восьмерка, символизирующая бесконечность. Во всех спектаклях, папа и мама разговаривали сразу за несколько кукол. Еще появлялись мамины сестра и братья, которые так же помогали с представлениями. Окна детской комнаты, в которую поселили Франца, выходили на железную дорогу, которая была малой окружной и использовалась не часто, но все же иногда, по ней проходил какой-нибудь состав или одинокий паровоз. Стоя у открытого окна, Франц любил наблюдать за прожектором локомотива, который медленно двигался мимо и медленно же исчезал вдалеке. В семь с половиной лет он поступил в гимназию, которая не отличалась привилегированностью, но до которой можно было дойти пешком. Уже в первых классах у него завязываются дружбы. Некоторых детей приводят родители, но он ходит сам, и очень этим доволен. Так бежит время, Франц взрослеет. Первое августа 1914 года семья встречает за городом. Вернувшись, они застают свою квартиру разграбленной. Толпа крушит магазины и рестораны, принадлежащие немцам, но через некоторое время в город вводят казачьи части, и те, останавливают погромы. Однако на службе у Антона Вернера начинаются неприятности, его как немца отстраняют от военных перевозок и всячески теснят, заменяя другими. Еще он в должности, но тучи сгущаются, и дома говорят, что из России надо уезжать, пока не стало хуже.

В начале сентября, когда Франц выходит из гимназии, его окружают несколько мастеровых, они толкают его в грудь и спину, и он, уже взрослый мальчик с тяжелым ранцем за спиной, перед ними совсем беззащитен. Городовой Фома спас Франца. А мастеровые кричали вслед: «всем немцам крышка, пусть убираются в Берлин». В ноябре отец Франца подал рапорт об увольнении, который был подписан. Генерал Басманов, глава железно-дорожного департамента, при увольнении, молча пожал ему руку.

Из-за военных действий прямого сообщения с Германией не было, поэтому Вернеры решили ехать через Финляндию. «Через два месяца война закончится, и вы вернетесь», — говорил Вернеру его гимназический товарищ Де Ланси, провожая того на вокзал. Но война не закончилась, и все они остались в Германии.

В 1936 году Лида Азарина, высокая, худая с двумя маленькими косичками оканчивала школу. Проживала она в центре на старом Арбате, в двух больших комнатах в огромной коммунальной квартире, где, по преданию, когда-то давно, еще до революции, проживал писатель Леонид Андреев. Изначально в квартире было три туалета, один был рядом с кабинетом, другой около кухни, и еще один рядом со спальней, где теперь проживала семья из десяти человек. Семь лет назад Лида потеряла родителей, оба они были геологами, и оба пропали без вести. В оставшуюся от них комнату хотели подселить новеньких, но дед Лиды, участник революции пятого года, отменил это решение Домкома, и комната осталась за ними. Теперь Лида готовилась к экзаменам; она сидела, закрывшись, в комнате родителей и смотрела на их фотографию, висевшую на стене. Как так вышло, что я сирота, она почесала за ухом вечным пером и повернулась к окну. Теплый майский вечер стоял на дворе. Завинтив колпачок авторучки, она подошла к открытому окну. Город, залитый вечерним светом, переливался в темноте как волшебная рыба. Приоткрыв дверь, в соседнюю комнату, Лида увидела бабушку, сидевшую в кресле, и распутывающую клубок старых чулок. Дед Лиды работал в автобусном парке, он рано уходил и поздно возвращался, Лиду он видел только по выходным. Был он молчун, и никогда не начинал разговор первым. Дверь скрипнула, и бабушка, обернулась, положив клубок с чулками к себе на колени.

— Ты куда Лидочка? — спросила она, у застенчиво заморгавшей внучки.

— Хочу до аптеки дойти, купить пирамидону, что-то голова не соображает, четыре часа сижу — ответила Лида, поправляя воротничок блузки.

Лиде показалось, что голос ее звучит издалека с эхом, словно в горах.

На улице было сухо и тепло. Дойдя до аптеки, Лида купила пирамидон и решила зайти к подружке — Кате Мальцевой, которая жила рядом в отдельной квартире. В парадном у Мальцевых пахло кошачьей мочой. Лида остановилась у дверей квартиры, и собралась было нажать на кнопку звонка, но услышала за дверью громкие голоса. В квартире о чем-то спорили на повышенных тонах. Это не понравилось Лиде, и, постояв минуту, она медленно спустилась вниз.

Легкий ветерок обдул ее лицо, от которого Лида почувствовала, как на душе у нее теплеет. Она медленно шла по плохо освещенному переулку, когда заметила маленький, иностранный грузовичок, из которого высокий военный вынимал тяжелое кресло. Вот он поставил его на тротуар, и Лида поравнялась с ним.

— Садитесь, — он сделал приглашающий жест в сторону кресла.

Лида сообразила, что обращаются к ней.

— Хороший сегодня вечер, — сказал военный и улыбнулся Лиде.

— Замечательный вечер, — сказала Лида и посмотрела сначала на него, а затем на всезнающие звезды.

— Этому креслу сто лет. Бог знает, кто пересидел на нем за эти сто лет! Садитесь и вы.

— Благодарю! — сказала Лида и села.

— Представляете, в этом кресле могла сидеть, какая-нибудь графиня в шляпке!

— Оно ваше?

— Да, мое, мне — его подарили. Мне дали комнату в этом доме, с балконом. Вон мой балкон, и он показал на третий этаж, где горело окно.

Комната была угловой, балкон тоже был чудным — в виде буквы «Г».

— Я тоже живу в коммуналке.

— Ну, это не коммуналка, помимо меня, в этой квартире никого нет. Мне дали комнату. Есть еще две, но пока в них никто не живет. Вероятно, позже мне кого-то подселят.

— А я живу всего в двух переулках от Вас, а рядом моя школа, скоро экзамены.

— Так Вы совсем маленькая.

— Да, я еще маленькая — Дюймовочка.

— Наверно в школе у вас есть принц?

— У меня есть несколько принцев, но ко мне они никакого отношения не имеют.

— Так уж и не имеют?

— Ну, может быть чуть-чуть, понарошку, а взаправду никак.

— Я бы мог быть одним из них, если бы был чуть моложе.

Лида засмеялась, и от этого, на ее щеках выскочили маленькие хорошенькие ямочки.

— У вас ямочки на щеках. Если бы ваше голова лежала на подушке, то в ямку можно было положить маленькую ягодку бруснички.

Лида сконфузилась и покраснела.

— Ладно, мне пора, она протянула военному руку.

Тот, почему-то не спешил прощаться, он ласково смотрел на Лиду и молчал.

— Что вы молчите, сказали бы что-нибудь на прощание.

— А я с Вами не буду расставаться. Считайте, что мы просто увидели друг друга во сне.

— Ну, тогда спокойной ночи.

— Обещайте, что мы завтра увидимся?

— Нет, не могу обещать, у меня завтра подготовительные к экзаменам.

— Тогда послезавтра.

— Ну, ладно, послезавтра можно. Я сюда приду.

— И я приду, приду и увижу, что у вас все хорошо.

— Давайте прощаться, — Лида вздохнула и поднялась из кресла.

Придя домой, Лида легла в постель и долго не могла, заснуть, майская зелень разнообразными запахами дышала в окно. Еще никогда никто не знакомился с ней на улице, бывало в Сокольниках, задирались мальчишки и отпускали глупые шутки, но тут было нечто другое. Лида почувствовала, как внутри нее вспыхнуло пламя. Вот интересно, если бы он взял меня силой, стала бы я ему сопротивляться на самом деле, или бы только так, для вида. Она улыбнулась этим своим мыслям и зарыла лицо в подушку. Она представила, как руки его ласкают ее плечи и грудь, спускаются ниже к дотрагиваются до самого-самого. Целый пожар захватил ее, она не понимала, не осознавала, что же в ней такого, но холод и жар попеременно двигался через нее, как горячий и холодный ветер. Проснулась Лида очень рано, только шорох дворницкой метлы и далекие птичьи голоса проникали через окно. Ветер, доносил издалека едва различимые разговоры прохожих, и, шорох звук автомобильных моторов. Надо было собираться в школу.

Москва просыпалась, солнце вставало над городом.

Отвлекаясь на разговоры с одноклассниками, Лида не переставала думать о своем новом знакомстве. Мысленно она переодела его в гражданскую одежду, и посадила в белый автомобиль, который видела у подруги в иностранном журнале. Воображение Лиды раз игралось не на шутку. Они путешествовали, сидели в кафе, останавливались в загородных остроконечных замках. В Лидиной школе в прошлом году одна ученица из параллельного класса забеременела и ее родители, несмотря на такой

позор, решили оставить ребенка. Отец ученицы был директором какой-то фабрики. Девочка ушла из школы. Лидина подружка Катя, рассказывала, что видела её уже с коляской. Не могла Лида объяснить, почему пришли к ней все эти мысли. Она рассеяно отвечала по заданию, все время отвлекалась и часто смотрела в окно.

Вечером Лида с Катей отправились в Парк Горького кормить лебедей. Парк был хорошо освещен, играла музыка, нарядные люди сидели в лодках, пахло шашлыками и газировкой, однако лебеди упорно отказывались от хлеба, они медленно проплывали мимо разбухших от воды кусочков, были сонливы и безразличны. В тире громко хлопали малокалиберные винтовки. Стволы их были пропущены между деревянными колодками и зажаты скобами, чтобы у подвыпивших граждан не возникло желания развернуть их в неправильном направлении.

Девушки остановились около тира. Под самой крышей был нарисован охотник с ружьем, ствол которого заканчивался воронкой. «Не бывает таких ружей, как на этой картине», — авторитетно заявила Катя. Здесь она была не права — такие ружья когда-то изготовлялись для охоты. Просто она не знала об этом, так как была слишком юной. Девушки купили по пять патронов и стали ждать, когда освободится, какая-нибудь винтовка. Наконец, толстый человек в шляпе, качаясь, отошел. Катя, заняла его место. «У нее ствол горячий, руку обжигает», — сказала Катя. Все выстрелы у Кати Мальцевой пошли в молоко. «Ну, надо же, ни разу не попала», — с досадой отметила она, освобождая Лиде винтовку. Зато Лида, одну за другой выбила пять спичек, и выиграла черного козленка из папье-маше на деревянной подставке с маленькими колесиками. Человек в шляпе, освободивший им винтовку далеко не ушел, он наблюдал за девушками с кружкой пива в руке.

— Вы сделали пять выстрелов, и перебили пять спичек. Я попадаю только в четыре, а стрелял много больше чем Вы.

Мужчина явно обращался к Лиде, и, говоря все это, приподнял шляпу.

— Меня зовут Вальтер. У нас большой тир, прямо на стадионе «Динамо». Девушек мало. При такой стрельбе можете получить «Ворошиловского стрелка».

— Да может это случайно вышло. Я потом ни разу не попаду.

— Нет, такое не бывает случайно. У вас есть глаз! — сказал Вальтер.

Он достал блокнот, маленький карандаш и написал для Лиды номер телефона.

— Мне он не понравился. Противный какой-то,— сказала Катя, когда мужчина в шляпе отошел от них. – По-моему, ты ему просто понравилась.

Лида пожала плечами.

— Знаешь, меня совсем не привлекают винтовки.

У самой пристани речного трамвайчика девушки купили сок, бутерброды и поехали домой по воде. Они стояли на корме, и черные, бурлящие струи, выталкиваемые винтом из-под корабля, сплетались в длинную водяную веревку. Катя достала из сумки красную коробку сигарет и спички.

— Не знала, что ты куришь, — сказала Лида, прислоняясь спиной к корабельным перилам.

— Да, я так, пробую. Вчера покурила в форточку, так отец разорался.

Катя неловко затянулась и попыталась сделать взрослое лицо. Но семнадцатилетняя девчонка вовсю проступала под этой придуманной взрослостью.

Было еще не поздно, когда девушки подходили к Катиному дому. И вдруг, из подворотни на них буквально упал очень пьяный мужчина. Посмотрев совершенно безумным взглядом, он сказал: «Ленин был прав», и поднял

вверх желтый от табака указательный палец. Девушки отпрянули в сторону, а пьяный, войдя в электрический свет, не спеша двинулся по улице. Когда Лида возвращалась домой, прохожих было совсем мало. Дома дед уже спал, а бабушка еще нет — она ждала Лиду.

Пройдя к себе в комнату; Лида зажгла настольную лампу, открыла книжку и попробовала читать, но сознание не удерживало текст, в голове он рассыпался на отдельные бессвязные обрывки. Погасив лампу, Лида стала вспоминать прошедший день, затем ее сознание вернулось к вчерашнему знакомству. Завтра мы встретимся, однако я могу и не прийти. Тогда все не имеет значения. Если я приду, то все имеет значение. Она опять, тихо засмеявшись, зарылась в подушку.

На встречу с военным Лида решила выйти к дому с той стороны, откуда меньше всего её можно было ожидать. Между его новым домом, и соседним старым был узкий проход, к нему-то Лида и пробиралась дворами. Она пришла раньше, никого еще не было. Встав за углом, она стала ждать. Лида разглядывала свои дешевые тряпичные туфли и думала, что в ней совсем ничего нет от дамы, и что, вероятно, он просто дурачится. А я, я даже не спросила, как его зовут. Так она немного отвлеклась и уже было решила, что не стоит ждать, надо уходить, но что-то все-таки не отпускало ее. Как кошка выглянула она из за угла и увидела его. Он стоял к ней спиной и курил. Глупо выглядывать и прятаться, сказала она себе, обкусывая ноготь как малолетка. Вытерев обслюнявленную руку о платье, Лида не спеша пошла по тротуару навстречу своей судьбе. Буквально через мгновение, военный обернулся и увидел ее. Выбросив сигарету, он пошел к Лиде навстречу.

— Добрый вечер. В прошлый раз вы мне не назвались – сказала она.

— Да уж, простите, Олег, Олег Вогау.

— Лида, — она присела в старомодном книксене.

— Куда отправимся? — спросил он.

— Даже не знаю, может в Сокольники?

— Ну, что в Сокольники? В Сокольники вы можете съездить со своими подружками. Пойдемте в «Прагу», я угощу Вас по-царски!

— Да ну, неудобно. Я неправильно одета. Разве в таких тапочках в рестораны ходят.

— Да никто на Вас там и не посмотрит.

Желание побывать в «Праге» было велико. Катя Мальцева была в «Праге» на дне рождения отца и рассказывала, что там очень красиво, особенно в зимнем саду. Никогда еще Лида не бывала в подобных местах. Медленно ползущие лифты, в красном бархате и зеркалах. Окна были открыты. Мест в ресторане не было. Олег переговорил с официантом, и их посадили. Вскоре появился оркестр, и заиграли легкие мелодии. Олег сделал заказ, и вскоре стол стал покрываться тарелками и бутылками.

— Если я выпью, бабка меня убьет, — сказала Лида, и глаза ее сверкнули как лезвие.

— А Вы, ты, много не пей.

— Я за всю жизнь выпила несколько бокалов вина. А это хорошее вино?

— Самое лучшее.

Когда Олег наливал ей вино, она заметила у него на руке кольцо, с черным треугольным камнем.

— Я думала, что военные не носят украшений.

— Я на работу хожу в гражданской одежде.

— Это что же получается, Вы для меня переоделись?

— Да. Говорят, военная форма нравится маленьким девочкам.

Они уже долго сидели, когда к столу их подошел незнакомец. Он вызвал Олега из-за стола, и они чем-то долго разговаривали. Проходя мимо них в туалет, Лида услышала, что мужчины негромко говорят по-немецки.

На дверях женского туалета была надпись «Дамская комната». Войдя в эту комнату, всю в зеркалах и сверкающих, голубых умывальниках, Лида увидела настоящую даму в маленькой красной шляпке и в белых длинных перчатках. На ногах у дамы красовались изящнейшие черные туфли с прямоугольной пряжкой из перламутра. Дама бросила на Лиду моментальный взгляд, словно та была каким-то предметом и вышла в коридор. Вернувшись, Лида увидела, что Олег сидит один за столом и ест, незнакомца, разговаривающего по-немецки, рядом уже не было.

Лида рассказывала о себе, о родителях, которые пропали, о кошке, о бабушке и потихоньку, незаметно для себя самой опьянела. Ей становилось то весело, то грустно. Она все рассказывала и рассказывала о себе. А вот Олег ничего не рассказывал, только шутил или кивал головой. Было уже за полночь, когда они вышли из ресторана. Лида висела у него на руке так, будто, она была частью него самого.

— В ресторане хорошо, все такие милые, улыбаются, — Лида икнула, в глазах у нее плавал Арбат, качались дома и прохожие, качалась луна и звезды.

Потом в сознании Лиды наступил полный провал. Утром она проснулась в своей постели и ошеломленно, посмотрев по сторонам, откинула одеяло и вышла в соседнюю комнату. Дед пил чай и слушал радиоприемник. Посмотрев на внучку смеющимися глазами он сказал:

— Такой я тебя никогда не видел. Ухажер у тебя серьезный...

— Я ничего не помню, — сказала Лида и опустилась на стул.

— Он оставил тебе свой телефон, просил позвонить, когда проснешься. Тебе стыдно?

— Ничего мне не стыдно.

Лида вышла в коридор, сжимая в руке блокнотный лист. Телефон в коридоре по обыкновению был занят. Толстая, неряшливая Клава висела на нем часами. Лида прошла в ванную, умылась и решила, что должна забыть этот досадный вечер.

Все экзамены Лида сдала на пять, не о чем было беспокоиться, но какое-то маленькое волнение двигалось у нее в груди, словно легкая сухая тростинка, бросаемая из стороны в сторону могучими порывами ветра. На носу был выпускной бал, надо было готовить платье и обувь. Ну, платье, перешитое из бабушкиного подвенечного, было еще туда-сюда — бахрому, которую поела моль, обрезали, подвернули и спороли нитки стекляруса. На примерке Лида вертелась, бесконечные булавки своим стягиванием и покалыванием в разных местах неприятно волновали ее. В целом платье вышло на славу, хотя, что греха таить, если приглядеться, то было видно, что оно из пыльного мешка. Но туфли! Туфли фабрики «Скороход» были ужасны, они давили на все места сразу. За два дня до выпускного, Лида позвонила своему новому приятелю, и тот сразу подошел к телефону.

— Я неправильно повела себя. Много выпила и не заметила, как опьянела.

— Вам это к лицу. Я, Лида, купил вам туфли.

— Какие еще туфли?

— Вы по дороге домой рассказывали мне про даму, у которой, были замечательные туфельки.

— Туфельки? Я не помню, — рассеянно произнесла она. Туфли, вот здорово, подумала Лида, однако надо отдать ему какие-то деньги, а у меня всего пятнадцать рублей.

— Когда же мы увидимся, Вы сегодня свободны?

— Ну, в общем да.

— Тогда, заходите ко мне.

— А когда?

— Да прямо сейчас и заходите. На бумажке с телефоном, есть мой адрес: Плотников переулок, это совсем рядом от Вас.

Был славный июньский день, душа Лиды рвалась в небеса! В подъезде дома, где проживал Олег, пахло свежеструганным деревом и краской. Мебели в квартире было немного. В прихожей стоял стул и вешалка. В комнате кровать, стол, на нем телефон, то самое кресло, на котором сидела Лида, и немного книг в углу. Дверь на балкон открыта. Мухи зигзагами летали вокруг одинокой лампочки. Олег из кухни принес бутылку лимонада и два стакана.

— Ну садитесь, вот кресло. Вы, ты, уже как-то сидела в нем.

Лида опустилась в знакомое кресло. Олег откуда-то из-под книг вытащил обувную коробку.

— Вот примерь.

Это были немецкие туфельки марки «Саламандр». На коробке из гофрированного картона был нарисован маленький зверек с вытянутой мордочкой и загнутым в сторону хвостом. Туфли бирюзового цвета на небольшом каблучке. Надев их, Лида встала и прошла по комнате.

— Вот здорово! — вырвалось у нее. — Но я не могу их взять, это дорогие туфли.

— Ну, нет, дудки, Вы их возьмете!

— Не возьму.

— Нет возьмете. Я приложил много сил, чтобы их отыскать.

— Я так не могу. Я не могу взять у Вас такую дорогую вещь, ведь мы едва знакомы.

— Ну и что! Может быть, я имею серьезные намерения. Может, это лишь пробный шар.

— Почему шар?

— Так говорят игроки в бильярд. Возможно, что я женюсь на Вас.

— Вы, на мне женитесь?

— Ну, да. А что? Когда-нибудь.

— А туфли?

— А что туфли? Просто туфли и больше ничего. Хотя бы на выпускной их наденьте, а потом я их кому-нибудь подарю.

— Ну, хорошо, на выпускной надену.

На выпускном спиртного не столах не было, но многие ребята разливали под столом водку и вино, было весело. Миновало двенадцать, закончил играть оркестр. Музыканты, зачехлившие свои трубы и барабаны, несли их вниз по лестнице и укладывали в машину. Лида подошла к окну и увидела, что ее новый знакомый стоит на улице и смотрит на горящие окна школы. Она сначала отпрянула от окна, а потом опять выглянула. Она было хотела позвать его, но, прижав ладошку к губам, осеклась. Сбежав вниз по лестнице в шикарных туфельках, Лида подбежала к Олегу и сказала:

— Все. Бал закончен.

Затем, она быстро сняла одну и вторую туфельку и протянула ему.

— Я как-нибудь дойду, сейчас тепло, и мне недалеко.

— Какая Вы все-таки маленькая, — сказал Олег и обнял ее за плечо. — Немедленно наденьте туфли, это приказ старшего по званию.

Лида стояла, прижимая к груди маленькие туфли, и не спешила их надевать.

— Сегодня я уезжаю.

— Куда же?

— Да есть куда.

— Говорите загадками

— Посылают в командировку... буквально «на край света». Как вернусь, я Вам позвоню.

— Да, ладно уж, поезжайте. Мне все равно к экзаменам готовиться.

— И куда же вы решили пойти после школы?

— На иностранные языки. Я слышала, как Вы разговаривали в ресторане, совсем без акцента, как будто вы немец.

— Но я и есть немец.

— Да ну!

— Да. По национальности — немец, русский немец, советский. Неудобно как-то. Будто Вам жарко, стоите с этими туфлями.

Лида надела туфли и опустила глаза.

Олег уехал. Лида готовилась к экзаменам. Страна ставила рекорды и мучилась под тяжестью непосильного труда. Все так же утром вставало солнце, а вечером появлялись звезды.

Лида сдала экзамены и прошло целых полтора месяца, прежде чем ее новый знакомый появился вновь. Куда он ездил и что делал, об этом она ничего не знала. Теперь Олег стал похож на иностранца, каких Лида видела у Интуриста. Олег носил рыжие замшевые ботинки с мелкими дырочками, серые фланелевые брюки и салатовую рубашку с бронзовыми пуговицами. Лицо его загорело и обветрилось. В заграничных журналах, которые Лида видела в доме у Мальцевых, ей попадались похожие мужские образы. Лида в своих дешевых тряпочках напоминала работницу с фабрики. Она и импозантный Олег странно смотрелись рядом. Встретившись, они решили пойти в сад «Эрмитаж», который в середине тридцатых был популярным местом в Москве. Актеры моментального жанра Скачковский и Корбет показывали сценки из заграничной жизни. Лида смеялась, Олег не смеялся. Казалось, что он чем-то удивлен. Назад они ехали на такси, и всю дорогу Олег рассказывал про огромный пароход «Аквитания», на котором он ездил по делам, аж, в самую Америку! Лида представляла себе бесконечность кают, длинные, отделанные дубовыми панелями коридоры, бассейн, теннисную площадку, танцевальный зал, обеденный и еще множество замечательных предметов, которые можно вообразить, но пощупать невозможно.

— Давайте зайдем ко мне, — просто сказал Олег.

В этот момент между ними, пробежала искра сопричастности в каком-то особом заговоре. Словно Олег и Лида сидят напротив друг друга в залитом ярким светом казино, но играют во что-то особенное, похожее на детские крестики нолики. Когда они поднимались по лестнице, налетел сильный ветер и завыл за открытым на лестничной клетке окном. Большая ветка белой сирени вошла в помещение и уплыла обратно на улицу. Лида, идущая вслед за Олегом и попытавшаяся схватить ветку, оставила на своей ладони только несколько маленьких, белых звездочек. Поздно вечером, когда уже все произошло, Лида позвонила домой, и сказала, что остается у подруги. Ночью она не спала, она смотрела на спящего Олега и на окно, за которым

двигались ветки. Тени от веток скользили по комнате, и было немного страшно. Посреди ночи Лида вышла на кухню, и, увидев на столе пачку папирос, открыла ее. Взяв одну, она сначала понюхала ее, а потом закурила. Лида курила, а ветер метался за окном, словно пытаясь ей что то сказать.

Дома Лида расплакалась. Теперь Олег часто звонил. Несколько раз она оставалась у него, но по возвращению домой чувствовала себя неуютно. Ей казалось, что все молча осуждают ее, и знают, где она была, и чем занималась. В жестах и выражениях Лиды появилось что-то томное, всезнающее, исчезла стремительность, взгляд стал ласковым, застенчивым.

В один прекрасный осенний день Олег сделал ей предложение. Они расписались. По-прежнему каждый жил у себя и никто не знал, что они муж и жена. Лида училась, Олег работал. Однажды Олег приехал к ней в белом автомобиле с открытым верхом. «Так дальше продолжаться не может», — сказал он, — «Мне нужно, чтобы ты всегда была рядом». Тогда Лида переехала к нему. Иногда по вечерам Олег дома играл на фортепьяно на слух, играл без нот. Иногда они ходили в консерваторию.

В городе шли аресты, все знали об этом, но делали вид, что ничего не происходит. Муж Лиды часто вставал среди ночи, пил чай, курил и что-то писал в блокноте. Но вот он в очередной раз уехал в командировку и дом опустел. Вторая комната в квартире по-прежнему была закрыта. Как-то раз, Лида бесцельно слонялась по квартире и заглянула в замочную скважину. Посреди пустого пространства освещенный закатными лучами стоял манекен. На манекене был китель военного, не советского, образца с погонами и трехцветным шевроном на рукаве. На голове фуражка, так же не наша. Отсутствовали лишь брюки. От этой картины, Лиде сделалось не по себе, и она ушла ночевать к бабушке.

Разные заботы по учебе навалились на Лиду. Целую неделю она не была в своем новом жилище. Когда пришла**,** то в первую очередь через замочную скважину посмотрела в соседнюю комнату, которая оказалась пустой. Значит, в квартире кто-то побывал. Этот кто-то унес манекен. История с манекеном никак не выходила у Лиды из головы. Миновало еще два месяца. Муж не давал о себе знать, он будто провалился сквозь землю. Однажды в квартире раздался телефонный звонок.

— Это квартира Вогау?

— Да.

— Мне нужна Лидия Андреевна.

— Это я.

— Я от Олега Вильгельмовича.

— Да, я слушаю.

— Он просил передать вам посылку.

Лида записала адрес.

На следующий день Лида пришла к неприметному особняку, выкрашенному в желто-зеленый цвет. Парадная дверь была закрыта и видимо, долго не открывалась. Лида, как и условились, прошла через арку к торцу здания, где было маленькое крылечко. Она увидела узкую, обитую клеенкой дверь также без вывески, сбоку — кнопку электрического звонка. Лиде открыла миловидная девушка, по виду секретарша или машинистка. Поднявшись по лестнице на второй этаж, девушка усадила Лиду в длинной прямоугольной комнате, похожей на приемную. Через некоторое время в комнату вошел лысый мужчина лет пятидесяти, в военном френче без знаков отличия.

— Лидия Андреевна, если не ошибаюсь? — спросил он.

Лида оторвалась от стула.

— Проходите, — он посторонился, и Лида вошла в кабинет.

На стене, над большим массивным столом фотография Сталина. Стол покрыт зеленым сукном. С правой стороны на нём сразу четыре телефонных аппарата, слева — графин с водой и два стакана. Посередине стола большой чернильный прибор.

— Вот Ваша посылка, — он указал на приличных размеров деревянный ящик, перевязанный шпагатом.

— А муж, он Вас видел?

— Нет. Мне передали эту посылку и все.

Мужчина открыл ящик стола, подвинул в сторону какой-то тяжелый предмет и достал конверт.

— Это тоже Вам.

Лида взяла конверт.

— Это письмо?

— Нет.

— А что же?

— Это деньги. Насколько я знаю, Вы учитесь?

— Да.

— Ну, вот и замечательно, учитесь и ни о чем не беспокойтесь. Мой автомобиль отвезет Вас, куда скажете — посылка тяжелая.

Лысый сам вынес ящик на улицу и положил его в багажник серого «Доджа». Шофер уже сидел за рулем.

— Вы где любите кататься? Спереди или сзади? — с улыбкой спросил лысый.

— Сзади, — сказала она и он, как бы в шутку, приложил руку к воображаемой фуражке, так сказать, честь отдал.

Странно, подумала Лида, отъехав от этого неприметного домика. Я пришла, машины не было, а потом она уже была, когда же лысый успел распорядиться?

Перед дверью Лида села на ящик и закрыла глаза. Красные и черные пятна запрыгали перед закрытым взором, необъяснимая слабость захватила все ее существо. Странно все это — манекен в форме, посылка, деньги. Зайдя в квартиру, Лида легла на кровать и почти сразу заснула. Она легла в неправильное время и проснулась, когда за окном были глубокие сумерки. Болела голова, тело гудело, так, будто его сначала сильно стянули веревками, а потом резко ослабили их. Взяв кухонный нож, она подошла к коробке и перерезала бечевку. Внутри была новая одежда, вся из Франции — «Бидерман», «Круазот», «Ланшеле». В конверте целая тысяча рублей.

В брючном костюме с перламутровыми пуговицами и в красных туфельках Лида смотрелась, как иностранка. Мужчины на улицах пытались заговаривать с ней, а дворничиха из сразу и не признала Лиду. Бабушка очень хотела, чтобы Лида вернулась домой, но Лида не возвращалась. Она купила себе за шестьсот рублей радиоприемник «Ленинград», который ловил весь мир. Вечером, она слушала музыку и швейцарское радио на немецком языке.

Как-то ночью, около половины третьего в квартире раздался звонок в дверь. Растерянная Лида вышла в прихожую. Со сна она ничего не могла понять, мягкая волна испуга остановилась в области живота, все знали о ночных арестах. Но вот звонок раздался вновь.

— Кто там? — спросила Лида хриплым со сна голосом.

— Открывай! Это я — Олег.

Незнакомый мужчина, пахнувший чужими запахами, и все же он — Олег.

— Я так надеялся застать тебя. Подумал, если ты не здесь, разбужу стариков, вытащу тебя из постели.

Она упала ему на грудь и ничего не говорила. Олег тоже молчал и все гладил ее пепельные волосы, спутавшиеся и помятые во сне. Ночью они слушали радио, любили друг друга и пили Шато де Гранжан.

Вечером, на следующий день за ним заехал автомобиль, и она снова осталась одна, сидела в кресле и курила одну за одной крепкие сигареты «Толуаз».

Лида училась, сдавала сессии и старалась не вспоминать об их последней встрече. Она чувствовала себя брошенной, будто случайно побывавшей в его руках. Если он появится то, что за этим последует? Еще одна бурная ночь и быстрый отъезд, бегство? Надо бы мне запастись терпением. Жены должны ждать — думала она. Но какая это была жена, так девчонка, случайно выскочившая замуж.

Пришла зима, в Парке Горького залили каток, и теперь по вечерам Лида каталась по аллеям, залитым светом электрических гирлянд. У Кати Мальцевой тоже появился жених, смуглый, сутулый, с горбатым носом, по всей видимости, еврей. Звали его Зиновий. Был он выше всех на катке, нескладный. На катке, когда Зиновий катался, Лиде казалось, что гигантский циркуль раскладывается и сдвигается обратно. Зиновий был с юмором. Катя говорила, что еще он ужасно умный. Почему-то по дороге на каток и обратно домой Лида думала о муже. Вот он в кафе с другой женщиной, вот он в ее объятиях.

В очередной раз Лида от мужа получила посылку — теплую куртку из мягкой фланели на больших эмалированных крючках и тысячу рублей. Придя домой с посылкой и деньгами, заплакала.

В конце февраля Лида увидела на катке Вальтера, мужчину приглашавшего ее на стрельбу. Был он в шляпе и в кожаных перчатках почти до самого локтя. Вальтер узнал Лиду и подъехал к ней. Был он с приятелем, очень симпатичным, высоким, в вязаной шапке с помпоном.

— Ну, надо же, Ворошиловский стрелок! Какая встреча! А я ведь ждал Вас, думал позвоните, а Вы вот как.

— Я позвоню.

— Да ну, позвоню, обманете, конечно.

— Нет, не обману.

— Вы и телефон-то уже потеряли.

— Точно позвоню.

Он достал тот же блокнот с карандашом и впопыхах нацарапал ей прежний номер со своим именем.

И вот как-то днем, вернувшись с занятий пораньше, Лида позвонила Вальтеру и сказала, что может приехать. Вальтер встретил ее у входа в метро «Динамо». Они пошли на стадион. Сначала молчали.

— Я закурю?

— Конечно, курите. Я зацеплюсь за Вас, тут скользко? — сказала Лида.

Она держалась за Вальтера и думала о том, что вот так с мужем они не ходили. Никогда она не держалась вот так за него. Все быстро, с улыбочками, несерьезно. Зима — какая длинная пора в году. Половина времени — зима, подумала она.

Тир был хорошо оборудован. На полу маты — для стрельбы лежа и с коленки, длинный бруствер — для стрельбы стоя. Лида неуклонно попадала во все, что движется и не движется. После получаса стрельбы у нее заболело плечо. Вальтер сказал:

— Вам надо ехать на Всесоюзные сборы. Там Вы станете первой!

— Я не могу, у меня занятия.

— Да что занятия! Вас освободят, такой талант!

— Нет, не могу, а потом, я замужем.

— Замужем?

— Да.

У самого метро Лиду догнал тот самый мужчина с катка. Он был в той же вязаной шапке, в пальто и в унтах на меху.

— Вальтер сказал, что Вас зовут Лида и Вы виртуоз. Здорово стреляете! Я — Игорь, тоже стреляю, — он улыбнулся.

Они вместе спустились в метро и вместе вышли.

— Я провожу Вас?

— Как хотите – ответила Лида, вместе с тем ощутив невообразимый прилив радости, видимо, от того, что парень нравится ей.

Дойдя до ее подъезда, Игорь замялся.

— Ну вот, я Вас и проводил. Поеду домой, буду готовиться к сессии. Я, ведь, тоже учусь.

— Я могу угостить Вас чаем.

Лида не желала произносить эту фразу, она выскочила помимо ее воли. Хаос был у нее в сознании — Олег, бабушка, занятия в институте. Все это спрятано в огромный резиновый шар, и шар этот, внутри которого находилась она, двигался вперед, как машина по улице.

Раздевшись и пройдя на кухню, они сели за стол. Лида готовила чай, она чувствовала на себе взгляд Игоря. Он нравился ей, и она нравилась ему. К чаю были конфеты «Коровка» и маленькое круглое печенье. Постепенно разговор их отошел от прозаических предметов и завертелся вокруг поэзии, которую Игорь хорошо знал и любил. Он читал ей стихи русских поэтов, о которых Лида никогда ничего не слыхала — Пастернак, Ахматова, Мандельштам. Игорь даже знал стихотворение Бенедикта Лифшица, где фигурировали загадочные инкубы и суккубы. Заколдованная всем этим великолепием слов, Лида перешла из реального времени в другое, наполненое огнем, холодом, ленью, негой и последним броском. В этом времени ей стало уютно и легко, и, когда рука Игоря опустилась на ее руку, она не убрала ее. Мурашки забегали по спине, как маленькие божий коровки. Теперь я неверная жена, негодяйка! Зачем мне нужно такое замужество? Разбудил во мне женщину и исчез неизвестно куда!

Через каждые два с половиной месяца Лида получала от мужа деньги, никаких писем и фотографий, иногда вещи.

Лида была она уже на втором курсе, когда раздался телефонный звонок и незнакомый мужской голос, даже не представившись, ей сказал:

— Я от Олега. Он велел передать, что у него все хорошо. Он здоров.

— Ну, слава Богу! — вырвалось у нее, после чего на другом конце повесили трубку.

Надо было бы добавить, что он не только здоров, но еще и счастлив, подумала она.

В середине тридцать восьмого года, когда в Москве вовсю бушевали аресты, Лиду вызвали к заведующему кафедрой. Он вызвал ее и ушел, а Лида осталась в кабинете с невзрачного вида мужчиной лет пятидесяти, с коричневым родильным пятном на щеке. Пожав ей руку, он сказал:

— Я знаю, что Вы хорошо учитесь и хорошо стреляете. Говорят о Вас только хорошее. У меня есть к вам предложение.

— Какое?

— Мы хотели рекомендовать вас в разведшколу.

— Лида дернула плечом и едва улыбнулась.

— Ну, какая школа — я замужем, надо закончить учебу.

— Об этом не думайте. Мы все устроим, экзамен сдадите экстерном. Если сразу не можете ответить, подумайте.

— Ладно, я подумаю.

Два дня Лида размышляла над предложением пятнистого, но так и не пришла ни к какому решению. Она не понимала, что от нее хотят, но что об этом предложении никому нельзя говорить, это она понимала.

Через несколько дней он вызвал Лиду опять.

— Ну, что Вы решили?

— Я ничего не решила

— Не хотите нам помогать?

— А в чем будет заключаться помощь?

Пятнистый явно не ожидал такого вопроса.

— Вы комсомолка?

— Конечно.

— Тогда зачем вы задаете такие вопросы?

— Вопросы я задаю, потому как предложение Ваше слишком уж неожиданно.

Пятнистый нервничал и вращал в руке короткий карандаш.

— Если не хотите сотрудничать, пишите письменный отказ.

Время бежало так быстро, что Лида перестала его замечать. Она уже не заводила хорошенькие часики марки «Омега», которые муж прислал ей в подарок на день рождения, и они пылились на полке с книжками. Иногда Игорь приглашал Лиду в гости или в кино. Друзья Игоря были для Лиды малопривлекательны — преимущественно спортсмены, открытые, будто топором сработанные, физиономии. В общем, примитивность и простота под красным флагом.

Через несколько месяцев Лиду опять вызвали для неформального общения, на этот раз к самому декану. А декан, моложавый мужчина, с веселым и умным лицом построил разговор по-другому.

— Хотите побывать за рубежом? Мир повидаете.

Лида замешкалась с ответом.

— Ну, так, как же? — продолжал наседать он.

— Да, как сказать, мне и здесь неплохо. Съездить ненадолго — может быть.

— Вот и здорово. Институт Вы все равно закончите, Вы ведь отличница.

Лида кивнула

— Мы Вас отправляем переводом в особую школу НКВД. Там язык дают не хуже чем у нас, а может и лучше.

— Значит, я все-таки закончу институт?

— Без вопросов.

В январе Лида на поезде пересекла советско-польскую границу — несколько дней в Варшаве, а дальше Сербия, Белград. Там Лида тоже пробыла недолго, всего неделю, и затем Швейцария, где ей предстояло прожить два с половиной месяца для натурализации, так это называли ее помощники.

Лида жила в Базеле в пансионате «Ли Вер» и абсолютно ничего не делала. Она никак не могла понять, в чем заключается ее работа. При этом у нее были деньги — совсем не маленькие! Она могла их тратить, как ей заблагорассудится. Днем она гуляла по городу, покупала книжки на

немецком — Цвейга, Ремарка, Фейхтвангера. Каждый вечер в ее комнате звонил телефон, и каждый вечер, на вопрос о самочувствии и настроении, она отвечала: «Все хорошо, готовлюсь ко сну». Этот жутковатый порядок вопросов и ответов поначалу выбивал ее из колеи. Все к чему ее готовили — язык, ключ, колонки цифр, заученные наизусть, все это было совсем далеко, как в тумане, далеко-далеко. В один прекрасный день она получила документы на имя Лоты Крофлер и легенду, отпечатанную на машинке.

В начале мая 1939 года молодая, хорошенькая Лота Крофлер села в поезд и покатила в Берлин. На вокзале ее встретил мужчина лет сорока. В руках, как и было условлено, он держал сачок для ловли бабочек. Был он худощавым и смуглым, выше среднего роста, к тому же в очках. Такие мужчины Лиду никогда не интересовали. Таких можно встретить в библиотеке, в лавках у букиниста или в магазинах какой-нибудь нумизматики. Этого человека звали Франц, и у него был магазин аквариумных рыбок. Наверху, над магазином, находилась маленькая квартира. Так началась Лидина жизнь в Берлине. До нападения немцев Лида несколько раз работала с рацией. Они отправлялись за город, и вели передачу из леса. Когда-то давно, еще до первой мировой войны, Франц жил в России. Иногда они говорили по-русски.

С началом войны в жизни Лиды и Франца мало что изменилось. Она научилась ухаживать за рыбами, меняла воду в аквариумах, кормила и отсаживала мальков, скребла аквариумные стекла до кошачьего блеска. Несколько раз им назначали встречи в условленных местах, но на них никто не приходил. До сорок четвертого года Франц занимался микробиологией и читал лекции в университете, но в конце войны читать их стало некому. Студентов забрали на фронт, а профессоров в Фолькс-штурм.

В январе сорок пятого, когда уже была близка развязка, Франц ранним утром зашел в комнату Лиды в полосатой пижаме и мягких тапочках. Ни слова не говоря, он подошел к ее кровати, отвернул одеяло и лег рядом, как будто они были муж и жена. Лида не оттолкнула его. В марте она поняла, что беременна. Каждый день прилетали бомбардировщики, жизнь осложнилась. Их уже ничего не держало в Берлине, поэтому они переехали в Гамбург к двоюродной сестре Франца. 29 июня сорок пятого года, Лида родила девочку, которую они назвали Анной.

Нельзя сказать, что англо-американская оккупация отличалась каким-то особым зверством. Работали комиссии по денацификации, но большинство бывших нацистов после полугода лагерей выпускали. Они могли работать на низкооплачиваемых должностях. Франц через мужа сестры, имевшего хорошие отношения с американцами, устроился сторожем на склад. Жалование платили продуктами, и это всех устраивало. Лида сидела с ребенком, иногда, когда девочка засыпала, они шепотом разговаривали, часто по-русски. Если Франц, подзабывший язык, какое-нибудь выражение использовал неправильно, Лида поправляла его. Вряд ли она любила его, но Лиде нравилось быть женой Франца.

К одна тысяча девятьсот сорок девятому году в Гамбурге открылось несколько научных журналов. Франц стал сотрудничать с ними. Почему-то советская разведка не беспокоила их. И они зажили почти спокойно, как и другие, оставшиеся в живых после этой ужасной войны.

В пятидесятом году Франц обвенчался с Лидой по католическому обряду. Теперь, он преподавал биологию в школе и занимался наукой. Работы его стали известны в научном мире. Теперь их переводили на разные языки. В доме появился достаток. Квартира и магазин в Берлине остались в восточной зоне, но возвращаться они не собирались, как и другие перемещенные лица.

Все еще помнили беспорядки сорок девятого года, когда погибло много людей. В прессе про восточную зону писали только плохое. Но жизнь Лиды и Франца устроилась, и воспоминания о тяжких событиях последних лет потихоньку стирались из памяти, хотя и с трудом.

В пятьдесят втором они переехали в маленький особняк с садиком и двумя круглыми клумбами напротив крыльца. Франц сказал, что раньше в нем проживал старый нацист, соратник Гитлера по борьбе с буржуазным правительством еще в двадцатые годы, который теперь сидит в тюрьме. Разговоры про их разведывательную деятельность, как-то сами собой исчезли. Вокруг шла более-менее достойная жизнь.

Раз, весной, Лида со свои семейством сидела за маленьким столиком под каштаном. Дочка раскладывала кукол и была увлечена своими маленькими делами. И тут, неожиданно Франц сказал.

— Мы законсервированы.

Лида вздрогнула и резко опустила руку с занесенной сигаретой.

— Да, я догадывалась.

— Ты хочешь вернуться?

Он пристально посмотрел на нее. Последовала пауза, а внезапно налетевший ветер, задвигал ветками и зашуршал листвой. Лида посмотрела на кусочек неба над ними и покачала головой.

— Мне тоже некуда возвращаться, моего дома там давно нет.

Лида стала вести не очень-то разнообразную жизнь домохозяйки. Она отводила ребенка в школу и прогуливалась по магазинам. Они купили телевизор «Зенит». Теперь по вечерам её семейство смотрело кино, преимущественно американское. Иногда Франц брал напрокат машину — огромный «Олдсмобиль», и они уезжали за город. Эти поездки успокаивали Лиду. Природа, легкое вино и копошащаяся в траве дочь — все это необходимо и важно для человека.

В одна тысяча девятьсот пятьдесят пятом году Франц стал профессором. На банкете было много научной элиты.

В пятьдесят шестом Франц и Лида купили длинный «Шевроле» сливочного цвета. Лиду поразила комфортность этого автомобиля. В нем было всего две педали, тормоз и газ. Она быстро научилась водить и теперь сама ездила за продуктами.

В Советском союзе после двадцатого съезда наступила, так называемая, «оттепель». В пятьдесят седьмом прошел фестиваль молодежи и студентов. Об этих событиях Франц и Лида узнали из газет.

В октябре одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года Францу Вернеру пришло из Москвы приглашение на симпозиум по микробиологии, который должен был состояться в начале пятьдесят девятого года. Приглашение было на него и на супругу. Несколько дней Франц молчал, размышлял. Потом все-таки сказал об этом жене. Та сначала обрадовалась, затем расстроилась.

— В чем дело, Лота? — последние десять лет, он только так и называл ее.

— Если мы поедем в Москву, нас не выпустят обратно. Мне сорок лет, и я ничего не хочу менять.

— Мы подданные Западной Германии. Мы не можем уехать и не вернуться!

— Все знают, что в России легко пропасть, исчезнуть без следа.

— Если бы мы им понадобились, нас бы нашли иначе. Все твои страхи беспочвенны, мы пробудем в Москве неделю, затем вернемся обратно.

— Я так люблю этот дом, Анну, тебя, себя здесь. Я забыла себя тогдашнюю. От той московской девчонки ничего не осталось.

Разговоры о поездке в Москву возникали и гасли еще несколько раз. Но, когда по телевизору показали фильм с Диной Дурбин, исполнившей с сильным акцентом «Две гитары за стенной жалобно заныли», Лида-Лота, на которую Франц за несколько месяцев никак не мог повлиять, неожиданно сказала: «Едем».

Лила и Франц забронировали билеты на поезд «Берлин – Москва». Поезд был советским. Проводники — мужчины, похожие на фарфоровых кукол. Мягкие, двухместные купе в бронзе и бархате. Залитый огнями перрон Западного Берлина медленно отплывал от состава. Сначала паспорта проверили западногерманские пограничники вместе с американским сержантом. Поезд со всех сторон освещали огромные авиационные прожекторы. Справа и слева от вагона, вдоль низкого черно-белого металлического забора, были установлены настоящие противотанковые ежи, и еще какие-то железобетонные пирамиды. Бухты колючей, проволоки тянулись так далеко, как только мог охватить глаз. Казалось, что лучи прожекторов пронзают весь поезд насквозь. Они светили, и в лоб, и сзади, и сбоку. На вышках вдоль железнодорожного полотна стояли автоматчики. Граница произвела на супругов Вернер удручающее впечатление. В восточной зоне все паспорта, кроме дипломатических, забрали и куда-то унесли. Целых десять минут восточногерманские таможенники разглядывали Лоту и Франца.

Утром они пошли в ресторан. Белые накрахмаленные скатерти, хрусталь, начищенный до блеска мельхиор. Все было аккуратно и вкусно — свежее мясо с кровью, нарзан, черная икра в крошечных стеклянных баночках с кольцами масла вокруг. Сначала они заказали двести грамм водки, потом еще сто пятьдесят.

— Не думал я, что вообще когда-нибудь вернусь.

— А я знала.

За окном мелькали унылые польские пейзажи, чем-то отдаленно напоминавшие русские. Лида курила и смотрела в окно.

Двенадцатого января пятьдесят девятого года поезд медленно подходил к Москве. Лида видела заснеженные крыши домов и стаи ворон, поднимающихся и опускающихся вниз. Пошли пакгаузы, грузовые платформы. Москва. Встречал их молоденький переводчик из «Интуриста», похожий на поросенка.

— Так странно, все говорят по-русски, — шепнула Лида мужу, устраиваясь на заднем сидении «Победы».

Они ехали по улице Горького, которая вся была застроена новыми домами, в мраморе и граните. Машина остановилась у «Метрополя» переводчик донес багаж до стойки портье и откланялся.

Номер был небольшой, двухкомнатный. Из окна была видна гостиница «Москва», часть кремлевских башен и Большой театр. Рано утром Франца забирала машина, и он уезжал на симпозиум. Лида спала до двенадцати, потом завтракала в ресторане. Часа в три возвращался Франц, и они шли гулять.

Один раз Лида и Франц взяли такси и объехали всю Москву. Лида отвезла мужа в «Парк Горького» и в «Сокольники». Были они и в «Большом» на опере «Иван Сусанин». Как-то вечером Франц сказал: «Едем, я покажу тебе дом, где прошло мое детство. Они доехали до Новой Басманной, отпустили такси и пошли пешком. Теперь дом был желтым, а когда Франц уезжал — розовым. Они прошли дальше по Новой Басманной и дошли до особняка фон Мекк. Теперь, там располагался Дом культуры Железнодорожников.

Чугунная калитка в сад открыта. Они подошли к скульптуре девушки, державшей в руке электрический фонарь, и походили по заснеженным дорожкам.

— Тут ничего не изменилось. Раньше этот сад и ворота всегда были закрыты, а теперь все по-другому, — мечтательно проговорил Франц и посмотрел на серое небо. — Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось…. Это стихотворение написал Пушкин, мы его учили в гимназии.

— Я знаю, мы тоже его учили.

Вернувшись к бывшему дому Франца, они вошли в подъезд.

— Раньше в подъезде дежурил швейцар, на лестнице лежали ковры. А вот лифт тот же, только скамеечки и зеркала убрали, — сказал Франц.

Подойдя к дверям своей бывшей квартиры, Франц разволновался.

— Не знаю, стоит ли звонить.

Но набравшись решимости, он все-таки нажал на кнопку звонка. Через некоторое время за дверью послышалось шарканье, она отворилась. На пороге показалась старуха. Увидев, таких представительных, хорошо одетых людей, она сделала шаг назад.

— Вам кого?— спросила она.

— Да, собственно, никого.

— А к кому Вы?

— Я жил в этой квартире, когда-то давно, еще до революции. Хотел поглядеть, что сохранилось.

Старуха повернулась к ним спиной и, кряхтя, пошла по коридору. Навстречу старухе, из другого конца ползла закутанная в тряпки баба лет пятидесяти, с седыми, взъерошенными волосами и с чугунной сковородкой в руке. Запахло жареной рыбой и еще чем-то кислым и неприятным. Такой запах всегда присутствует в зажитых, плохо проветриваемых помещениях. Франц и Лида медленно вошли на кухню. Худой высокий мужчина в майке и черных трусах кипятил на плите белье. Густой пар поднимался над баком, как облака. В руке мужчина держал мокрую деревянную палку. «Хозяева бывшие, из прежнего времени» — сказала, мелко захихикав, открывшая им старуха. Толкнув дверь ванной комнаты, Франц увидел сохранившееся с прежних времен биде, в котором так же было замочено чье-то белье. Теперь двери между комнатами были наглухо заколочены и жильцы выходили в коридор каждый из своей. Все, кто был дома, рассматривали диковинную пару в буржуазных одеждах и улыбались застенчиво и безобидно, но как-то по-рабски, без радости. Франц подошел и постучал в дверь комнаты, где когда-то был его театр. Открыл ему инвалид без ноги, в военном капитанском френче, с медалями.

— Иван Палыч, сапожник, — сказала старуха.

— Бывшие жильцы, Ван Палыч, интересуются.

Комната, в которой теперь проживал Иван Палыч, и которая раньше была театром, вся была завалена старой обувью, валенками, видавшими виды башмаками и какими-то войлочными тапочками огромных размеров. В углу стоял верстак и табуретка, сильно пахло клеем, в другом углу — что-то отдаленно напоминающее кровать, застеленную драными одеялами. На большом мраморном подоконнике — газета «Известия», на ней полбутылки водки, высохший соленый огурец и кусок черного хлеба.

— Раньше здесь был театр. Вот видите, там наверху, — Франц указал пальцем на потолок, еще сохранились крепления.

— Да ну, неужто театр, — воскликнул пьяненький и радостный Иван Павлович.

— Как есть, театр, — сказал Франц.

— И занавеска была?

— Да, и занавеска, и фонари, и маленькая сцена. Обои вот только были другими. Принесите мне таз с водой и мокрую тряпку, тогда я заплачу вам триста рублей.

Названная сумма произвела на жителей коммуналки оглушительное впечатление. Старуха, и гремящий, деревянной ногой Иван Палыч бросились в ванную за тазом и тряпкой. Таз принесли и поставили на табуретку. Франц снял шляпу и пальто, передал одежду Лиде, намочил тряпку и стал водить ею по ободранным обоям. Постепенно бумага набухла. Франц стал плавно снимать слой за слоем. Через несколько минут, перед жителями квартиры возник рыцарь с зеленой чашей в руке.

— Это чаша Грааля, она сделана из зеленого изумруда, который выпал из головы Люцифера во время его падения. В ней кровь Христа, спасителя вашего.

Франц не знал, зачем он говорит все это. Убогие, бедные люди, стояли и смотрели на диковинную эту картину и ничего не понимали. Абсолютно ничего!

За день до отъезда домой Франц и Лида обедали в Праге, в зимнем саду, потом гуляли по старому Арбату. Зашли в антикварный, где Франц купил за бешеные деньги бронзовые каминные часы марки «Мозер». Настроение, созданное водкой и хорошей закуской, а так же редкий для зимней Москвы солнечный день, все это повлияло на Лиду. Они дошли до ее бывшего дома.

— Вот здесь я жила. Ходила в школу. Здесь, вокруг, я все знала. Сейчас нет — много новых домов.

Так не спеша, дошли они до Плотникова переулка, где она жила какое-то время с первым, редким на появления мужем.

— Ты постой здесь, я скоро вернусь, — сказала Лида и зашла в подъезд.

Поднявшись на третий этаж, она позвонила в дверь своей бывшей квартиры. Сердце забилось сильней, а на лбу появились мелкие капельки пота.

— Кто там? — спросил из-за двери женский голос.

— Я... Откройте, пожалуйста, мне нужен Олег, Олег Вогау.

Дверь отворилась. На пороге стояла очень красивая дама с прической в великолепном, черно-красном бархатном платье и с жемчужной ниткой на шее.

— Олег Вогау, он здесь проживает?

— Да, проживает. А Вы, простите, кто?

— Я — Лида, его давняя знакомая. А Вы, как я понимаю, вы его жена? — голос Лиды задрожал и сломался.

— Да, я его жена, Олега сейчас нет. Он в командировке. Что ему передать?

Лида замялась.

— Ну, передайте, скажите, что заходила Лида Азарина.

По лицу женщины пробежала тень, губы ее дрогнули, искра насмешки мелькнула в ее глазах.

— Лида Азарина — это я, — сказала женщина и пристально, очень внимательно, посмотрела на настоящую Лиду.

У Лиды-Лоты все похолодело внутри.

— Ну ладно, хорошо. Пусть так, — стеклянным голосом, произнесла она. — Но тогда, кто же я?

— Вы? Вы, Лота Вернер, — сказала женщина и захлопнула дверь.

Медленно повернувшись Лида-Лота спустилась по лестнице. Ноги у нее стали ватными и совсем не слушались. Сквозь стекло подъезда она увидела Франца. Рядом с ним на тротуаре стояли каминные, купленные у антиквара, часы. Она, перешла улицу и медленно подошла к Францу. По щекам Лиды бежали слезы.

— Я — Лота Вернер, — губы у нее дрожали. — Я Лота Вернер!

— Конечно, ты Лота, моя жена и самая любимая женщина на Земле, — сказал Франц и смахнул рукой в желтой перчатке с её щеки маленькую слезинку.

***Три повести о любви…***

Обстоятельства любви
героев ***Леонида Зорина***
столь же разные, сколь многолико
это ***непостижимое чувство.***

Не опасаясь поранить кожу об острые края
своей памяти, Зорин ***не щадит былого***.

Иначе не донести до нас,
как ***страшна, жизнеопасна***
***и благословенна бывает любовь.***

ЛИТЕРАТУРНОЕ zaza ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

# Юлия ВертелА. Маринка, я и Аквaланг. Рассказ

Родилась в 1967 году в Царском Селе под Санкт-Петербургом, где и живу до сих пор. Окончила биологический факультет Ленинградского госуниверситета им. А. А. Жданова. Кандидат биологических наук. Воспитываю троих сыновей. Член Союза писателей России. Автор книг прозы «Бери и рисуй» (СПб.: Вести, 2008), «Интенсивная терапия» (М.: АСТ, 2011). Печаталась в «Литературной газете», журналах «Нева», «Урал», «Юность» и других литературных изданиях. Лауреат премии журнала «Нева» за лучшее произведение 2010 года в номинации «Дебют».

*Те, кто спешат спасать других, спасаются сами. Потому что Бог ведёт их — невидимыми нам руками он подталкивает их в нужные двери, в нужные города, в нужные объятия..."*

*Три одинокие, неприкаянные души, истрепанные жизнью, людьми, судьбой держатся друг друга в этом огромном мире под названием Одиночество. Друзья... Такие разные, но похожие одновременно. Бог свел их, чтобы еще немного погреться в теплых лучах любви, в которую они уже давно не верят.*

*Олеся Янгол*

1

Мы все по-разному описывали эту ночь втроём.

И сходились на том, что, когда всё происходит случайно, так даже лучше.

Кисмет — это кирдык. Или удача. Или судьба.

Кто как поймёт любимое словечко Аквaланга.

До этого мы не виделись с ним в реале. Только в Живом Журнале в интернете.

И не увиделись бы никогда, если бы не рьяная Маринка.

Она рванула на «сапсане» в Питер — спасать меня от смерти.

Потому что она герой. И человечище.

Накануне у меня случилась личная драма. Со всеми вытекающими истериками.

Я закрыла страницу в ЖЖ. После чего упилась снотворными, обрубилась и не слышала, как Маринка позвонила в дверь.

Бедная преданная Маринка приехала ночью из Москвы и почти до полудня барабанила в мою дверь.

Отчаявшись, она пошла обратно на вокзал. На ближайший «сапсан».

Днём я очнулась, увидела непринятые звонки на телефоне, стала звонить Маринке, умоляя сдать билет.

Договорились пересечься у «Восстания».

Я, как очумелая, понеслась туда.

И нашла Маринку — маленькую шуструю птичку lepalind с рюкзачком за спиной.

Маринка к тому времени уже созвонилась с Аквалангом.

Мы все — из интернета. Виртуальные друзья.

— Поедем к Димке! — решительно сказала Маринка.

— Кисмет! — согласился Димка по телефону.

*

Димка Акваланг — усатый моряк в бескозырке. Таким он выглядел на аватарке в ЖЖ.

У Акваланга умерла жена. Иногда зимой он звонил мне на телефон.

Звонил, чтобы услышать голос. Голос как глоток водки. Согревает.

Недолго, пока держишь трубку у уха. Пока слышишь. И неважно, о чём говорить.

Все слова — звуки ни о чём, просто напоминающие, что организм ещё способен их производить. Особенно на таком морозе.

Акваланг звонил мне, чтобы издать этот звук. И я отвечала — с той же целью.

*

Мы ехали с Маринкой маршруткой от метро «Ленинский проспект» в незнакомый мне район, где нас встретил Акваланг.

— Напротив моего дома — дом, из которого выбросился Башлачёв. Вон из того окна...

Мы свернули головы в указанном направлении.

Берёзы. И где-то там выше берёз — то самое окно....

Мы сидели на кухне у Акваланга, рассматривали друг друга.

И радостно улыбались. Тепло, уютно, как в студенческие годы — беззаботно, внезапно, и просто так...

Маринка вынула из рюкзака домашнее вино и настойку на кедровых орешках.

Димка Акваланг нарезал закусок. В жизни он был точно такой же как на аватарке...

— Я с женой прожил тридцать лет, и вот теперь один. Уже четыре года.

— Марин, а у тебя когда сын погиб?

— Полгода назад. Разбился на машине. Ехал с другом ночью по мокрой дороге.

— А у Юльки дочка умерла, давно уже...

— Ей всего девять месяцев было.

Не чокаясь. За умерших. Потом за живых.

Выясняется, у всех у нас были панические атаки после потери близких. И клиника неврозов...

Вот так и проясняется родство биографий.

И просто родство.

— Я не ем только один продукт.

— Юлька, сейчас угадаю какой. Варёный лук?

— Димка, ага, откуда ты знаешь?

— Телепатия.

— Маринка, ты кем работаешь?

— Риэлтор.

— И моя жена покойная была риэлтером. Она и умерла, разговаривая по телефону с клиентом. Пришёл с работы, а Ирка лежит с трубкой в руке.

Димка — слесарит на заводе, где строят корабли.

Вот сидим мы за столом, под портретом Димкиной покойной жены. Дети наши выросли, мужья и жёны поисчезали в смертях или разводах. А душа ещё живая. И хочется прикоснуться к ней словом или взглядом... Под уютным светом лампы, под тихий разговор. В три ночи Маринка начала засыпать за столом. Я тоже. Решили остаться у Акваланга.

*

Как потом писала Маринка в Живом Журнале — «волшебная ночь втроём», «безумная ночь втроём», «страстная ночь втроём»... В конечном варианте осталось просто: «ночь втроём».

А Димка в ЖЖ пафосно написал: «Сегодня я провел ночь с двумя женщинами».

На самом деле он спал на коврике, прикрывшись старенькой дублёнкой.

А мы с Маринкой развалились на его полуторной кровати.

— Белья у меня нет, — сказал Димка.

Рухнули без белья. Выключили свет.

— Я впервые за три года о сексе подумала, — сказала в темноте Маринка — матрас у тебя, Димка, удобный.

А Акваланг уже храпел, как гризли, охраняющий пещеру.

Я смотрела в окно, пытаясь разглядеть дом, из которого когда-то выпал Башлачёв.

Утром старенькая мама Димки вышла на кухню.

— Круассаны кушайте. Угощайтесь.

— Неужели вы сами их печёте? — спрашиваю.

— Сама.

— Мам, а я всегда думал, что они покупные, — удивился Акваланг.

Мама Димки шутила:

— Мой сын приводит домой всех девушек из интернета. И все девушки говорят, что он похож на Довлатова.

Сам же Димка от схожести отбрехивался.

— Я прозу не пишу, только стихи. После смерти жены одни уходят в запой, а я в — поэты.

Мы опять прошли мимо дома Башлачёва. Мимо окна, из которого он выпал, мимо берёз. Мимо одиночества.

И ещё пару дней гуляли по Питеру, как беззаботные студенты.

И это спасло меня тогда. Помню китайский ресторанчик «Джун-го» на Суворовском. Где мы ели утку по-пекински. Помню Маринку — птичку lepalind с весёлым рюкзачком, помню Димку, зачем-то терпевшего нас, приютившего и согревшего тогда.

И то окно, откуда...

— Кисмет.

Почему Акваланг понимает это слово как кирдык?

А я как удачу.

Хорошо, что мы встретились однажды. Я, Маринка и Акваланг.

## 2

Кому-то мужчины признаются в любви. А мне признаются в убийствах.

Перед Аквалангом пустая пачка «Мальборо», он курит и курит, у меня глаза уже красные от дыма.

Графины с водкой один за другим меняются. Истории меняются одна за другой.

Сколько же у него их в голове?

Как всегда по Ирке горюет, она с нами будто третьей сидит и выпивает. Жена его покойная. Хорошая такая. Я её полюбила. Так много он о ней говорит и с такой любовью.

— Один раз только с женой поссорился. Сказал, что у неё изо рта какашками пахнет. Она обиделась, ушла к подруге и целую неделю домой не возвращалась. Я скучал без неё, не знал, куда мне деться, прощения просил. Она вернулась, и у нас такой секс был, такая страсть. И радость.

— А как вы познакомились?

— Я был на срочной службе, морячок. Заехали в порт, три дня там стояли. Южный городок, пошли гулять по городу. Увидел девушку у колодца, стоит в лёгком летнем платьице, и сквозь него просвечивает фигурка, я с первого взгляда влюбился. Позвал на свидание в тот же вечер, и всю ночь провели вместе. Я выломал дверь какого-то сеновала, молодой был горячий, и она совсем девчонка. Наутро Ирка стала плакать, что же родителям сказать, у неё никого не было до меня. Я говорю — выходи за меня замуж, пошли твоим скажем. Ну и расписались в ЗАГСе. Вот так я женился за три дня, а прожил с ней почти тридцать лет, и ни разу не пожалел. Корабль наш отплыл, а она уже потом ко мне приехала по месту службы.

Меняем тему.

Акваланг как джаз — всегда импровизация. Ни с того, ни с сего...

— Я ведь двух человек убил. Иногда я думаю, что Ирку забрали у меня за этот грех. Воздалось мне. Я тогда бешеный был. Дома конфликт с отцом случился. В общагу собирался в Питер ехать, уходил. А отец мне в дверях пинка под зад дал. Ну я развернулся и ему кулаком по морде, он влетел в шкаф, шкаф аж развалился. А у отца зубы выбились передние. Кровища, он пошёл в ванну, и вода кровавая льётся. Я вроде даже извиняться стал, а он — я тебя, сынок, проверить хотел, мужик ты или нет...

Ну я выскочил из дома, весь на взводе. Ехал из Кронштадта. У меня портфель был с конспектами. И он исчез на платформе Рамболово. Ну, думаю, украли. Вижу, мужик сидит на скамейке, я подумал на него. А сам был заведённый страшно — стал ему морду бить, лицо у мужика напополам разъехалось, а я остановиться не могу, он обмяк как-то. Но портфеля моего у него нет, а в окне электрички другой мужик мелькнул, я туда — наверное, у него мои вещи! Ну я кинулся ту суку бить в вагоне, а он ноги выставил, мне руками до него не достать, ноги всегда длиннее. Народ стал орать в электричке, что милицию вызовут. Я того мужика за волосы ухватил, они у него длинные были. И тут он кинул мою сумку! Я подобрал её, вышел на платформу посмотреть, что с тем, которого я бил. А он уже совсем без сознания, кровища. Ну я вскочил в электричку и уехал. Не знаю, что с ним — умер скорее всего.

А второй случай ну просто глупый, не со зла.

Утром ехал на работу, пьяный пристал ко мне, вот так рукой за шею схватил, а я на автомате к нему приём карате, знал немного... Силу не

рассчитал, он отлетел на несколько метров и со всей дури головой о поребрик, кровища хлынула.

Много свидетелей было, эти со мной обычно и ездят на работу, думал, заметут меня, но нет, я сразу уехал. А вечером писали, что убийство на вокзале, и мелом на этом месте тело обведено... Но не хотел я зла ему, случайность.

А вот тот, что на платформе Рамболово, того жалко, виноват.

Ох много мы графинов водки выпили за вечер.

И выпили флягу Маринкиной настойки на кедровых орехах. За её здоровье. Она из Москвы прислала нам в подарок.

— Маринка-то в бане, в Сандунах день провела.

— Клянись, что никогда Маринке не расскажешь.

— А мне чего не боишься рассказать?..

— Тебе можно.

Ну вот. Кому-то мужчины признаются в любви, а мне — в убийствах. Мне можно.

А есть мужчины, которые не убивали?

## 3

Долгие разлуки застывают огромными сосульками.

И с каждым днём они всё холоднее и длиннее. И всё страшней ходить под ними.

Надо с кем-то за компанию.

...Автово. Ныряем с Аквалангом на улицу Маринеско.

Сосульки, как торпеды, пролетают мимо.

Маринеско. Акваланг. Мне нравятся такие удачливые хулиганы.

Кепочка, руки в боки, моряцкая походка.

— Не люблю, когда меня держат под руку, но ты держись, ладно.

Я хватаюсь за рукав, потому что не успеваю за ним. Акваланг идёт быстро, говорит ещё быстрее.

— Вот наша общага. Эх, какие там были дискотеки! А в этом доме жил Маринеско. Тут мы бутылки сдавали. А вот пивбар, я в нём бывал. И Маринеско, наверное, бывал.

Для меня это — история. Для Акваланга — реальность. Знаменитый подводник умер, когда Акваланг ещё пешком под стол ходил. Но они как бы в одном мире. В одном море.

Улицу Строителей переименовали в улицу Маринеско в 90-м году, тогда же присвоили командиру подлодки звание Героя. При жизни ему ничего такого не присваивали за разгульное поведение. Но поведение кто теперь вспомнит? А вот С-13 осталась в истории, как и «атака века».

— Посмотрим «Подводную лодку»?

Кафешка аутентичная. Улица Маринеско, дом 1. Чёрно-белое фото командира подлодки на стене.

Морская черепаха, рыба-пила. При входе — якорь. Народ в кафе специфический: морские волки, прибрежные тюлени.

Акваланг показал мне залы и поведал, где и в каком напивался.

И о Маринке между делом вспомнил:

— Я смотрел на неё, маленькая такая, неприкаянная ходит у витрин, смотрит на них — одинокая...

Он так нежно о ней. А она о нём спросит и молчит. Сообщения ему по десять раз в интернете исправляет, не подозревая, что все копии приходят к нему.

Акваланг сейчас в юности, в предчувствии любви. Поэтому так увлечённо треплется.

Я в противофазе — слушаю.

Одна и та же улица видится нам по-разному.

Мне вспоминается Москва, широкая, с такими же коренастыми «сталинками». И тоска от тех воспоминаний.

Аквалангу — видится юность в «Корабелке». Шалав весёлых вспоминает.

Попутно рассказывает, какая непростая жизнь была у Маринеско. С барышней замужней закрутил роман — только он с ней в кровать, как звонок, зовут к начальству, ну и моряк давай сразу штаны натягивать. А баба в жертву этой ночи принесла всё своё семейное благополучие, и статус, и покой, и просит Маринеско, чтобы тот не уходил. Ну он мужик был справедливый: штаны спустил и с ней остался.

А ещё Акваланг расписывает, как кильватер за кораблём светится — до самого горизонта. Будто мириады светлячков в нём поднимаются. И красные медузы.

Красиво он рассказывает. В предчувствии любви...

Сосулька ещё наросла на один день, но я этого не заметила сегодня.

Потому что Автово. И Акваланг.

4

Непрямолинейность пути и прямолинейность характера.

Вот что я думала об их встрече.

Маринка ехала спасать меня, а встретила Акваланга.

Она взяла билет в Питер на 30-е из Москвы. Новый год Акваланг пригласил встречать у него на даче.

— Я так понимаю, плов будет настоящий? Из баранины? — спрашивала Маринка.

— Плов можно готовить из всего. Даже из рапанов сочинских. Но я попробую купить хорошую баранину. Я очень хочу тебя вкусно накормить. Именно в таких мелочах — соль... и иногда смысл жизни. Пока он не вытеснится другим, высшим смыслом. Нельзя пренебрегать мелочами, — улыбается Димка. — Даже дьявол ими не пренебрегает.

— И баню будешь топить? — у Маринки явный интерес.

— Коню понятно. Войдём в новый год чистыми.

— Я думала, мы в деревню сразу. Собаку возьмёшь с собой? Вот ей будет радость.

— Собаку дети возьмут. Может, и нас. А так... на электричке. Но не по шпалам. Обсудим.

Те, кто спешат спасать других, спасаются сами. Потому что Бог ведёт их — невидимыми нам руками он подталкивает их в нужные двери, в нужные города, в нужные объятия.

*

Все новогодние праздники Маринка жила на Димкиной даче в Репино. Там были и долгие прогулки на залив, и чудесные вечера у камина. Веселье в бане, вкусные шашлыки. И десяток морских друзей, списанных по возрасту на берег, как и сам Акваланг.

Предвкушая сбор, Маринка терзалась:

— А вдруг мне другой пират больше понравится?

Под прицелом двух дюжин мужских уверенных глаз она ощущала себя королевой.

— Ты должна попробовать мой форшмак! — Акваланг крутил булку с молоком и селёдкой через мясорубку.

После гибели сына Маринка впервые забылась. И немного отвлеклась от своей печали.

Вернулись они в Петербург счастливые.

Позвали меня в Автово увидеться на старый новый год.

— Это тебе подарок! — Димка вручил мне дублёнку своей покойной жены. — Она почти новая. И очень лёгкая! Мы с Маринкой нашли её на даче, решили, что тебе подойдёт.

— Бери-бери, невесомая! — уговаривает Маринка.

— И оренбургский пуховый платок. — Димка развернул серую шаль, кое-где тронутую молью. — Они в комплекте идут.

— Ну спасибо... — я не умею отказываться.

Сидим на Аквалангговой кухне. Маринка блинов напекла, мама Димкина радуется. Я уже воображаю, как выдаю подругу замуж.

Утром у Маринки поезд до Москвы. У них с Димкой последняя ночь перед разлукой... Ещё бокал, и мне пора убираться.

И тут Маринка на ухо мне шепчет:

— Оставайся ночевать со мной.

— Зачем?

— Я не хочу с ним спать.

— Здрасьте пожалуйста...

Иду проветриться на лестницу, а там Акваланг:

— Останься сегодня с Маринкой, я не могу с ней спать.

— Ну ладно, остаюсь.

Ничего не понимаю.

В двенадцать ночи выясняется...

Всё дело в Кате. Едет какая-то певичка из Москвы.

— Она звонила мне из поезда, — оправдывался Димка, — и негде ей остановиться, и денег нет, а мы — друзья. Во ВКонтакте познакомились. Я не могу ей отказать. А Маринка злится.

— Ну почему какая-то шалава всегда всё портит?

Кате двадцать пять. Спит с одним, любит другого, путешествует с третьим. Для Кати Акваланг — просто одна из встреч, а для Маринки Димка — это серьёзно.

Мы с Маринкой легли вдвоём на тахте в маленькой дальней комнате. А Димка перешёптывался на кухне с Катей из ВКонтакта. Она ему тоже про Довлатова сразу...

Выдули они литр водки. Закусили Маринкиными блинами. Разыгрались. Бегали по коридору, мылись в ванной, ржали до утра.

— Принеси мне водички, — умоляла Маринка.

— Я не пойду на кухню.

— Ну сходи.

В коридоре наткнулась на мокрого Аквалангa в трусах.

— Вчера со мной, сегодня с нею... — Маринка изнемогла на тахте, тонометром меряя давление и пульс.

Катя и Акваланг ушли спать в гостиную.

— Маринка, а может, нет у них ничего? И он на полу лёг? Как тогда с нами.

Утром подруга решила внаглую проверить: да или нет? Открыла дверь в спальню. Вернулась позеленевшая: храпят раздетые под одним одеялом.

— Пошли отсюда. Я вызвала такси. Бери дублёнку!

*

Не знаю, зачем я грузила в багажник огромный пакет с дублёнкой покойной Димкиной жены.

В шесть утра две трясущиеся от бессонной ночи курицы добирались до Ладожского вокзала.

Стою, держу в руках дублёнку Димкиной жены. Тя-жееёе-лая.

Перрон. Маринкины слёзы. Мороз по телу. Дерьмо на душе. Поезд до Москвы тронулся.

И тут звонок от Аквалангa:

— Юлька, я проснулся. Вы где? Я рукой ударил по будильнику и всё проспал, хотел же проводить Маринку. Она чего-то трубку не берёт.

— А ты как думал?

— А что такого! Не надо тут трагедию разыгрывать.

— Ты не мог потерпеть, чтобы Маринка уехала? Зачем за стенкой спать в тот же день с Катей? Ты просто скотина!

— И ты думаешь, что после литра водки я чего-то мог?

— Я ничего не думаю, а вот Маринка — очень даже!

— Да мы уснули как друзья, и между нами не было ничего! Кисмет.

На этот раз кисмет не слышалось удачей.

*

В Москве к Маринке возвратилась прежняя самооценка, и через пару дней она уже орала, как сирена, в трубку:

— Мне жалко эту Катю! У Аквалангa писька всего лишь десять сантиметров и стоит каких-то три секунды! Я ничего не потеряла! Ничего!

— Так и Катя ничего не потеряла, она нашла себе другой ночлег с мужиком в тот же день.

— Ха! И на что он мог рассчитывать? Когда имеешь десять сантиметров и всего три секунды!

Но это было через пару дней... А тем утром, проводив Маринку, я зашла в туалет на Ладожском вокзале и поставила в уголок пакет с дублёнкой покойной жены Аквалангa.

И там его забыла.

## 5

«Я стою посреди водопада» — почему-то Аквалангa представлял это, как на картине Репина «Какой простор», где баба с мужиком гуляют в волнах аки посуху.

— То ли стельки у них свинцовые, то ли маринист пьяный был. Говорят, сам Айвазовский подрисовывал эту порнуху.

После расставания с Маринкой Димка убивался по англичанке Оле.

Она попалась ему в интернете, обещала любовь и даже приезд, а потом сдриснула, написав, что стоит посреди водопада, и жизнь её так веселит, что ей не до ленинградского мужлана.

Акваланг всё время пытался разгадать английский менталитет, приводил в порядок квартиру, наводил в ней уют.

— Вот нисколько не удивлюсь, если приду как-нибудь домой, а она сидит на кухне. И говорит: «Я — Оля».

Цапанула она его за сердце фразочками типа «я в твоей жизни не случайно», «я никуда не денусь», «у меня своя роль в твоей жизни».

После пятидесяти лет, казалось бы — куда уж верить. А вот веришь! И ещё сильнее. И ждешь не пойми каких чудес — что приедет англичанка из Лондона к слесарю Аквалангу.

— У неё там в Англии дом, двадцать лет как уехала из России, живёт в гламуре, работает какой-то хренью, то есть художником, но не рисует нихрена.

И вот она приедет к Аквалангу — чтобы «быть за каменной стеной».

Конечно, после литра водки Акваланг не слишком каменный, но всегда надёжен. Вот только приехала бы, ведь ждёт мужик, мается.

— Она мне снова пишет: «Я стою посреди водопада». Жизнь её бурлит, и ей не до меня...

Но Акваланг блаженный. Он верит.

*

И приехала ведь. Димка позвонил, что надо встретиться. Он хочет англичанку показать.

Говорит:

— Давай в той чебуречной, где я с ней в первый раз по телефону разговаривал.

У метро «Пушкинская» Акваланг стоял, прижав к себе блондинку невысокого роста, жилистую, поджарую, совсем не похожую на ту красавицу из Интернета.

В реальности англичанка оказалась достаточно бесцветной и немолодой. Но с очень белыми зубами, уверенная, энергичная, ведущая здоровый образ жизни.

Мы с Димкой заказали себе чебуреки с кофе, она себе — постный салатик.

— А кофе?

— После шести вредно.

Когда англичанка вышла в туалет, Димка спросил:

— Ну как она тебе?

— Спокойная. И оптимистка.

Они смотрелись вместе хорошо и даже счастливо. Но как-то отстранённо и прохладно. В их отношениях отсутствовало то, что обычно между близкими людьми.

— Какие новости у вас? — спросила я, когда англичанка вернулась.

— Все наши новости в постели, неприличные, — потупилась англичанка и ткнула вилкой в зелёный лист салата.

В результате двое так и молчали, не рассказывая о себе, не раскрывая чего-то главного, как будто каждый был в своей какой-то сфере, и эти сферы вращались по отдельности.

Наутро Димка позвонил, и опять спросил:

— Ну как она тебе?

— Хорошая.

— Так-то оно так, но скоро уедет. Мы с ней решили, что не будем говорить об этом. А просто проведём отлично время. Летом, может быть, ещё приедет. А за разлуку, может, охладеем. Или разлука сблизит нас — пока не знаю.

Англичанка улетела, так и оставшись для меня загадкой. Да и для Димки тоже. И больше не вернулась.

— После смерти жены я как заколдованный, все женщины от меня отваливаются. Так один, наверное, и останусь жить.

6

Завтра тренеру по фитнесу отдам список съеденного за воскресенье:

Водка

Кофе

Водка

Фруктовый салат

Кофе

Водка

Кофе

Водка

Ужасно калорийно. И просто ужасно...

Накурено. Наговорено.

Сидя в этом странном кафе, я полуслушала, полусмотрела на людей.

Заходили странные пары: двое влюблённых, двое подруг, двое парней.

Двое могут быть в разных отношениях. Не предусмотренных никакими правилами.

И мы сидим — двое.

— Ты совсем не реагируешь на мужиков, что ли? — Аквалангстарается вывести меня из летаргии.

— Совсем. Но мы ж договаривались... что будем только друзьями...

— Да у меня для тебя и х.я нет! Как договорились.

Я киваю. И хорошо, что нет.

С возрастом у меня становится всё больше друзей-мужиков, и всё меньше меня интересует их х.й.

Как правильно говорит Маринка: «А чего мы там ещё не видели?». Всё видели, всё знаем.

Наверное, поэтому друзей много. А влюбиться ни в кого невозможно.

*

Утром я внезапно нашла поясок от своего любимого халатика.

Потеряла его давным-давно.

Халатик за это время много раз прогнала в стиральной машине. Но он ещё казался мне привлекательным.

И только приложив к нему ни разу не стиранный и первозданный поясок, поняла... Как изменился тот первоначальный цвет. Как выцвел, полинял и загрязнился.

И вдруг я почувствовала себя таким же халатиком.

Если приложить ко мне лоскут из юности, то станет видно, насколько я уже не та.

*

— Ты будешь ещё пить?

— Нет.

— Кушать?

— Нет. Лучше погуляем.

Снег сыплется на волосы, опять холодный снег.

— Я куплю тебе платок цветастый в переходе.

— Зачем? Я всю зиму без шапки хожу и не мёрзну, а сейчас — весна.

Акваланг останавливается и, глядя мне в лицо, спрашивает:

— Хочешь, я поеду в Москву и убью этого козла, из-за которого ты грустишь?

— Нет. Не хочу. И ты не парься из-за своей англичанки, забудь её нафиг.

— Тогда пошли бродить по городу!

— Пошли.

— Я покажу тебе такие классные места. Питер большой, ты многого не видела.

*

Наверное, можно остаться всю жизнь нетронутым и нетускнеющим, как поясок от халата. Если тобой не пользуются. Если ты не пользуешься.

А можно жить — и крутиться в центрифуге. Но становиться старым и застиранным.

Я застиралась. Но не жалею. Пусть. Нас много таких ходит. И парами — тоже.

## 7

Маринка внезапно заболела раком. Быстро, очень быстро стало лететь время для неё.

Всё реже стали наши встречи.

Я купила ей лучший букет белых роз на Московском вокзале.

«Сапсан» из Москвы, десять утра, второй вагон,  я ужасно волнуюсь — почти год не виделись.

Но зря, у Маринки слегка отросли волосы, она пополнела, совсем не страшная, не раковая, а тёплая и пухлая, живая, немного плачет, мы давно не виделись, не обнимались.

— У тебя волосы отрасли.

— Скоро опять выпадут, Юль. Химия в понедельник начинается. Врач честная, сказала, что метастазы в лимфоузлах, четвёртая стадия рака, надежды мало.

Я вздыхаю, не зная, какие слова говорят в таких случаях.

— Не утешай. Я уже не боюсь рака. Потому что живу с ним.

*

Ищем наш китайский ресторанчик «Джун Го» на Суворовском, 2.

— Неужели его закрыли?

Два паренька курят на порожках.

— Уже несколько месяцев как. Теперь тут стриптиз-клуб.

— Пошли в шашлычную напротив, лень искать что-то другое.

— Давай закажем хамон, узнаем, чего ест гнилая интеллигенция.

Официант:

— Блюд арабской кухни нет.

— Не суждено нам попробовать. Санкции.

— Марин, а что врачи говорят?

— Говорят, что могу прожить от двух месяцев до двух лет, если удачно химию подберут.

*

Пошли с Маринкой тратить деньги в торговый центр.

— Теперь у меня есть белые тапочки со стразами.

Маринка смотрит на свои новые босоножки, купленные на Невском.

— Сентябрь уже, зачем тебе босоножки?

— Ты думаешь, я до следующего лета не доживу? — неожиданно вздрогнула Маринка.

— Нет, ты что! Просто осень задолбала. Холодно.

*

Миринка в Питере проездом, вечером у неё поезд до Таллинна. Нагулявшись по городу, сидим в пивнушке возле вокзала.

— Пожалуйста, подайте рублик, — просит попрошайка.

Марина даёт сто.

— А орешков отсыплете мне? — продолжает клянчить.

Отсыпает.

— А пожить у вас в квартире можно?

Маринка смеется:

— Я сама снимаю однушку, и со мной дочка, зять и собака...

— Понятно.

Попрошайка отходит.

— Юлька, возьми тысячу, детям вкусного купи, скажи, что от меня.

— А ты знаешь, Дарька до сих пор с твоим мишкой олимпийским спит.

— Хочу повидать твоих мальчишек. Но сейчас скорее в Таллинн надо, там моя семья...

— Марин, за доченьку твою, чтобы роды были лёгкими, скоро ведь родит.

— Знаешь, жизнь женщины прошла зря, если у неё нет внуков.

Три розы, что я купила Маринке, мы оставили у памятника воинам 1914 года на Витебском вокзале.

Три вагона. Короткий поезд до Таллинна.

Короткая жизнь. Такая длинная.

Я осталась на снимке в Маринкином планшете, уткнувшаяся носом и губами в её щёку.

— Ну вот подумают, что мы лесбиянки.

— Пусть думают.

## 8

Димка и Марина помирились.

Он её поддерживал, узнав, что у неё рак. Она зла на него тоже не держала.

— Да я готов на колени упасть перед ней и поклясться, что не было у меня тогда ничего с той Катей! — говорит мне Димка.

— Да не надо никаких коленей, Димка, сейчас не до того...

Мы, как встарь, по Питеру втроём гуляли.

— Зайдём на Невском в кафетерий, съедим по пироженке? — улыбнулась Маринка. На ней был парик, и она была в нём даже красивая.

Димка радовался, что тащит нас обеих под руки. И снова мы друг друга утешаем.

Оказалось, что Димка опять пострадал от бабы. Познакомился с молодой проституткой в баре, приголубил, повстречался с ней месяц.

— У нас с ней только разговоры по душам, больше ничего и не было. Мне надо, чтоб меня любили. А она не сможет. Но что-то жалко стало мне эту девчонку, привязался... Заблудшая душа. А тут позавчера, упахавшись за ночь на работе, шла она мимо моего дома и попросилась зайти выспаться. Пустил. Приставать не стал, уложил её, укрыл одеялом, сидел, молча глядя на неё. Умилялся. Чёлка русая сбилась, длинные ноги, немного похожа на мою жену в молодости. А утром она страшный скандал устроила, что я не захотел её. И сумочка пропала у неё, потерялась по дороге. Она рассвирипела, на меня кинулась, переломала в комнате всё.

— Ужас какой, — жалела я Димку.

— Дурак я? Вечно оправдываюсь перед бабами, не вру им. А всё плохой. Видать, никогда мне не найти такую, как моя жена, такое только раз посылается — женщина, с которой можно прожить всю жизнь. Больше уж не будет.

— Да, Димка, тяжко тебе, — после рака Маринка охладела к мужикам настолько, что только сострадание к ним и испытывала. Две операции, мучительные курсы химиотерапии. — После всего, что я насмотрелась в больницах, какие это мелочи — кто с кем, когда... и вся эта любовь, всё кажется мне тусклым.

Обнявшись, мы втроём шатались по городу, а потом заночевали у Димки, как в первый раз. Он на полу, мы на его широкой кровати.

И всем было тепло, смеялись, перед сном выпили Маринкину настойку на кедровых орешках, она всегда её привозит.

— Бабы и мужики приходят и уходят, а друзья остаются.

Опять эта квартира, окно, из которого выпал Башлачёв. Круассаны Димкиной мамы утром.

— Кисмет.

Судьба? Наверное.

## 9

Зима лаконична. Она упрощает рисунок жизни.

Сон и короткая дорога до работы. Обратно — та же самая дорога, сон.

А дома всё расставлено по осени. И будет до весны. Без перемен.

Этой зимой молчало всё. Жизнь. Люди. Небеса.

И я уже не спрашивала. Потому что сотни раз спросила.

Ответы мне не выдавались.

И я ходила взад-вперёд, чтобы занять мозги и ноги.

Из города в город, с вокзала на вокзал. Из дома до работы. И куда глаза глядят.

*

Внезапно я поехала в Москву к Маринке.

Она безвылазно лежала на нефрологии в Боткинской больнице.

Раковая опухоль перегородила ей чего-то в почках, и внутрь почек ей вставляли стенты, чтобы моча стекала. Реально я увидела трубочки, торчащие из тела, и на конце — мешочек для мочи.

Моча была с кровью.

Маринка бледная. С отёкшими ногами она расплывалась на койке.

Моё сердце сжалось, видя, как безразлично вываливается из больничной рубахи её грудь.

Маринка так любила мужиков.

Офигеть, как она их любила.

Она любила их как саму жизнь.

Но сейчас она совсем не вспоминала про них.

— Купи мне молока и булочку. Очень хочу свежую булочку. И колбаски варёной.

Я пошла искать магазины возле Боткинской больницы.

Раньше Москва мне казалась чем-то замечательным.

Раньше это был город, в котором я любила. Теперь это был просто большой город, в котором я не любила никого.

Врут, что любовь не проходит. Проходит. И ещё как. Не проходят рак и смерть. А любовь растворяется слезами в земле, снегом на ладони. Фигнёй в голове.

Выйдя из больницы, я долго бродила по району, пока не нашла, где ж нарезают колбасу.

Купила «докторской Рублёвской». Молока, булочек каких-то.

Свалила всё на тумбочку перед Маринкой. Она отодвинула постную кашу.

— Не могу видеть больничную еду.

Маринка жадно откусила колбаски.

Её лысая голова и личико и сейчас были красивы.

Улыбаюсь. Вспоминая, как же быстро она всегда влюблялась.

— Такой мужик. Я бы сразу сунула ему руку в штаны...

Она любила мужчин. Очень любила.

Их было много у неё.

— Буду трахаться во все лопатки, — говорила она, когда ехала к Ове, своему последнему возлюбленному.

Он жил в её доме в Эстонии и сторожил его, безработный красавец Ове. Прекрасный любовник, подающий ей тёплое молоко в постель.

Они лежали у камина, и после операции и удаления всего женского Маринка ликовала — оргазм остался!

Маринка жевала булочку синими губами.

Моча с кровью сочилась в пластиковый пакет под кроватью.

— Давай натяну тебе колготки. Холодно.

— Никак не натянуть, там трубки, лучше укрой меня вторым одеялом. И подоткни.

Я обняла её. Поцеловала в шею.

В колготках натянутых чуть выше колен и без трусов, Маринка была такой живой и тёплой.

А врач на обходе говорил чего-то про повышенный креатинин и жуткие лейкоциты.

— Хочу домой.

Маринка погрустнела. За окном шёл снег. И все больные в палате смотрели в окно. На этот белый снег. Который засыпал и меня, когда я ходила по Москве, холодной и неуютной.

Все города без любви — неуютные.

Но возле Маринкиной больничной койки мне было хорошо.

— В твои годы я еблась во все лопатки, — говорила Маринка. — А ты всё воздыхаешь, не пойми о чём.

Я кивала. Не пойми о чём.

Сдвинув стулья, я расстелила на них больничные одеяла и легла.

Мы говорили тихо, вспоминали.

— Ове не звонит?

— Звонит. Но я не отвечаю. Он в запое, за домом моим не следит, баб туда водит. Соседи рассказали.

Не проходит рак. А любовь проходит. И ты остаёшься наедине со своим повышенным креатинином. Трубками из почек, кровью в моче. И простыми желаниями.

Хочется колбаски, булочки.

— По внучке скучаю. Она такая родная. Завтра ей будет годик.

— Может, тебя выпишут?

— Вряд ли. Ты подложи мне под спину подушку. Я посидеть хочу.

Маринка уже не встаёт, слабость, низкий гемоглобин.

Но посидеть немножко она может. Пару минут.

— Кружится голова. Сейчас принесут мне кровь переливать.

Маленькие мешочки с кровью.

Один медсестра протягивает мне.

— Грейте.

Я не понимаю.

— Прижмите кровь к телу, её надо согреть до комнатной температуры.

Я сунула мешочек под кофту, прямо к горячей коже, к животу.

— Вот и я пригодилась. Грею тебе кровь.

Кровь перелили.

На пустых мешочках — застыли красные рисунки.

Я совсем не хочу умирать.

Я не хочу, чтобы умирала Маринка.

Но как же холодно и неуютно.

Нас держит здесь вот эта красная водица. Нас держит здесь желание дожить до самой капельки последней...

— В капельнице кончилось лекарство!

Жму кнопку вызова медсестры.

Маринка говорит:

— Мужики — зверьки. Я так и относилась к ним. И с Ове. Забавный он, но разве можно с ним серьёзно. Они же как зверьки. Кто разгадал мужиков, тот перестаёт о них думать.

Не проходит рак, не проходит моча. А любовь проходит.

— С вещами на выход.

Это уже мне. Стемнело. Я целый день была в палате у Маринки.

— Убери остатки молока в холодильник, завтра попрошу соседку мне достать.

Соседка ходит потихоньку по палате.

Она и провела меня к Маринке. Она же ведёт обратно путаными коридорами на выход.

В Боткинской больнице я оставила Маринке на окошке розы. Купила их, пока искала молоко.

— Ой дорогой букет, — ворчала я на продавщицу.

— А вам куда?

— В больницу.

— Так подешевле сразу и завянут. А эти долго простоят, зачем вам огорчать подругу?

— Тогда давайте дорогие.

И те, и эти, все завянут. И мы. Не проходят только рак и смерть. Всё остальное — проходит. Снег, мужчины, и во все лопатки...

Кто разгадал жизнь, тот перестаёт о ней думать. Я перестала.

## 10

Между людьми возникают сцепки судьбы, необъяснимые, но зачем-то нужные.

У нас никогда не было треугольника — я, Маринка, Димка Акваланг — мы просто три точки, которые можно соединять как угодно. Но такие линии не рвутся. Разве что со смертью.

Димка как в воду глядел:

— В следующий раз уже встретимся все вместе на Маринкиных похоронах, — сказал он мне по телефону.

— Типун тебе на язык.

Вот и встретились.

Осталось только две точки — он да я. Печальная прямая, а не многоточие.

Маринка всегда просила — напиши обо мне.

Маринка, я написала. У твоей внучки — твои глаза. Всё не зря. И я тебя люблю. Кисмет.

**Маргарита Пальшина «Фигуры памяти»**

Две столицы:
Москва и Санкт-Петербург.
Два века: 1905-1918 гг. и современность
Две истории любви и связь поколений…

***Роман о возможности берега,***
***о счастливой геометрии судеб,***
***о любви и одиночестве, о мире и войне.***
***О современных романах,***
***которые позабудут,***
***и несгораемых письмах в грядущее.***

ЛИТЕРАТУРНОЕ zaza ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

# Альма Наивны. Восемь моих стихов

Альма Наивны — псевдоним профессионального музыканта из США, штат Вирджиния. Высшее образование получила в одной из лучших российских консерваторий. В России Альма Наивны училась и работала в Ростове-на-Дону,
Морозовске, Ярославле, Новгороде.
В США профессиональная деятельность связана с миром оперы и духовной музыки.

Альма Наивны пишет стихи с 2015 и публиковалась в альманахе "45 параллель" (2015, 2016), на осень 2016 запланирована очередная публикация.
Также публиковалась под псевдонимом Ано Нимус.

*Что ж, бывает так, наверное: открыла Альма Наивны крышку рояля или ноты с партитурой оперы, а там — ожерелье древней работы: филигранное, хоть сейчас надевай, носи всем на зависть и удивление. И не заметит никто, что там и здесь выпала пара звеньев, сползла позолота, слегка опростив Совершенство. А нашлось оно ожерелье-восьмистишие всего два года назад, когда села Наивна однажды к столу, да и нанесла на бумагу его очертания, эскиз, одна поэзия и все... В свободном полете, с легким дыханием, не прерванным ни запятой, ни точкой...*

*Наташа Борисова*

1

NEWS

Потухло солнце занавес до пят
Сокрыто все что было разум
И что невооруженным глазом
Лишь тот увидит что распят
Со сцены своего креста
Тот что повис от боли скрючен
И руки выдрал из уключин

Дышать внезапно перестав
И мальчик в стоптанных сандалиях
Облизывая сладость враз
Запомнит жесткий взгляда страз
И запах жжёного миндальный

2

ИЮЛЬ 2016

Уже июльский шмель велюровая шёрстка
Уже пора шептать вечернюю молитву
Уже пора точить Оккама бритву
Григорианский календарь в потёках воска
Айфонным оттиском запечатлеть мир в вере
Но всё всплывает сквозь черты жёсткость
Не должно множить сущее нет звери
Корябаться ещё лет шесть жесть в кость
В испанский сапожок до онемения
Огрызок сердца шнуровать вослед
Что ж эсмэсками в формат и бред
Не для тебя но всё же тем не менее
Точить острее бритву напевать в рэп
Где обертоновая резь вверху в свисте
Мой друг Оккам мой дух слеп
Sanctifica me Anima Christi

3

А ЧТО ДАЛЬШЕ

А что же дальше будем ли меняться
И стану ль причислять к уликам
На слое серебра двуликом
Твоё лицо в боль аберраций
И криминал для часовой пружины
Или сигнал что гонит сателлит
Тебе вернет мой позапрошлый вид
И будем притворяться живы
А что же дальше гороскоп невинный
И по закону греческих трагедий
Несовпадающих часов причины
Без рук на злом велосипеде
И ведь всего-то лишь невстречи
Часов твоих сплошная спешка
Рождений наших опрометчив
Год что же что не мешкай

3 .

Солнце падает в океан
Мрак как лезвие гильотины

И растянут во весь экран
Мир затих как квартал пустынный
Кофе булькает пар стремит
Что ж Вселенную приберечь
Я сегодня умру от обид
Немоты темноты невстреч
Но серебряный тайный зуммер
Дезертиру врастает в стены
Мир надёжен красив не умер
Не обманный многозвенный
И внизу и на куполах
Обретаемый всё же всё же
Святый Крепкий Святый в веках
Святый Бессмертный Боже

## 4

## KANT 2

Когда же все они уходят
Давай уйдём с тобой
Присутствия эффект живой
Оставив вроде
Воображая как планеты кружатся
Мираж земных потерь
Куда же нам куда теперь
Шепча от ужаса
Вкруг острых заливных идей
И безотчётных мудрых
Там Бог по виду иудей
Или Аллах без пудры
И что же что ведь через миг
Через сейчас
Молитвы в воздух напрямик
Всплывут качаясь
Раскаянье стальных клыков
На мёртвом тоне
Но мы ведь правда не потонем
Средь облаков

## 5

## ВАН ГОГ

Шафрановое солнце по Ван Гогу
Сквозь дым от грозовых помех
Здесь выход или знак в дорогу
И сторонюсь вас всех
Вскрываю тонкие миры под кистью
Под жест руки к глазам к лицу
Обиды сумрачные листья
Дорожный знак пути к концу

Изогнутые звуки по спирали
Крик ужаса из полотна в анфас
Я умираю еженощно от печали
И сторонюсь всех вас

6

ПУСТЬ

Что ль чувства выжечь наконец
Сгинь в вечность слёзная повадка
Пусть срежет немоты венец
Гадалка что на деньги падка
Иль амнезию приобресть
И волны смоют горизонт
И по воде благая весть
Гомер и слово сквозь озон
И радость пенная сквозь волны
И Родина почти что Русь
И вдох свободный легкий полный
И все что будет будет пусть

7

ПРОСТИ 3

Под черепашьей кожей мнится враг
Материя вползает во главу вторую
Я время до сих пор ворую
Для сущности о десяти годах
Я испускаю тихий низкий звук
Нашаривая там знакомый профиль
Я ваш невольный Мефистофель
Стрелявший в вас из всех базук
Ни чуду ни спасенью прорасти
Пропишешь мне свинец и ураганы
Мой исповедник окаянный
Свидетель запоздалого прости

8

ORFEO

Твои повадки рук и глаз
Лицо и голос унесу с собой
И там за жирною чертой
Звучаний музыкальных фаз
Шкатулки что из Поднебесной
Настроенной в бемолях тьмы
Как бы впервые я ты мы
Сойдёмся вне Земли нам тесной

И за спиной лишь мрак один
Бегу в стремлении настичь и
Коснуться словно Евридиче
Но как Орфей взываю погоди

**Виталий Ковалев, Олеся Янгол. Побережье наших грез. Повесть в новеллах**

Продолжение. Начало в №№ 22, 23, 24, 25, 26

**Ковалёв Виталий Васильевич**, 1957 г., художник, г. Юрмала, Латвия. С 1981 по 1991 работал главным художественным редактором в издательстве «Zinatne» Академии Наук Латвийской ССР. Как художник-иллю-стратор сотрудничал с рижским книжным издательством Polaris. Как художник работает в области графики, пастели и дизайна световой рекламы. Имеет публикации рассказов и повестей в латвийском журнале Eva&Adam, «Волга XXI век» (Саратов), «West/East», Лос-Анджелес, Калифорния, «Приокские зори» (Тула), «Сибирские огни» (Новосибирск). Был членом редакционной коллегии литературного журнала «Волга XXI век».

**Олеся Янгол (Чмыр Олеся Владимировна), 1973,** художник, г. Юрмала, Латвия. Работает в области станковой живописи и оформления книг. Публиковалась в журналах: «Приокские зори» (Тула, Россия), «Волга XXI век» (Саратов), литературная газета «Изюм» (Тула), «Чешская звезда» (Чехия), «Север» (Карелия). Член редколлегии журнала «Приокские зори» (Тула). Является одним из авторов двухтомного сборника «Мантрици» (изд-во «Карпатська вежа», Украина). Также, в сборник включены иллюстрации и обложка к книге.

*Два автора. Он и она. Однажды решили — а не написать ли нам рассказ, а может быть, повесть, а может, целый роман? Сначала сделалось смешно, потом страшно, но… Строки рождались одна за другой. Переплетались мысли, идеи. На пути встречались тупики и глухие стены. И все же…*

*Через два года они воскликнули — кажется, мы написали повесть! И мы сделали это вместе…*

*Авторы*

## 26
## Настоящая осень

Глаза Дианки раскрылись сами собой. Солнечный свет, льющийся в комнату сквозь играющие на ветру листья, разбудил с легкостью, которая случается, пожалуй, только летом. Несмотря на осень, и подступающие холодные дни, нежиться в кровати не хотелось. Обещанная Интой поездка будоражила воображение. Скорей бы уже собраться, и ехать, ехать, набирая скорость, любуясь новыми красками, которые щедро расплескала осень повсюду; и на деревьях, и на полях и на небе.

Дианка с минуту еще полежала, наблюдая, как ветер за окном охапками срывает березовые листья и кружит их, словно золотые снежинки, рассыпая по пожухшей траве. Она громко, певуче зевнула, потрепала лежащего рядом длинноухого плюшевого зайца, и вскочила с кровати.

— Пап, мы все нужные вещи взяли? Мы же на целых два дня едем.

Она вбежала в мою комнату и заглянула в рюкзак, который собирала весь вчерашний день.

— Я, Диана, не знаю, что нам надо собирать. Инта же не раскрывает свой секрет. И неведомо, куда она нас повезёт.

— Папа, есть вещи, которые нужны всегда и везде. Ладно, предоставь это мне. Я почти всё уже собрала. Смотри!

И Диана склонилась над раскрытым посреди комнаты рюкзаком.

— Так, — произнесла она задумчиво, — масляная лампа, моток бельевой верёвки, твоя походная фляга… Чего-то не хватает. А!.. Спички!

— И зачем нам спички? — поинтересовался я.

— Папа, — укоризненно посмотрела она на меня. — Да это же важность первой необходимости!

— Замечательная фраза, Диана! Я даже сейчас её запишу, а то забуду. Знаешь, не набирай много вещей. Я прихвачу деньги и всё необходимое мы купим.

— Инта сказала, что мы поедем в дикие места. И твои деньги нам там не помогут.

— Интересно, где же она найдёт дикие места?

— Инта никогда не обманывает. Сказала, значит найдёт.

— Ну что же, тогда прихватим и лопату. Вдруг клад придётся откапывать.

— Очень хорошая мысль, папа.

Зазвонил телефон, и Дианка тут же схватила трубку. Звонила Инта.

— Привет! — обрадовалась ей Диана. — Мы уже всё собрали. У меня целый рюкзак получился. Ну… я взяла ту старинную лампу, спички, консервы, флягу… Всего и не перечесть. Сейчас ещё лопату в багажник положу.

Диана повернулась ко мне и довольно заявила:

— Папа, Инта сказала, что все эти вещи нам в поездке очень пригодятся. Что? — спросила она снова в трубку. — Топор прихватить? Хорошо. Прихватим. Косу не надо? У нас есть очень хорошая коса. Ладно, не буду. Мы скоро заедем за тобой. Будь готова.

— Ну, что ещё сказала Инта? — поинтересовался я.

— Инта сказала, чтобы мы взяли больше тёплых вещей. И обязательно плащи. А то, к вечеру дождь будет.

— Это я и сам чувствую. Интересный мы выбрали момент для поездки.

Когда мы укладывали вещи в багажник машины, выглянуло солнце. Влажная листва, тусклая ещё несколько минут назад, зажглась, словно подсвеченная золотым светом. Солнце пригрело промёрзшую за ночь траву. От стволов деревьев шёл пар. Казалось, что они дымятся.

Когда садились в машину, с неба послышались отрывистые, скрипучие возгласы. И тут же над вершинами деревьев, высоко-высоко в небе показался клин огромной стаи. Диана, держась рукой за дверцу машины, задумчиво смотрела на улетающих птиц, потом села в кресло и пристегнулась.

Я чуть помедлил, припоминая, всё ли закрыто и выключено в доме. Только, когда выехали на шоссе, Диана заговорила.

— А вот интересно, — произнесла она, — почему, когда я смотрю на улетающие птичьи стаи, у меня мурашки бегут по спине?

— Бегут?

— Всегда. А вон, гляди, ещё одна стая. Она ещё больше.

— А ты заметила, Диана, что самолёты сейчас не летают?

— А и вправду. Точно! И вчера, когда вечером гуляли, ни одного не было слышно. Так здорово было — только звёзды и стаи-скрипучки.

— Вот, потому и не летают, что всё небо в птицах. Им сейчас дают спокойно пролететь.

— Какие люди, всё-таки молодцы. О птицах думают.

Я не стал Диану разубеждать, говоря, что скорее думают о безопасности самолётов.

— А у тебя мурашки не бегут? — поинтересовалась Диана.

— В последнее время… они что-то бегут очень редко. Но в отлёте стай, определенно есть что-то волнующее.

— А вот, почему? — допытывалась Диана.

— Над этим надо подумать, — сказал я.

— Я тоже подумаю. И, когда пойму, скажу тебе… А вон, Инта стоит.

Инта стояла у своего дома, в джинсах, красной куртке и с небольшой спортивной сумкой через плечо.

— Ну, готовы к путешествию? — спросила она, садясь в машину.

— Мы усегда готовы! — ответила Дианка, пытаясь скопировать голос Папанова из любимой кинокомедии, и быстро перебралась к ней на заднее сиденье.

— Так куда мы едем? — спросил я Инту.

— Я укажу дорогу. Пока, езжай прямо. Вы мне, однажды, показали конец лета. Я хочу показать вам настоящую осень. Держитесь, ребята, это будет брутальная поездка.

Инта загадочно улыбнулась, и чуть прищурила глаза. Всякий раз, в ее прищуре я замечал что-то новое для себя, словно читал интересную книгу. То видел неприкрытую веселость, то иронию. Часто своим взглядом она ломала комедию, словно пыталась выдать себя за кого-то другого, но всякий раз предательские морщинки в уголках глаз выдавали ее настоящесть, и я вдруг ловил себя на мысли, что она чем-то близка мне, как бывают, близки лишь старинные, закадычные друзья. А иногда, мне казалось, что мы бесконечно далеки и я совсем терялся и чувствовал, что не знаю настоящую Инту.

— Сегодня от деревьев, когда выглянуло солнце, шёл пар, — сказала ей Диана.

— Я видела. Очень красиво.

— И птицы улетают. Стая за стаей. Я сейчас как раз папе рассказывала, что у меня от этих стай почему-то мурашки  бегут. Ты не знаешь, почему?

— Мурашки! О, это удивительное чувство —  мурашки! Как давно я их не ощущала! — весело сказала Инта.

— Ты совсем, как папа. Не понимаю, как вы оба живёте — без мурашек!

— Не знаю, Диана. Может, я давно не смотрела на небо. Или сплю. Люди, иногда устают, Диана. Наверное, мы с твоим папой очень устали.

— Ты же только что посмотрела на небо, — Дианка хохотнула, — и всегда ты смотрела на небо. Даже тогда, когда мы с тобой первый раз на пляже познакомились.

— Я смотрела на небо? Слушай, Дианка, ты уверена?

Сейчас они обе явно дурачились. Дрались локтями, и щекотали друг друга. Я следил за их возней в зеркало и вдруг в этот самый момент почувствовал, как эти самые мурашки пробежали по спине. Ох, Дианка!

— И совсем ты не спишь. А, если спишь, то я тебя разбужу, — сказала Диана и стала тормошить Инту, дёргая за рукав куртки.

— Уже разбудила, — засмеялась Инта. — Мне очень хорошо с вами. Или, можно сказать ещё так — там, где вы, там очень хорошо.

И тут же, тронув меня за плечо, Инта сказала:

— Возле тех домов надо повернуть налево, а потом всё время прямо. Ехать нам долго.

— Смотрите, мы едем прямо на дождь, — показала Диана на темнеющее над шоссе небо. Тут же заморосило, и я включил дворники.

— Это как раз то, что надо! — довольно сказала Инта. — Прочувствуем осень на полную катушку.

— До мурашек, — добавила Дианка.

— Ох, ребята! — сказал я. — Мне хочется досмотреть это кино до конца. Похоже, будет что-то интересное.

Диана смотрела в окно, а по лицу её скользили, ниспадая пятна света и тени от потоков заливавшего стекло дождя. Потемнело. Диана посмотрела на Инту, взгляд её скользнул по светлой шее, локонам волос и остановился на её янтарных серёжках. Казалось, что в глубине продолговатой янтарной капельки горело крохотное солнце. Диана зачаровано смотрела, и казалось ей, что нет в мире ничего красивее этой крохотной искорки древнего солнца сохранившейся в глубине янтарного камня.

— Инта, а разве там, где мы живём, не осень? — спросила Диана, уютно привалившись к её локтю.

— Конечно, осень, — сказала Инта. — Но мы едем в самый её эпицентр.

— Папа, ты слышал? Мы едем в эпицентр.

Я на миг оглянулся назад. Инта сидела прямо за мной, я не мог видеть её, но видел руку, поглаживающую Дианку по волосам.

— Папа, включи музыку, — попросила Диана.

Я включил радио, и звуки музыки слились с дробным шумом дождя по крыше и ветровому стеклу машины. По обе стороны шоссе тянулись монотонные, затянутые дождём полосы соснового леса.

— Как долго ехать до эпицентра? — спросил я Инту.

— Довольно долго. Бензина у нас достаточно?

— Полный бак, — ответила за меня Дианка. — Вчера заправились.

— Тогда, полный порядок. Главное, нам доехать. А там не пропадём. Это, Диана, будет экстремальное путешествие. Твой папа экстрим любит?

— Не знаю. Папа, ты любишь экстрим?

— Даже не знаю, что сказать. Давайте отвечу на это после нашей поездки.

По радио зазвучала песня «Эти глаза напротив» в исполнении Ободзинского. Впереди мелькнул знак ремонта дороги, и колёса машины загремели по рубчатой поверхности срезанного асфальта.

— Очень мне нравится эта песня, — сказал я, когда мелодия закончилась.

Инта промолчала.

— А тебе? — спросил я её.

Она поджал губы.

— Не нравится? — удивился я.

— Ну, ничего, — сказала она, обнимая Дианку. — Но не нравится мне там слово — «супротив».

— Разве там есть такое слово?

— Ну, как же! Вот — «Пусть я впадаю, пусть. В сентиментальность и грусть. Воли моей супротив… эти глаза напротив...»

— Мне это слово не мешает. Песня очень хорошая.

— Хорошая-хорошая, — с усмешкой согласилась Инта, — но… не мой формат.

— Песня классная! Она выразила своё время. Дух отношений между людьми. Это были времена, когда мужчины обращали внимание на глаза женщин. Я недавно видел опрос мужчин, разных национальностей, в котором им было предложено сказать, что они считают самым привлекательным в женщинах. В этом перечне были и грудь, и ноги и бёдра и попа и живот, но, поверь, там не было глаз. Похоже, что сейчас это фактор незначительный.

— Так всё и есть. Мужчинка клюёт на то, что ты перечислил. Если бы на первом месте в предпочтении мужчин были глаза, то женщины бы их заливали силиконом. Представляешь, какие рыбки ходили бы!..

И Инта с Дианкой засмеялись.

— Ну вот, папа, и ты улыбнулся, — сказала Диана, — А то какой-то грустный весь день.

— Нет, Диана, я не грустный. Просто… Работа немного застопорилась. Книга забуксовала.

— Сюжетный тупик? — поинтересовалась Диана.

— Да. Что-то пошло не так.

— Кажется, кто-то из русских писателей (Чехов, кажется?) говорил, что написать можно абсолютно обо всём, — сказала Инта. — И предложил на спор написать рассказ о чернильнице, которая была перед ним на столе. Не знаю, может, я и путаю что-то.

— Да, примерно так и было. Написать можно обо всём. Главное не тема и даже не предмет изображения. Главное то, что всем этим ты хочешь сказать.

— Папа, а про нас тоже можно написать книгу? — спросила Диана.

— Конечно! Можно написать отличный роман.

— Только про меня там писать не стоит, — заметила Инта.

— Почему? — оглянулся я на неё.

— Сейчас, после развилки, налево,  — тронула она меня за плечо. — Почему?.. Ну, это как-то банально будет. Встречается он и она и, конечно же, начинается предсказуемая мелодрама.

— Нет, Инта, мы бы обманули ожидания читателей. У нас обязательно был бы неожиданный поворот.

— Придумала! — со смехом воскликнула Инта. — В тот момент, когда все бы думали, что мы станем любовниками и поженимся, я бы сделала операцию по смене пола и стала бы твоим братом. Согласись, что такого ещё не было в литературе.

— Да, такого ещё не было, — согласился я. — Ну и фантазия у тебя!

— А ты думал! Я, между прочим, искушённый читатель. Давай сейчас проверим, насколько у тебя феноменальная память на тексты.

— Давай. Только тексты выбирай значительные. Я ведь не всё на свете читал.

— Да-да, это известная книга. Я её недавно перечитала. Мне показалось забавным словосочетание — «толпа цилиндроносцев». То есть — господ в цилиндрах.

— Это легко! Не помню про «толпу» и, как там было дословно, но слово «цилиндроносцы» употребил Мопассан в «Монт-Ориоле». Отличная книга!

— Да, выиграть у тебя нелегко! Слушай, ты мог бы на спор столько денег выиграть! За тебя можно смело выходить замуж. С тобой с голоду не помрёшь.

— Приберегу это на тот случай, если меня перестанут издавать.

— А тебе цилиндр бы пошёл, — задумчиво сказала Инта. — Правда, Дианка? Видела такие шляпы?

— Видела сто раз в кино. Нет, не хочу папу в такой штуке.

— Да, согласился я с Дианой. Цилиндр это не моё. В Париже, в те времена, я бы выглядел как-то иначе.

— О, знаю-знаю, перебила меня Инта. — Ты бы жил в мансарде. А я, была бы натурщицей у какого-нибудь художника, но ты увёл бы меня от него. Жили бы мы в твоей мансарде над черепичными крышами Парижа, я бы готовила еду, стирала твои штаны, а ты бы писал великий роман. И мы бы обязательно, дружили с Ван-Гогом и, ни в коем случае, не дали бы ему застрелиться.

— А, если бы мы жили, скажем, в Японии? — спросил я.

— В Японии ты был бы самураем. А я гейшей. Но ты был бы бедным самураем, и выкупить меня не мог. Однажды, тёмной ночью, ты бы меня украл. А потом мы долго бы шли, пока не добрались до какого-нибудь островка. Там мы построили бы крохотную хижину у подножия горы, под высоким бананом. Я бы готовила пищу, сажала рис, расписывала веера, а ты бы писал хокку.

— Потрясающе, Инта! Пожалуй, возьму тебя в соавторы. Какой кладезь сюжетов!

— А, правда, Интик, перебирайся к нам. Будете с папой книгу писать, — обрадовано оживилась Дианка.

— Лучше я его книги буду иллюстрировать, — сказала Инта Дианке, — И зачем перебираться к вам? Рисовать я могу и у себя дома. У меня отличная мастерская.

— Но ведь с нами интереснее!.. Инта, а если бы папа жил… Папа, как называются те горы, что мы видели недавно по телевизору?

— Гималаи, — подсказал я.

— Вот! Инта, а если бы папа жил в Гималаях?

— Дианка, я сегодня и так разболталась. Ты особо не обращай внимания, — сказала она, тронув меня сзади за плечо. — Часто, то, что я говорю, это так — упражнение для рта.

— Что ты, меня это очень повеселило.

— Ну, пожалуйста, Интик! В последний раз. Если бы он жил в Гималаях…

— В Гималаях твой папа был бы снежным человеком. А я — снежной бабой. И жили бы мы в пещере. Я бы хранила огонь, готовила пищу, а твой папа… писал бы каменную книгу.

Я улыбнулся, и, посмотрев в зеркальце над головой, увидел, что Инта тоже улыбается, глядя в окно на лес, дымчатый за пеленой дождя.

Мы свернули на узкую грунтовую дорогу. Лес, нависая над нами тяжёлыми лапами елей, тянулся по обеим её сторонам. Под густыми ветвями царил сумрак, в котором виднелись, поросшие мхом, поваленные деревья, заросли папоротника и угадывался тёмный провал лесного оврага.

Дождь усилился. Дворники не успевали сбивать воду с ветрового стекла. Я остановил машину.

— Ну, как погодка? — спросил я Инту.

— Самое то. Правда, Дианка?

— Ага, — подтвердила та. — Не хватает только небольшого смерчика.

— Не забуксовать бы, — сказал я. — Тут нас никто не вытащит.

— Мы почти приехали, — отозвалась позади меня Инта. — Минут пятнадцать осталось. Забуксовать тут нельзя, здесь кругом корни. Ещё немного и вы почувствуете настоящую осень.

Дианка неожиданно чихнула и потёрла ладошкой свой нос.

— Тебе не холодно? — спросил я. — Инта, как она там?

— Всё нормально. Она у меня тут подмышкой угрелась. Чего это ты расчихалась?

— А просто так. Дай, думаю, чихну.

— Ну, ладно. Еду дальше.

Машина пробиралась всё дальше в лес, петляя по извилистой дороге.

— Папа, мы по таким дорогам ещё не ездили. Правда? — сказала Диана, — Как тут интересно! И грибов, наверное, навалом… Папа, а что это за железные конусы к стволам приделаны? Ого! Да тут на всех стволах такие конусы.

— Это еловую смолу собирают.

— А зачем? И так много!

— Для чего-то нужна, Диана. Если честно, то я не знаю.

— Давай, папа, один такой конусик возьмём себе.

— Зачем он нам?

— А вдруг пригодится… Инта, а тебе такая смола не нужна? Смотри, сколько её здесь! Вдруг, новый цвет у тебя получится…

— На обратном пути возьмём, — пообещал я.

— Хе-хе! — произнесла Дианка, увидев впереди бревенчатый мостик, перекинутый через ручей.

— Вот это номер! — произнёс я. — Надо бы проверить эти брёвна.

— Вообще-то, мы здесь всегда спокойно проезжали, — сказала Инта.

— И когда ты ездила здесь в последний раз?

— Прошлым летом. Но жители соседних хуторов ездят. Вон же, следы.

Я быстро выбежал под дождь и осмотрел мостик. Брёвна выглядели крепкими, не подгнившими.

— Ну что же, — сказал я, садясь за руль, — попробуем быстро проехать.

— Папа, ты весь мокрый.

Мост мы проехали благополучно. Съезжая с моста, мы въехали в яму полную воды, нас тряхнуло, ветви елей хлестанули по стёклам и крыше. Дианка, встав коленками на сиденье, некоторое время ещё смотрела в заднее стекло на мостик, словно желая убедиться, что он не развалился.

— Совсем уже близко, — сказала Инта. — Теперь раскрою свой секрет. Мы едем на наш хутор. Там давно уже никто не живёт. Когда-то, когда родители были живы, мы ездили сюда за грибами, да и фруктовый сад там большой. На этом хуторе жил мой дед. Это очень старый дом. Дианке на чердаке будет любопытно покопаться. Да и в сарае тоже.

— И мы там заночуем! — радостно воскликнула Дианка.

— Конечно! Любите рыбу ловить?

— Ещё как! — отозвалась Диана.

— В сарае есть и удочки и всё нужное для ловли. Даже сетка где-то была. Утром, если не будет дождя, покажу, какое у нас тут озеро. И лодку у соседей достанем.

— Куда теперь? — спросил я, увидев, что дорога разделяется на две части.

— Направо. Заедем к соседям. Я давно их не видела.

Вскоре, мы подъехали к старому дому, увитому диким виноградом. За домом, между тёмными стволами деревьев, светлело в сгущающихся сумерках, туманное поле. Дождь кончился, только с ветвей, при порывах ветра, летели вниз капли дождя.

Инта вышла из машины и постучала в дверь дома. Ей открыла полная белокурая женщина, в одном халатике и с мокрыми волосами. Она обрадовано обняла Инту и увлекла за собой в дом.

— Хм, старинный дом, — произнесла задумчиво Дианка. — А вдруг, я там, на чердаке, сундук найду! А в нём… Папа, как думаешь, там может быть сундук?

— Всё может быть.

— А с Интой хорошо, правда? — спросила Диана.

— Да. Она прямо, как… свой человек.

— Так она и есть свой человек. Мне она очень нравится.

— Мне тоже нравится.

Дианка, почему-то вздохнула. Я оглянулся на неё.

— Только, наверное, мне она нравится больше, чем тебе, — сказала тихо Дианка.

Дверь дома открылась и показалась Инта с большой корзиной, наполненной свёртками.

— Вы знаете, что я узнала, — выпалила она возбуждённо, усаживаясь рядом с Дианкой, — Идёт ураган! Самый настоящий! Ветер будет до пятидесяти метров в секунду.

— Ничего себе! — воскликнула Дианка. — Папа, а это много — пятьдесят метров в секунду?

— Достаточно, чтобы ломать деревья.

— Значит, меня вообще унесёт на небо, — сделала вывод Диана.

— Теперь, пока не стемнело, едем скорее на хутор. Надо до темноты ещё много дел переделать.

— Каких дел? — спросила Диана.

— Надо всё прибрать, дров наносить. Знаешь, как там холодно! Но растопим печь, накроем на стол и никакая непогода нам не страшна… Там, кстати, света нет. Так что, твоя лампа нам очень пригодится.

— Ты заметила, Инта, как-то так получается, что мы всё время в разные непогоды собираемся вместе, — сказала Диана, то и дело, поглядывая на небо.

— Знаешь, Дианка, кто-то однажды сказал, что близкий человек это тот, с кем ты можешь спокойно помолчать. И молчание это не тягостно. Так вот, я вывела ещё одно правило. Близкий человек это тот, с кем тебе хорошо в непогоду. Правильно?

— Правильно. Интик, я целую банку масла для лампы прихватила, — довольно заметила Диана.

## 27
## Хутор

Хутор стоял на краю большого, холмистого поля. Каменная стена дома, выложенная до верхнего уровня окон из больших камней, светлела на фоне тёмного леса. Выше дом был сложен из почерневших от старости брёвен. Крыша, древняя, крытая толстым слоем камыша, особенно восхитила Дианку. Я остановил машину у самого дома. По небу быстро летели низкие грозовые тучи. Вершины деревьев грозно шумели на ветру. Инта открыла дверь, и мы вошли в дом, подталкиваемые порывами ветра.

— Дианка, давай зажжем твою лампу. Я ещё свечей прихватила, так что, будет светло. Сейчас проверим, все ли окна целы. Надо наносить как можно

больше дров, пока ещё не совсем темно, — повернулась ко мне Инта, — Они с той стороны дома, под крышей. Если что, есть ещё в сарае.

Я вышел наружу и обошёл дом. Лес шумел. Откуда-то сверху донеслись резкие крики птицы. Я вглядывался в небо, надеясь её увидеть, но видел только тёмные клочки низко летящих туч.

Набирая охапку дров, я заметил, что в окне затеплился свет. Дианка зажгла свою лампу. Вот, тебе и «важность первой необходимости».

Я наносил дров, наколол щепы и вскоре в большой, открытой печи загудел огонь. При свете лампы и горящих свечей, прихваченных Дианкой, я смог разглядеть пространство первого этажа большого хуторского дома — крепкий пол из добротных досок, толстый брус, проходящий под потолком через всю комнату и большой стол на небольшом возвышении. В дальнем, тёмном углу, поблёскивали стёкла старинного шкафа, и виднелась крутая лестница на второй этаж.

— Дианка, пока на второй этаж не ходи, — сказала Инта. — Завтра, когда будет светло, всё тебе покажу. А здесь… всё вы и так видите. Вон та дверь в ещё одну комнатку, но она пустая, не жилая. А вон та дверка — туалет. Лет пять назад отец сделал там всё очень даже прилично. Печь согревает там стену и скоро будет тепло. Можно будет и помыться. Я только воды наношу, а то вы колонку в этой темноте уже не найдёте.

— Давай я помогу, — сказал я, беря у Инты из рук ведро.

— И я с вами, — засобиралась Дианка и тут же чихнула в ладошку.

— Нет-нет, — остановила её Инта. — Тебе поручается важное дело — хранить огонь, чтобы он не погас. А мы очень быстро. Только воды наносим.

Мы вышли из дома, и я пошёл следом за Интой, стараясь не споткнуться в темноте. Старинная колонка с изгибисто-витиеватой ручкой была неподалёку от ещё более древнего колодца-журавля. Я едва разглядел его на фоне неба. Между туч, проглянула луна.

— Посмотри, — сказала Инта. — Лунное лицо сейчас совсем лежит! Прямо на девяносто градусов развёрнуто! Я что-то раньше такого не замечала. Спит луна, но продолжает что-то кричать своим раскрытым ртом.

— Я тоже такое не видел. Эх, Дианке бы показать!

— Подожди, у того колодца ещё ведро есть.

Инта шагнула в темноту. Луна снова скрылась за тучами. Я услышал звон цепи колодца-журавля, скрип старого дерева,  и тут же лёгкие шаги Инты. Она повесила ведро на металлическую петельку колонки.

– Теперь до утра нам хватит.

Я качал воду и чувствовал, что Инта смотрит на меня.

— Так интересно за вами с Дианкой наблюдать, — сказала она. — Она тебя любит, но иногда мне кажется, что ей чего-то не хватает… Может, подруги, или сестры. Есть у неё подруга?

— Настоящей подруги у неё нет.

— Как бы она тебя не любила, есть вещи, которые она тебе не сможет сказать. Особенно, когда она станет чуть старше. Скажет это, скорее, своему жабику.

Из-за быстро летящей тучи выглянул край Луны, и её свет озарил покатый склон с высокой, поникшей травой.

— Я у моря живу пятнадцать лет. Именно тогда отец закончил строить наш дом. А до этого, в детстве, я подолгу жила здесь. Мне нравилось это поле и лес даже осенью и зимой…

Видишь вон тот холм посередине поля? Когда была маленькая, любила там играть. Вокруг лес, но он далеко и, когда поднимаешься на тот холм,

особенно чувствуешь огромность неба. Меня, маленькую поражало, что так много воздуха надо мной. Целое море воздуха. Я была совсем маленькая, а уже тогда поняла, как это здорово — глубоко дышать, видеть голубое небо, слышать стрёкот кузнечиков, потрескивание крыльев стрекоз в жаркие летние дни. Наверное, странные мысли для ребёнка. Правда?

— Вовсе нет. Особенно, если ребёнок один, что, порой, бывает полезно для него. Когда человек один, он — настоящий.

Я попытался разглядеть лицо Инты, но увидел лишь крохотные отблески лунного света, блеснувшие в её глазах.

— Хотелось бы увидеть, какая ты тогда была, — сказал я.

— Я тогда была совсем другая. Чистая и безгрешная. Я так изменилась, что мне трудно вспомнить себя прежнюю. Сейчас я другой человек.

— А какая ты?

Инта на миг задумалась.

— Какая я? Если бы я знала. Я знаю только одно — я не могу быть тёплой. Нет, могу, конечно, заставить себя быть ровной, спокойной, но надолго меня не хватит. Я взорвусь. Я, это крайности. А крайность — честнее. И я хочу верить хорошим и добрым словам. И я верю в любовь, я не могу без любви…

Инта повернулась спиной ко мне и пошла к дому — тёмный силуэт на фоне луны.

Когда мы с Интой вошли в дом, увидели, что Дианка возится у печи, пытаясь положить в огонь большое полено.

— Ничего не погасло, — доложила она. — Только, если честно, я очень кушать хочу.

— Сейчас посмотрим, что нам соседи дали. А ты не рано куртку сняла?

— Да тут же теплынь!

В доме действительно стало теплее, а рядом с гудящей печью, так и совсем жарко.

— Этот дом хитро построен, — сказала Инта. — Он, как термос. Чем наполнишь его, то он и хранит. Когда мы вошли, здесь было, чуть ли не холоднее, чем снаружи. Но сейчас мы натопим, и будет тепло до самого утра.

Мы с Интой стали разворачивать пакеты, которыми нас одарили её соседи, а Дианка, освобождённая от обязанностей хранительницы очага, принялась за обследование шкафа. То и дело слышались её возгласы: «ничего себе!», «а это, что ещё такое?!»

— Дианка, иди лучше к нам, — позвала Инта. — Любишь сыр с тмином? А какой чёрный хлеб! Они, между прочим, сами пекут. И колбаса и ветчина!.. Дианка, давай сюда. У меня уже слюнки текут.

— Инта, — Дианка потянула её за рукав. — Смотри, какое громадное увеличительное стекло на ручке. Старинное, наверное.

И она поднесла линзу к своему карему глазу, от чего он стал, чуть ли не в пол головы. Мы с Интой рассмеялись, глядя на такое чудушко.

— Инта, а можно я возьму его себе? — спросила Диана.

— Конечно! Бери всё, что тебе понравится.

Дианка была чутким человеком и, кроме того, не особенно избалована подобными предложениями, и поэтому, она вгляделась в глаза Инты, чтобы понять, не подшучивает ли та над ней. Я понял, что ещё немного, и она положит лупу обратно в шкаф. Инта это тоже почувствовала и сказала

— Дианка, сюда же кто-нибудь залезть может, и всё покрадёт. Так что, если найдёшь что-нибудь интересное, смело бери себе. Пусть у тебя хранится. Так и мне будет спокойнее.

— Я там видела такие кристаллики, как у люстры, — осторожно заметила Диана.

— Я их помню. Пойди, поищи ещё что-нибудь. Всё, что понравится, бери себе. И даже не спрашивай у меня. Чувствуй себя, как дома. Кстати, там должны быть и книги. Есть и ценные. Надо будет всё это забрать с собой.

Потрескивала жаркая печь. Отсветы пламени поигрывали на стёклышках старинного шкафа, пробегали по бревенчатым стенам, тускло отсвечивали на перилах лестницы. Свет лампы на столе освещал нашу трапезу. Дианке хотелось, хоть по чуть-чуть, но всего попробовать.

— Дианка, попробуй эту рыбку. Она называется «луч», — предложила ей Инта.

— Чего-то она на змейку похожа.

— Ну, вот ещё! Миноги же ты ешь. А эта рыба называется lucis. Что-то вроде угря, только небольшая.

Инта из большого, закопченного чайника, разогретого на печи, разлила в большие кружки чай и раскрыла завёрнутые в полотенце ломти яблочного пирога.

— Папа, — сказала Дианка, — а правда, что американцы едят яблочный пирог с мороженным.

— Да. В каком-то фильме видел. Мне кажется, что они не совсем правильно питаются.

— Нет, папа, надо сначала попробовать. А то, вдруг, вкусно.

— Хорошо, Дианка, попробуем.

— Фу-ф, я наелась! — Дианка откинулась на спинку стула. — Жаль, что дождь идет, и мы не можем погулять.

— Слышишь, какой ветер поднимается, — сказала ей Инта. — К утру, он разгонит все тучи, и мы пойдём на озеро.

— Как бы этот ветер не нагнал ещё больше туч.

— Надо, Дианка, верить в лучшее. Кстати, сейчас уже темно, и я не могу тебе показать одну вещь, но завтра посмотришь и убедишься, что это так. Смотри, сейчас осень, стоят туманные, дождливые дни, листва почти опала. Всё так грустно, деревья и кусты, совсем голые… Впереди зима с морозами и снегопадами. И до весны с летом так далеко! Правда?

— Да, согласилась Дианка. В моей комнате, где я сплю, фонарь бросает на стенку квадрат света. Получается, как экран в кино. И летом такие тени от ветвей колышутся по стенке! Я люблю смотреть на них и засыпать. А сейчас на стенке — голые прутики дрожат на ветру.

— Всё так. Но… Ты готова к тому, что я сейчас скажу? — спросила Инта таинственно.

— Да, — дыхнула Динка.

— Так вот, весна уже наступает. Если бы не ночь и не темнота, то весну можно было бы увидеть, прямо сейчас.

— Как? — удивилась Динка.

— А вот завтра выйдешь из дома и подойди к любому кусту или к любому дереву. Приглядись и ты увидишь, что все ветки в почках. Ты понимаешь, ещё только осень, впереди долгая зима, а все почки на деревьях и кустах уже есть. Все деревья готовы к весне! Она будет. Будущую весну можно уже прямо сейчас увидеть глазами и потрогать пальцами.

Порыв ветра с дождём надавил на оконное стекло. Наверху дома, что-то стукнуло, загремело. Округлившимися глазами Дианка вопросительно глянула на Инту.

— Это ветка ударила по крыше. У нас за домом старый-старый дуб с дуплом. Я в детстве верила, что там живёт сова. Она и вправду часто летала у нас над полем.

— Инта, а мы будем спать на этой кровати? — показала Динка на огромную кровать у окна.

— А здесь есть ещё какая-нибудь? — усмехнулась Инта.

— Есть, — ответила Дианка. — Я видела там раскладушку у двери. Но мы все уместимся на этой кровати. Если бы с нами был мой друг Мишка, то и он бы уместился. Ничего себе, кроватище!

Дианка подошла к постели, чтобы рассмотреть получше.

— А когда мы стелить её будем? — спросила она, коснувшись резьбы на массивном, тёмном изголовье. — Стариннейшая кровать! — прошептала она. — На такой кровати, наверное, снятся старинные сны.

— Сейчас я постелю, только сначала уберу наши припасы в холодный шкаф.

Дианка с Интой стелили постель, а я рассматривал книги в шкафу. Мне попалось старинное издание «Времён землемеров» и несколько книг времён первой республики. Да, такие сокровища, конечно, надо взять с собой.

Инта согрела одеяла перед печью и только потом уложила их на постель. Дианка быстро разделась, юркнула под ворох тёплого одеяла и стала под ним ворочаться. Время от времени показывалась то её розовая пятка, то разлохмаченная голова.

— Инта, сказала Дианка, наваливая на себя подушку и борясь с ней, — только я буду посерёдке. Ладно? Сбоку страшно. Вдруг кто-нибудь подкрадётся ночью.

— Хорошо. Посерёдке — самое лучшее место.

— Ага! Можно греться об вас обоих. Инта, папа, залезайте тоже ко мне. Прижмёмся покрепче, и будем ждать ураган. Кажется, он уже начинается.

— Может, и правда, ложись, — посоветовал я Инте. — Дианку погреешь. А я тут у огня ещё посижу. Тут у вас, и, правда, много интересных книг.

Инта за моей спиной легла с Динкой, а я поворошил угли в печи и сидел некоторое время, глядя на огонь и листая ветхую старинную книгу. Снаружи доносилось завывание ветра, иногда вихри воздуха задували и в трубу и тогда угли в печи разгорались. Стало, действительно, тепло.

— Папа, мы греем тебе место, — сообщила мне Динка.

— Это здорово.

— А ты читаешь и латышские книги? — поинтересовалась Инта.

— Конечно! Ты разве не видела у меня в комнате, на полках латышские книги?

— И кто из латышских писателей тебе нравится?

— Ну, если хронологически… Люблю Блауманиса. А Александра Чака считаю поэтом мирового уровня. Мне очень нравятся стихи Арии Элксне… Кстати, про Блауманиса сейчас вспомнил…

— Что? — спросила Инта.

— Да, ладно… Пустяки…

— Вот, так не люблю. Если начал, то уж договаривай.

— Когда читал «В тени смерти» Рудольфа Блауманиса, заметил одну вещь, которая мне показалась странной. Очень этот момент отличается от русской литературы, да и вообще — мировой. Люди в море, на краю гибели, их чувства, переживания — ситуация часто встречающаяся в литературе того времени. Но вот что поразительно «В тени смерти», которая написана в 1899 году и повествует о простых рыбаках, которых льдина уносит в море и все они оказываются на краю гибели. Поразительно там то, что перед лицом

смерти никто из рыбаков 19-го века не вспомнил о Боге. Никто не молил его о помощи, не стал давать никаких обетов, чем, кстати, пестрит мировая литература. Меня это удивило. Я такое не могу представить ни у Джозефа Конрада, ни у Мелвилла.

— Я читала когда-то «В тени смерти», — задумчиво произнесла Инта. — Но как-то не обратила на это внимания. Может, ты не заметил, пропустил? Ведь читал ты не на родном языке. Но, если это и так, какое у этого может быть объяснение?

— Думаю, причина в том, что латыши не столько католики, сколько язычники. Потому и языческий праздник Лиго празднуется с таким энтузиазмом. Этот древнейший праздник для любого латыша, не только наисовременнейший праздник, но и праздник будущего. Я это понял во время последнего празднования. Представь себе — глубокая ночь у моря, костры, народ отмечает праздник вовсю. Пиво рекой, песни, все навеселе… И тут я увидел то, что меньше всего ожидал увидеть в такой обстановке. Я увидел, что там, ночью, у костров, очень много детей. Все, кто только мог, пришли на праздник со своими детьми, чтобы и им передать, как эстафету дух этого праздника. Я видел людей даже с детскими колясками. Что может увидеть, понять такой ребёнок? Ничего. Но Лиго наполнено своей особой вибрацией, атмосферой, и ребёнок может это чувствовать. Это мне очень нравится у латышей.

Мы, чуть помолчали. Слышно было, как нарастает ветер, и постреливают поленья в печи.

Инта повалила прыгавшую на подушке Диану, и стала ерошить ей волосы. Дианка под ней визжала и брыкалась.

— Ну, посмотрим теперь твою причёску... О, какая хорошая метёлочка! — Инта ещё больше взъерошила её волосы. — У нас тут, как раз, хорошей метёлки нет. Используем теперь тебя, Дианка, при уборке.

Обхватив Динку, она попыталась перевернуть её вверх ногами, что вызвало у той неописуемый восторг, выразившийся в ещё более громком визге.

— Ну, если бы я встретил в лесу девочку с такой причёской на голове, то испугался бы, — сказал я.

Диана вдруг села в кровати. Глаза её были закрыты, лицо непроницаемо, а волосы на голове торчали во все стороны. Несколько пёрышек от подушки пристали к её разлохмаченным локонам. Диана протянула руки вперёд и, завывающим голосом, хрипло, произнесла:

— Поднимите мне веки!..

— Дианка, прекрати так говорить, сорвёшь свои связки, — сказал я, едва сдерживая смех. — Будешь потом всех пугать.

— Ладно, — сказала Диана своим нормальным голосом, — Тогда, давайте я вам что-нибудь расскажу. Что же вам рассказать?

— Ты можешь обо всём рассказать? — спросила Инта.

— Обо всём.

— Ну, тогда так, — задумалась Инта. — Сегодня, когда ждала вас на дороге, видела, как дятел долбил фонарный столб. Можешь, про дятла придумать?

— Уже придумала. Слушайте!.. История называтеся — «Дятел-псих». Итак… Жил-был Дятел, — начала сочинять Дианка. — Не, не так. Летел Дятел через лес. Летел себе, летел и устал. Решил он отдохнуть. Увидел дятел дорогу, а возле неё фонарный столб стоит. Сел он на столб, сидит, отдыхает. Вот, только не знал дятел, что это не обычный столб, а Столб-псих. Психом он был потому, что внезапно включался и внезапно

выключался. И все прохожие звали его — Столб-псих. Любил этот столб подшутить над кем-нибудь. Особенно над двумя хоббитами, которые делали вечерние прогулки. Идут, так себе, хоббиты, гуляют… Только они к столбу подойдут, тут он раз, и отключится. Да так неожиданно, что они чуть ли не падали от страха.

И на этот раз Столб решил подшутить над Дятлом. Сидел, себе, Дятел, а тут столб, как — бабамс! И выключился. Дятел так испугался, что взлетел и об сосну головой ударился. И после того, Дятел, сам не свой стал. Летает по лесу и всех своих друзей-дятлов критикует. Мол, они не там себе домики долбят. Надо, мол, не на деревьях домики долбить, а на фонарных столбах.

Критиковал он всех, и стали его называть — Дятел-псих. А Дятел ни на кого внимания не обращал, он полетел, себе, дальше, сел снова на столб с проводами и стал долбить домик. Все удивлялись — Это где же он домик себе долбит! Даже хоббиты, прогуливающиеся по вечерам, над ним смеялись. А Дятел целый месяц долбил клювом и устроил, наконец, замечательный домик. Со всеми удобствами, двумя спальнями и столовой.

У всех дятлов домики маленькие, тёмные, сырые, в корявых дуплах, а у Дятла-психа просторный, и даже с электричеством. Хочешь, свет включаешь, хочешь, выключаешь. И чайник можно погреть — чайку попить, яишенку пожарить. Это вам не так себе. Это электрический столб, всё-таки. И даже за электричество Дятел-псих никогда не платил…

Ну, как вам моя история?

— Дианка, ты сейчас придумала? — удивилась Инта.

— Ага! Я могу кучу таких историй понапридумывать.

— А тебе, как Дианкин рассказ? — спросила у меня Инта.

— Очень жизненно! — ответил я. — Если бы ты знала, как она мне помогает в работе! прислушиваюсь ко всем её советам.

— Скоро ты, спокойно, сможешь ставить её в соавторы на обложку.

— Не надо, — махнула рукой Дианка.

— Почему? — удивилась Инта. — Тебе не хотелось бы увидеть своё имя на обложке?

— Ну, увижу я его. И что?.. Нет, мне больше хотелось бы попробовать яблочный пирог с мороженым.

Дианка вылезла из кровати, порылась в рюкзаке и быстро юркнула под одеяло, положив себе на живот маленький белый ноутбук.

— Давай, Инта я тебе свои фотки покажу. Я закаты люблю снимать.

Инта, с лёгкой улыбкой, смотрела на снимки Дианы, время от времени поглядывая поверх ноутбука на меня.

— Ну вот, Дианка, какая ты талантливая! Ты и фотограф, и рассказчик, и поэт, и… Что ты ещё умеешь?..

— Я ещё умею громко щёлкать языком.

— Вот, как много у тебя талантов! А ведь совсем недавно я даже не знала, что ты есть на свете.

Наши глаза с Интой встретились. Дианка пригрелась рядом с ней, прижавшись щекой к её плечу. Тёмные волосы Дианы спутались на подушке с волосами Инты.

— А я сейчас, между прочим, перечитываю твою книгу, — сказала Инта.

— И на каком месте ты сейчас читаешь? — спросил я.

— Ну, там, где они заходят в пещеру и видят свет. Всё очень здорово, но знаешь, чего мне не хватает, как читателю? Мне не хватает иллюстраций. А ведь там такие дантовские сцены! Взять, хотя бы ту, где Адам стоит на вершине скалы, а под ним тучи, а ещё ниже город, весь в огне… Доре бы так всё это изобразил!

— У меня нет своего Доре, — сказал я. — Может, ты хочешь попробовать проиллюстрировать?

— Это не так просто. Я, пока, ещё не представляю, как это изобразить. Если идеи будут, попробую, что-то набросать.

— Я тоже не люблю книги без картинок, — сказала Дианка.

— Ладно, я попробую, — сказала Инта. — Но послушай, давно хочу тебя спросить — та девочка, Яна, она что-нибудь ещё написала?

— Да, она пишет. В прошлый раз я читал вам, но потом подумал, может, не стоило этого делать. Все-таки, это чужие письма…

— Но ведь она нигде не просила, чтобы ты держал её историю в секрете. Мне кажется, что она наоборот, хочет поделиться. И ведь очень интересно то, что она пишет. Да и сама она какая-то неуловимая. Тут задачка с множеством неизвестных. Ты, Диана, хотела бы послушать?

Дианка чуть помедлила, вздохнула и без особого энтузиазма тихо произнесла

— Не знаю…

— А мне интересно. Расскажешь нам сегодня, что ещё она написала?

## 28
## И снова рукопись

— Ого!.. Вот так грохонуло! Это дерево упало! — Дианка вскочила коленями на подушку, облокотилась на резное изголовье кровати и стала смотреть в окно. — Я ничего не вижу. Давайте выключим свет.

— Дианка, это ещё не ураган, — успокоила её Инта.

— А что же это грохнуло?

— Ветка упала на крышу

Яростные порывы ветра давили на стены и окна дома. Лес шумел, вершины деревьев гнулись на ветру и, вокруг дома, то и дело слышался глухой стук.

— Ничего себе, — бормотала Дианка, прижимаясь носом к оконному стеклу. — Ещё одно дерево упало… И ещё!.. Ого! Сразу два бухнуло…

Диана оглянулась и только тут заметила, что Инта едва сдерживает смех.

— Ох, Дианка! Сколько деревьев уже упало? — спросила она улыбаясь.

— Только что упало семнадцатое…

— Дианка, это же яблоки на колодец падают, — рассмеялась Инта и потянула Дианку к себе. — Давай лучше послушаем, о чём Яна пишет. Это же интересно!..

Чуть пригасив свет, я рассказал о последнем письме Яны, о странном старике и его книге.

Инта молча слушала, Дианка, продолжая стоять спиной ко мне, вглядывалась в окно, прислушивалась к звукам нарастающей бури.

— Это интересно! — сказала Инта. — Но я думаю, что она всё это придумывает.

— Мне тоже так кажется. Хотя, порой я всё же сомневаюсь, что это её фантазии. Последнее письмо пришло от неё несколько дней назад. Мне трудно поверить, что такое придумала пятнадцатилетняя девочка.

— Прочитай, что она пишет, — попросила Инта.

Снаружи послышался нарастающий гул ветра, и дом содрогнулся. В тёмном углу с полки упала металлическая кружка и покатилась по полу

— Папа, а этот ураган посильнее того, что был летом, — Восторженно произнесла Дианка.

Я взял её ноутбук, зашёл в почту и увидел два письма от Яны.

*«Наверное, я должна была дождаться Вашего отклика на моё письмо о рукописи, но, отчего-то я горю нетерпением писать Вам дальше. Я, даже не задумываюсь — интересно ли вам то, что я посылаю.*

*(Тут я задумалась и почесала затылок). Хотела сразу напечатать продолжение, но у меня сегодня разговорчивое настроение, и я целый день, с самого утра болтаю, болтаю… и смеюсь. А рассмешил меня мой доктор. Ой, видели бы Вы его! Это такое чудо. Я уверена, что он гений. Он невероятно рассеянный в повседневной жизни, но, что касается всяких там болезней и их лечения, тут он волшебник. Он постоянно пишет всякие научные труды. И, вообще, его знают даже в Лондоне, потому как он все свои научные статьи посылает в один английский журнал.*

*Представьте себе маленького человечка с большой головой и лохматыми проплешинами по бокам. Маленькие, пронзительные глазки, выглядывают из-под вечно соскакивающих с переносицы очков. Он, то и дело водружает их на место. А когда разволнуется, то они вообще падают у него, то на колени, то на стол, то вообще, на пол. От того стекла все в трещинках, а дужки перевязаны скотчем. Лучше бы он купил уже новые. Но, видать, он очень уж любит свои очёчки и ни за что не променяет их ни на какие другие.*

*Он чем-то похож на Эйнштейна, и всегда пользуется этой схожестью. Особенно, когда хочет рассмешить меня.  Получается это у него очень легко. Он просто высовывает язык, и подмигивает левым глазом. При этом у него снова падают очки. Ну, как тут не рассмеяться! И зовут это чудо — Ричард Иванович. А фамилия у него, просто карикатура на весь его облик — Лев-Великанов.*

*Когда он приходит ко мне, настроение мое сразу подскакивает  и начинает прыгать, как мячик. Я его обожаю, и считаю своим лучшим другом. Он всегда говорит, что юмор наипервейшее лекарство от всех недугов, и потому всегда меня смешит. Например, сегодня он назвал мой позвоночник — держалкой для Янки. Сказал, что он эту держалку оживит, расщекочет, и я начну бегать уже вначале весны.*

*А ещё, сегодня меня порадовал очередной поход на третий этаж. Поднялась я туда не на лифте (он сейчас не работает), а на руках нашего охранника. Он настоящий силач и, когда несёт меня, так здорово чувствовать под ладонью его крепкие, округлые мышцы. Видите, меня носят на руках, как принцессу!.. Он вообще, любит меня радовать — то пряники принесёт, то шоколадку, а сегодня, несмотря на запреты доктора, очень осторожно поднял в музыкальную комнату. Вы, наверное, представили сейчас колеблемые (какое ужасное слово!) ветром  занавеси на окнах и меня, играющую на фортепиано что-нибудь из Шопена. Нет, всё совсем не так.*

*Просто сидя у большого окна, я могу смотреть на горящие окна многоэтажек, на полоску заката, который отражается в тёмном озере, как раз в том месте, у камышей, где плавают два белых лебедя. Из окна я вижу движущиеся огоньки машин, подмигивающий жёлтым глазом светофор и, если совсем придвинуться к оконному стеклу, могу увидеть свои любимые качели. Как я соскучилась по ним. Раскачаться бы посильнее, отпустить руки и полететь… Куда? Ну, хотя бы к вам в гости. Представляете, вы читаете моё письмо и тут вдруг стук в окно. Я прилетела…*

*Какое счастье! Я опять грущу!*

*Какое счастье! Я опять пишу!*
*И осень, ветер, дождь и слякоть*
*О наслажденье!..*
*Заставляют душу плакать.*

*Яна».*

Я открыл в почте второе письмо от Яны, и стал читать…

*«Посылаю Вам несколько страниц текста. Обратите внимание — здесь уже есть название. Если честно, я мало, что могу в этом понять, но так как я и сама странная и люблю странное, то мне всё это кажется любопытным. Читайте, что я с трудом разобрала:*

**Дети выбирают своих родителей**

*— Небесная лазурь по небу расплескалась*
*Прозрачная, невесомая*
*Летать в ней так легко и свободно*
*А там, внизу, темно и страшно*
*Кто эти люди?*
*Почему их так много?*
*Я боюсь, мне страшно*
*Они ходят, сталкиваются друг с другом*
*Они не хотят меня*
*И я не хочу к ним*
*Я замерзну там*
*Я исчезну, пропаду*
*Я превращусь в них и забуду эту лазурь, это огромное Небо*

*— Не бойся, среди них есть двое, которых ты полюбишь*
*Всматривайся*
*Это мужчины и женщины*
*Все они холодны и темны*
*Но есть двое, светом озаренные*
*Светлы и прозрачны, как ты*
*Вслушивайся*
*Это мужчины и женщины.*
*Все они грубы и крикливы*
*Но есть двое*
*Их голоса мягки, их слова нежны*

*— Я вижу две светлые фигуры*
*Они тянут руки к небу*
*Я слышу их голоса*
*Они зовут меня*

*— Лети и не бойся*
*Жизнь коротка*
*Ты не заметишь, как вернешься в небесную лазурь, в родное небо…*

**Вдох, боль, и крик**

*— Здесь темно и жарко*
*Моим рукам и ногам тесно*
*Я толкаюсь, я хочу вырваться из этой тесноты*
*Мне не хватает воздуха*
*Воздуха…*
*Воздуха…*
*Мне нужен свет*
*Мое небо…*
*Небо…*

*Гулкий, мерный стук не дает покоя*
*Не оставляет меня*

*Мне плохо здесь*
*Мне нужен свет*

*Вспышка света пронзает меня*
*Я слышу свой вдох*
*Мне больно*
*Я кричу*
*Но теперь мне не так страшно*
*Я вижу свет*

*Но какой он странный!*
*В нем нет жизни*
*В нем нет Неба*
*Он холодный*
*Мертвый»*

Плотная стена ветра надавила на окна и стены дома. Обломки веток загрохотали по крыше, послышался треск упавшего дерева.

— Папа, иди скорее к нам, — позвала Диана

Я загасил лампу, в комнате стало совсем темно. Только огонь из печи бросал на стены всполохи света.

— Это всё? — спросила Инта.

— На этом её письмо заканчивается.

— Ты пишешь ей?

— Если честно, то давно не писал. И на это письмо не ответил.

— Ты ей напиши. Ведь она так одинока. Из всех людей, у неё только и нашлись добрые слова о докторе и охраннике. Уж не в тюрьме ли она сидит… Ты пиши ей. Не оставляй её. Поверь, простая человеческая жизнь ценнее всех книг.

— Смотрите, что это! — воскликнула Дианка, показывая в окно.

— Что там? — спросил я, присаживаясь на кровать рядом с ней.

— Огоньки по всему лесу! Как их много! Теперь, будет пожар? — продышала у моего уха Диана.

— Нет, это какие-то странные огоньки. Они ровно светят, не разгораются.

Голубоватый свет озарил стену высокого леса и прошёл по ней, словно поведённый прожектором.

— Ничего себе! — воскликнула Диана. — Вы видели?! Что это?

— Диана, если бы я знал…

— А я знаю, — сказала она и протёрла запотевшее окно ладошкой. — Это тарелка села. Точно!

Новый шквал ветра загремел чем-то на крыше, и ещё одно из деревьев рухнуло, хлопнув верхушкой по земле чуть ли не у самого нашего окна.

— Папа, а огоньки и вокруг дома горят.

И действительно, то тут, то там в поле, словно маленькие яркие светильники, загорались огни. Полосы света продолжали метаться, выхватывая из тьмы ветви и вершины деревьев, гнущиеся под напором ветра, но свет тут же гас, и наступала полная тьма, усеянная искорками огней.

— Это тарелка…— бормотала Дианка. — Точно вам говорю. Наверное, они тут часто садятся. Это поле — их место для посадки. И людей тут никогда не бывает. Они и сейчас так думают. Не знают, что мы здесь… Ох, Мишке расскажу, не поверит!

— Дианка-фантазёрка, — сказал я, раздеваясь.

— Да, фантазёрка… Сейчас дверь как откроется!..

Дверь и вправду колыхнулась под ударами ветра.

— Ну, ладно, давайте, и я лягу, — сказал я, залезая под одеяло.

— Давно уж пора, — со смехом заметила Инта. — Теперь уж точно Дианка не замёрзнет. Давай, Дианка к нам. Хватит так сидеть, здесь все-таки прохладно.

— Давайте-ка я поленце покрупнее подброшу, — сказал я, снова вставая.

— Папа всегда так, — сообщила Дианка Инте, — только начнёт мне историю рассказывать, как тут же вспоминает, что поленце надо подбросить, чай согреть или дверь проверить. Папа, давай скорее к нам.

— Ну, что там ещё интересное происходит? — сказал я, укладывая в огонь сучковатое берёзовое полено. Такое явно следовало бы разрубить надвое, но ничего. Долго гореть будет.

— Совсем темно. Ничего не видно, — доложила Диана. — Но огоньки горят. А интересно было бы пойти посмотреть, что же за огоньки такие.

Я снова лёг и, потянув Дианку к себе, уложил её под одеяло. Ну конечно — пятки и ладошки холодные. Мы с Интой стали её растирать и согревать. Дианка визжала и норовила выгнуться мостиком. Уверен, что она была в этот момент очень счастлива.

Не смотря на то, что дочь моя ещё маленькая, она каким-то образом умудряется оказываться центром всех событий. Однажды, оставшись дома одна, она смотрела по телевидению передачу о протуберанцах — гигантских выбросах раскалённого газа на поверхности Солнца. Новое слово — протуберанец, ей понравилось, но прошло несколько дней и она, сколько ни силилась, не могла его вспомнить. Несколько дней она ходила, нахмурившись и озабоченно морща лоб, и вдруг однажды, влетела ко мне в комнату и радостно выпалила:

— Вспомнила это слово! Протурбероид!

С тех пор я частенько Дианку так и называл, находя, что это слово ей очень подходит.

Когда я снова лёг, Дианка, дыша ириской, сказала:

— Пап, расскажи что-нибудь…

— Из жизни диких поросят?

— Нет. Расскажи про себя маленького.

— Ты про меня уже всё знаешь. Пусть лучше Инта тебе расскажет о себе. Это будет интереснее.

— Инта, расскажи про себя маленькую, — попросила её Дианка. — Только, подожди! Я сначала, кое-куда хочу.

— Ну, пойдём, — сказала Инта, помогая ей встать в темноте.

— Там не холодно? — спросил я.

— Там уже всё согрелось, — заверила Инта. — Что ты! Там и бойлер есть. Можно и душ принять. Всё, как в лучших домах.

Оставшись один, я приподнялся и посмотрел в окно. Отсвет огня из печи чуть озарял оконную раму, я видел, как тёмные вершины леса тяжело покачиваются, а в озарённом луной небе быстро летят клубы чёрных туч. Но чувствовалось, что ветер стихает. Не было уже таких порывов, что, казалось, дрожат стены.

Дианка прибежала и быстро зарылась в одеяло. От неё веяло ароматом мыла и зубной пасты. Инта вернулась следом за ней и, задув свечу, легла в постель.

— Опять холодная, — сказал я, согревая руками её пятки.

— Ничего, я сейчас залезу под одеяло и надышу там, — сказала, Динака. — Интик, погладь мне спинку и расскажи про себя маленькую.

Инта вздохнула и, поглаживая Дианку, задумалась.

— А ты раньше не видела здесь такие огоньки? — спросила её Дианка.

— Нет, не видела. Но иногда, в лесу, приходилось сталкиваться со странными вещами.

— Расскажи.

Дианка притихла, повернувшись к Инте и прижавшись лбом к её плечу.

— Однажды, — начала Инта, — я пошла в лес за грибами. Здесь неподалёку есть лесной овраг и там всегда было много грибов.

— Каких? — поинтересовалась Дианка.

— Там росли подосиновики. И вот, шла я, шла, собирала грибы и, незаметно для себя, зашла в густые заросли, куда обычно не заходила. Приседая, чтобы срезать гриб, я услышала в лесу какой-то стук. Звук этот шёл из-за деревьев и, как мне показалось, приближался ко мне. Места тут, сами видели, какие глухие. Собирая грибы или ягоды, я никогда никого здесь не встречала. Но этот странный звук приближался ко мне с большой скоростью.

— Почему он был странный? — продышала Дианка.

— Когда я потом его припоминала, я поняла, что он был похож на то, как, если бы кто-то стучал костью о кость.

— А может, это был не «кто-то» а «нечто»? — предположила Диана.

— Не знаю, что это было. Но я очень испугала и бросилась бежать. Конечно, если бы я осталась, я узнала бы, что это было, но вот вопрос — рассказала бы я тебе сейчас об этом? Тогда я почувствовала, что надо убегать.

— И ты так и не узнала, что это было? — разочаровано произнесла Диана.

— Нет. И больше туда не ходила.

Инта и Дианка замолчали, я только слышал дыхание дочки и то, как Инта поглаживает её спину под рубашкой пижамы. Я уже думал, что Дианка заснула, как вдруг она сказала:

— А вот, если бы мы сейчас пошли в лес…

— Сейчас? — удивилась Инта. — А что там сейчас в лесу?

— Ну, как!.. Там сейчас страшненько. Рассказать, что там сейчас?.. Если оказаться сейчас в лесу, то можно в темноте увидеть огоньки. Это ночные грибы. Они светятся зеленоватым светом и, когда приглядываешься к нему, то начинаешь слышать, как грибы шепчут

— Приди, сорви нас… Разогрей огромный котёл, свари нас и съешь. И, как только ты нас съешь, тебе тут же откроются все тайны земли…

Последние слова она произнесла совсем медленно, затихла и, глубоко вздохнув, заснула.

Продолжение следует.

*Редактор:*
*Е. Жмурко (Германия)*

*Редакционная коллегия:*
*Владимир Порудоминский (Германия), Инна Иохвидович (Германия), Маргарита Пальшина (Россия), Ирина Жураковская (Украина), Борис Левит–Броун (Италия), Татьяна Щеглова (Россия).*

*Редакционный совет:*
*Евгений Витковский (Россия), Ольга Кольцова (Россия), Евгений Кольчужкин (Россия), Леонид Зорин (Россия), Виктор Каган (Германия), Ян Паул Хинрихс (Нидерланды), Наталия Крофтс (Австралия).*

*Художник: Ольга Федорчук (Украина)*

*Copyright © 2013–2016 Зарубежные Задворки*

*ZA–ZA Verlag: www.za–za.net*
*Dusseldorf, сентябрь 2016 — 257 стр.*
*Гарнитура «Verdana»; кегль «11»*

*Отпечатано в типографиях:*
*LULU, USA и T8 Издательские Технологии (РФ)*